

5

ДЖОН

ГОЛСУОРСИ

ДЖОН
ГОЛСУОРСИ

ДЖОН
РОЙС
ОРСИ

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ
В ШЕСТНАДЦАТИ ТОМАХ

ТОМ 5

БИБЛИОТЕКА «ОГОНЕК»
ИЗДАТЕЛЬСТВО «ПРАВДА» • МОСКВА • 1962

Перевод с английского
под редакцией
И. Г у р о в о й.

Ви́лла Ру́бейн

Перевод
Д. Жукова.

I

Эдмунд Дони и Алоиз Гарц прогуливались по берегу реки в Боцене.

— Хотите, я познакомлю вас с семейством, которое живет в вилле Рубейн, в том розовом доме? — спросил Дони.

— Пожалуй, — улыбнувшись, ответил Гарц.

— Тогда пойдемте сегодня.

Они остановились возле старого дома, который имел запущенный, нежилой вид и стоял на отшибе у самой дамбы; Гарц толчком распахнул дверь.

— Заходите, — сказал он, — завтрак от вас не уйдет. Сегодня я буду писать реку.

Он взбежал по широким ветхим ступеням, а Дони, подцепив большими пальцами проймы жилета и высоко задрав подбородок, медленно последовал за ним.

В мансарде, занимавшей весь чердак, у самого окна, Гарц пристроил холст. Это был молодой человек среднего роста, широкоплечий, подвижный. У него было худое лицо, выдающиеся скулы, мощный, резко очерченный подбородок, зоркие серо-голубые глаза, очень подвижные брови, длинный, тонкий нос с горбинкой и шапка темных густых, не разделенных на пробор волос. Судя по его костюму, ему было все равно, как он одет.

Комната, которая служила ему одновременно мастерской, спальней и гостиной, была скудно обставле-

на и грязна. Под окном широким потоком цвета расплавленной бронзы неслись по долине полые воды реки. Гарц то подходил к холсту, то удалялся от него, словно фехтовальщик, выбирающий позицию, наиболее удобную для выпада. Дони присел на какой-то ящик.

— Снег в этом году таял очень бурно, — проговорил он. — Тальфер стал совсем коричневым, а Ейзак — голубым; они сливаются в зеленый Эч; ну, чем вам не весенняя символика, господин художник!

Гарц смешал краски.

— Нет у меня времени на символику, — сказал он, — и вообще ни на что его нет. Знай я, что проживу девятью годами, как Тициан... Вот он еще мог бы позволить себе такую роскошь! Возьмите того беднягу, что погиб на днях! Никак он не хотел сдаваться и все же на излучине!..

По-английски он говорил с иностранным акцентом; голос у него был грубоватый, но улыбка очень добрая.

Дони закурил.

— Вы, художники, — сказал он, — находитесь в лучшем положении, чем большинство из нас. Вы можете идти своим путем. Ну, а если я попытаюсь лечить необычным способом и пациент умрет, то моя карьера на этом закончится.

— Мой дорогой доктор, если я не буду писать того, что нравится публике, то мне придется голодать; но я все равно хочу писать по-своему; и в конце концов добьюсь успеха!

— Пожалуй, друг мой, если идти по проторенной дорожке, пока составишь себе имя, то это окупится стоицей; а потом, что ни делай, тебя все равно будут восхвалять.

— Да вы не любите своей профессии.

— Я бываю счастлив только тогда, когда мои руки заняты делом, — пояснил Дони. — И тем не менее я хочу стать богатым и известным, жить в свое удовольствие, курить хорошие сигары, пить отличное вино. Убогое существование не по мне. Нет, друг мой, лечить я буду, как все; и хотя мне это не нравится, стенки головой не прошибешь. В жизнь вступают с определенными пред-

ставлениями об идеале... С ними я уже расстался. Приходится проталкиваться вперед, пока не будет имени, а тогда, мой мальчик, тогда...

— А тогда у вас выйдет весь запал! Дорого же вам обойдется такое начало!

— Приходится рисковать. Другого пути все равно нет.

— Есть!

— Гм!

Гарц поднял кисть, как копье.

— Себя не надо щадить. А пострадать придется... Что ж!

Дони потянулся всем своим большим, но не мускулистым телом и оценивающе взглянул на Гарца.

— Упорный вы человек! — сказал он.

— Приходится быть и упорным.

Дони встал. Кольца табачного дыма вились вокруг его прилизанной головы.

— Так как же насчет виллы Рубейн? — спросил он. — Зайти за вами? Народ в этом семействе самый разный, в основном англичане... Очень милые люди.

— Нет, спасибо. Буду писать весь день. У меня нет времени водить знакомство с людьми, для посещения которых надо переодеваться.

— Как хотите!

И, расправив плечи, Дони исчез за одеялом, закрывавшим дверной проем.

Гарц поставил кастрюльку с кофе на спиртовку и отрезал себе хлеба. Сквозь окно веяло утренней свежестью, пахло древесными соками, цветами и молодыми листочками; пахло землей и горами, пробудившимися от зимнего сна; доносились новые песни повеселевших птиц — в окно врывалась душистая, беспокойная волшебница-весна.

Вдруг в дверь проскочил белый жесткошерстный терьер с черными отметинами на морде и косматыми рыжими бровями. Он обнюхал Гарца, сверкнул белками глаз и отрывисто тьякнул.

— Скраф! Противная собака! — позвал юный голосок.

На лестнице послышались легкие шаги, издали донесся тонкий голос:

— Грета! Не смей подниматься туда!

В комнату скользнула девочка лет двенадцати с длинными белокурыми волосами под широкополой шляпой.

Голубые глаза ее широко раскрылись, личико покраснелось. Черты его не были правильными: скулы выдавались, нос был толстый, но подкупало его выражение — простодушное, задумчивое, лукавое и немножко застенчивое.

— Ой! — вырвалось у нее.

Гарц улыбнулся.

— Доброе утро! Это ваша собака?

Она не ответила и только немного смущенно глядела на него; потом она подбежала к собаке и схватила ее за ошейник.

— Скраф! Противный... гадкий-прегадкий пес!

Она склонилась над собакой, поглядывая на Гарца из-под упавших локонов.

— Вовсе нет! Можно дать ему хлеба?

— Нет, нет! Не давайте... Я побью его... и скажу ему, какой он гадкий, больше он не будет себя так вести. И еще дуется; у него всегда такой вид, когда он дуется. Вы здесь живете?

— Временно. Я приезжий.

— А мне показалось, что вы здешний. У вас выговор такой.

— Да, я тиролец.

— Сегодня утром я должна говорить только по-английски, но я не очень люблю этот язык... потому что я наполовину австрийка, и немецкий мне нравится больше; но моя сестра Кристиан — настоящая англичанка. А вот и мисс Нейлор. Ох и задаст она мне сейчас!

И, указав розовым пальчиком на вход, она снова жалобно взглянула на Гарца.

В комнату подпрыгивающей, птичьей походкой вошла пожилая маленькая женщина в сером саржевом платье, отделанном узкими полосками бордового бархата; на груди ее болтался на стальной цепочке большой золотой крест; она нервно стискивала руки, затянутые в черные лайковые перчатки, довольно потертые на швах.

У нее были преждевременно поседевшие волосы, быстрые карие глаза, кривоватый рот, а голову она держа-

ла, склонив набок; на ее добром узком и длинном лице застыло извиняющееся выражение. Ее несвязные и отрывистые фразы звучали так, будто были на резинках и втягивались назад, как только она их произносила.

— Грета, как ты можешь! Что скажет твой папа! Право, не знаю, как... так неловко...

— Что вы, что вы! — утешил ее Гарц.

— Идем сейчас же... извините... так неудобно!

Все трое стояли: брови Гарца то поднимались, то опускались; маленькая женщина нервно теребила свой зонтик; Грета покраснела, надула губки и с глазами, полными слез, накручивала на палец белокурый локон.

— Ой, глядите!..

Кофе закипел и убежал. По стенкам кастрюльки, шипя, текли тонкие коричневые струйки. Собака, опустив уши и поджав хвост, стала носиться по комнате. Все трое сразу почувствовали себя легко и свободно.

— Мы очень любим гулять по дамбе, и вот Скраф... вышло так неудобно... Мы думали, здесь никто не живет... ставни потрескались, краска облупилась. Вы давно в Боцене? Два месяца? Подумать только! Вы не англичанин? Тиролец? Но вы так хорошо говорите по-английски... прожили там семь лет? Неужели? Как это кстати! Грета сегодня говорит только по-английски.

Мисс Нейлор метала смущенные взгляды под крышу, где перекрещивались балки, отбрасывая глубокие тени на беспорядочную кучу кистей, инструментов, мастихинов и тюбиков с красками, лежавшую на столе, сколоченном из ящичков; на большое окно без стекол, доходившее до самого пола, где еще сохранился обрывок ржавой цепи — память о том времени, когда на чердаке была кладовая. Она поспешно отвела взор, увидев на холсте незаконченную обнаженную фигуру.

Грета, скрестив ноги, сидела на пестром одеяле, размазывала пальцем лужицу кофе и поглядывала на Гарца. А он думал: «Хорошо бы написать ее вот так. И назвать «Незабудки».

Он взял мелки, чтобы сделать набросок.

— А мне вы будете дать посмотреть? — закричала Грета и вскочила.

— «Дадите», Грета... «дадите посмотреть», сколько раз говорить тебе? Думаю, нам пора идти... уже поздно... твой папа... вы очень любезны, но я думаю, нам пора идти. Скраф!

Мисс Нейлор топнула ногой. Терьер попятился и столкнул большой кусок гипса, который свалился ему на спину и так напугал несчастного пса, что тот пулей вылетел за дверь.

— Ach, du armer Scruffe! ¹ — закричала Грета и бросилась за ним.

Мисс Нейлор пошла к двери. Поклонившись, она пробормотала извинение и тоже исчезла.

Гарц остался один, его гости ушли. Маленькая белокурая девочка с глазами, как незабудки, маленькая женщина с приятными манерами и птичьей походкой, терьер. Он обвел взглядом комнату — она казалась совсем пустой. Закусив ус, он выругал упавший гипс. Потом он взял кисть и встал перед холстом. Гарц то улыбался, то хмурился, но вскоре забыл обо всем и с головой ушел в работу.

II

Четыре дня спустя Гарц рано утром не спеша бред домой. Тени облаков скользили по виноградникам и исчезали в путанице городских крыш и зеленых шпилей. С гор дул свежий ветер, ветви деревьев раскачивались, снежинками осыпались лепестки запоздавших цветов. Среди нежных зеленых сережек жужжали майские жуки, и на дорожке всюду виднелись их коричневые тельца.

Гарц прошел мимо скамейки, на которой сидела и рисовала какая-то девушка. Порыв ветра швырнул ее рисунок на землю; Гарц подбежал, чтобы поднять его. Девушка наклонила голову в знак благодарности, но когда Гарц повернулся, чтобы идти, разорвала рисунок пополам.

— Зачем вы это сделали? — спросил он.

¹ Ах, бедный Скраф! (нем.)

Держа по куску разорванного рисунка в каждой руке, перед ним стояла хрупкая и стройная девушка с серьезным и спокойным выражением лица. Она смотрела на Гарца большими ясными зеленоватыми глазами; в выражении ее губ и в упрямо вздернутом подбородке читался вызов, но лоб оставался безмятежно гладким.

— Он мне не нравится.

— Разрешите взглянуть. Я художник.

— Не стоит, а впрочем... если хотите...

Гарц сложил половинки рисунка.

— Вот видите! — сказала она. — Я же говорила вам.

Гарц не ответил, продолжая рассматривать рисунок. Девушка нахмурилась.

Гарц вдруг спросил ее:

— Почему вы рисуете?

Она покраснела и сказала:

— Покажите мне, что́ здесь не так.

— Я не могу показать вам, что́ здесь не так, здесь все так... Но почему вы рисуете?

— Не понимаю.

Гарц пожал плечами.

— Это нехорошо, — сказала девушка обиженно. — Я хочу знагь.

— Вы не вкладываете в свои рисунки души, — сказал Гарц.

Она ошеломленно поглядела на Гарца, и взгляд ее стал задумчивым.

— Пожалуй, вы правы. Есть много других занятий...

— Других занятий не должно быть, — сказал Гарц.

— Я не хочу всегда заниматься только собой, — перебила его девушка. — Я полагаю...

— Ах, вот как! Ну, раз уж вы полагаете!..

Девушка вызывающе посмотрела ему прямо в глаза и снова разорвала рисунок.

— Вы хотите сказать, что если дело не захватывает целиком, то не стоит им заниматься вообще. Не знаю, правы ли вы... Нет, думаю, вы правы.

Позади них послышалось нервное покашливание, и, обернувшись, Гарц увидел своих недавних гостей: мисс Нейлор, протягивающую ему руку, покрасневшую Грету, которая стояла с букетом полевых цветов и при-

стально смотрела ему в лицо, и терьера, обнюхивающего его брюки.

Мисс Нейлор нарушила неловкое молчание:

— Мы хотели посмотреть, здесь ли вы еще, Кристиан. Извините, что помешали... я не знала, что вы знакомы с мистером... герром...

— Меня зовут Гарц... мы только что говорили...

— О моем рисунке. Ох, Грета, не щекочись! Пойдемте к нам, позавтракаем вместе, герр Гарц? Это будет ответный визит.

Гарц, оглядев свою пыльную одежду, вежливо отказался.

Но Грета сказала умоляюще:

— Ну пойдемте же! Вы понравились Скрафу. И потом так скучно завтракать без гостей.

Мисс Нейлор скривила губы. Гарц поспешно ответил:

— Благодарю вас. Я буду очень рад... если вы не станете обращать внимания на мой грязный вид.

— О нет, не станем! Тогда мы тоже не пойдем умываться, а после я покажу вам своих кроликов.

Мисс Нейлор, переминаясь с ноги на ногу, как птичка на жердочке, воскликнула:

— Надеюсь, вы не пожалеете... завтрак очень простой... девочки так порывисты... приглашают без всяких церемоний... мы будем очень рады!..

Но тут Грета тихонько потянула сестру за рукав, и Кристиан, собрав свои карандаши и бумагу, первой тронулась в путь.

Удивленный Гарц последовал за ней; ничего подобного с ним не приключалось никогда. Он бросал на девушек робкие взгляды и, заметив задумчивое и простое выражение глаз Греты, улыбнулся. Вскоре они подошли к двум большим тополям, которые, как часовые, стояли у начала усыпанной гравием и обсаженной сиреневыми кустами дорожки, ведущей к бледно-розовому дому с зелеными ставнями, крытому зеленоватым шифером. Над дверью виднелась выцветшая красная надпись: «Вилла Рубейн».

— А эта тропинка ведет на конюшню,— сказала Грета, указывая на дорожку у забора, где грелось на солнцепеке несколько голубей.— Дядя Ник держит там

своих лошадей: Княгиню и Кукушку. Имена их начинаются с «К» в честь Кристиан. Они очень красивые. Дядя Ник говорит, что на них можно ездить до второго пришествия и они совершенно не устанут. Поклонитесь и скажите «доброе утро» нашему дому!

Гарц поклонился.

— Папа говорит, что все гости должны так делать, и я думаю, это приносит счастье.

В дверях она оглянулась на Гарца и исчезла в доме.

На пороге появился толстый, коренастый румяный человек с жесткими, зачесанными назад волосами, короткой рыжеватой густой, разделенной надвое бородой и темными пенсне на толстом носу.

— А ну, девочки мои,— сказал он грубовато-добродушным голосом,— поцелуйте меня побыстренько! Как сегодняшнее утречко? Хорошо прогулялись, *hein* ¹?

Послышались торопливые поцелуи.

— Ха, фрейлейн, хорошо!—Он увидел Гарца, стоявшего в дверях.— *Und der Herr* ²?

Мисс Нейлор поспешно все объяснила.

— Отлично! Художник! *Kommen Sie herein* ³, очень рад. Будете завтракать? Я тоже... да, да, девочки мои... я тоже буду завтракать с вами. У меня волчий аппетит.

К этому времени Гарц успел его рассмотреть: толстяк средних лет и среднего роста, в просторной полотняной куртке, белоснежной накрахмаленной рубашке, перепоюсанной голубым шелковым шарфом,— он производил впечатление человека чрезвычайно чистоплотного. Держался он с видом светского льва, и от него веяло тончайшим ароматом отличных сигар и лучших парикмахерских эссенций.

Комната, в которую они вошли, была длинная и довольно скудно обставленная; на стене висела огромная карта, а под ней стояли два глобуса на изогнутых подставках, напоминавшие надутых лягушек на задних лапках. В углу стояло небольшое пианино, рядом — письменный стол, заваленный книгами и бумагами; этот уголок, принадлежавший Кристиан, был каким-то инородным в комнате, где все отличалось сверхъестественной

¹ А? (франц.)

² А этот господин? (нем.)

³ Входите (нем.).

аккуратностью. Обеденный стол был накрыт для завтрака, сквозь распахнутые двери лился нагретый солнцем воздух.

Завтрак проходил очень весело; за столом герр Пауль фон Моравиц всегда бывал в ударе. Слова извергались из него потоком. Беседуя с Гарцем об искусстве, он как бы давал понять: «Мы не мним себя знатоками — *pas si bête*¹, — но тоже кое в чем разбираемся, *que diable!*²» Он порекомендовал Гарцу табачную лавку, где торгуют «недурными сигарами». Поглотив овсяную кашу и съев омлет, он перегнулся через стол и влепил Грете звонкий поцелуй, пробормотав при этом: «Поцелуй меня быстренько!» — выражение, которое он в незапамятные времена подцепил в каком-то лондонском мюзик-холле и считал весьма *chic*³. Расспросив дочерей об их планах, он дал овсянки терьеру, который презрительно отверг ее.

— А ведь наш гость, — вдруг сказал он, взглянув на мисс Нейлор, — даже не знает наших имен!

Маленькая гувернантка торопливо представила их друг другу.

— Отлично! — сказал герр Пауль, выпячивая губы. — Вот мы и познакомились! — И, взбив кверху кончики усов, он потащил Гарца в другую комнату, изобилвавшую подставками для трубок, фотографиями танцовщиц, плевательницами, французскими романами и газетами, а также креслами, которые были пропитаны табачным дымом.

Семейство, обитавшее на вилле Рубейн, действительно отличалось пестротой и носило весьма любопытный характер. Посредине обоих этажей проходили коридоры, и таким образом вилла делилась на четыре части, и в каждой из них жили разные люди. И вот как это получилось.

Когда умер старый Николас Трефри, его имение, находившееся на границе с Корнуэллом, было продано, а вырученные деньги поделены между тремя оставшимися в живых детьми: Николасом, самым старшим, совладельцем известной чайной фирмы «Форсайт и Трефри»; Констанс, вышедшей замуж за человека по имени Дисси;

¹ Мы не так глупы (франц.).

² Черт побери! (франц.)

³ Высший шик (франц.).

и Маргарет, помолвленной незадолго до смерти отца с помощником местного священника Джоном Девореллом, который затем получил приход. Они поженились, и у них родилась девочка, названная Кристиан. Вскоре после ее рождения священник получил наследство и тут же умер, оставив его жене без всяких обязательств. Прошло три года, и, когда девочке минуло шесть лет, миссис Деворелл, еще молодая и хорошенькая, переехала жить в Лондон к брату Николасу. И там она познакомилась с Паулем фон Моравицем — последним отпрыском старинного чешского рода, жившего в течение многих сотен лет на доходы с имений, которые находились неподалеку от Будвейсса. Пауль остался сиротой в возрасте десяти лет, не получив в наследство ни единого акра родовых земель. Зато он унаследовал уверенность, что потомок древнего рода фон Моравицев имеет право на все земные блага. Позже его *savoir faire*¹ научил его посмеиваться над такой уверенностью, но где-то в глубине души она его не покидала. Отсутствие земли не привело к серьезным последствиям, так как мать его, дочь венского банкира, оставила ему приличное состояние. Фон Моравицу приличествовало служить только в кавалерии, но, не приспособленный к тяготам солдатской жизни, он вскоре оставил службу; ходили слухи, что у него были разногласия с полковым командиром из-за качества пищи, которой пришлось довольствоваться во время каких-то маневров, но другие утверждали, что он подал в отставку, потому что не мог подобрать коня себе по ногам, которые были, надо признаться, весьма толстыми.

У него была восхитительная тяга к удовольствиям, и жизнь светского бездельника вполне устраивала его. Он вел веселый, легкомысленный и дорогостоящий образ жизни в Вене, Париже, Лондоне. Он любил только эти города и хвастался, что в любом из них чувствует себя, как дома. В нем сочетались бьющая через край энергия и изощренность вкуса, но эти качества пригодились ему только на то, чтобы стать великим знатоком женщин, табаков и вин; а самое главное, он обладал отличнейшим пищеварением. Ему было тридцать лет, ко-

¹ Здесь — жизненный опыт (франц.).

гда он встретил миссис Деворелл. И она вышла за него замуж, потому что он не был похож на тех мужчин, которые ее окружали. Никогда еще не сочетались браком столь разные люди. Пауля, завсегдатая кулис, привлекали в ней наивность, спокойствие, душевная ясность и несомненное целомудрие; он уже промотал более половины своего состояния, и то обстоятельство, что у нее были деньги, тоже, очевидно, не было упущено из виду. Но как бы там ни было, он привязался к жене и, будучи человеком мягкосердечным, стал привыкать к тихим семейным радостям.

Через год после свадьбы у них родилась Грета. Однако тяга к «свободе» отнюдь не умерла в Пауле; он стал игроком. Никто особенно не препятствовал ему проигрывать остаток своего состояния. Но когда он принялся за состояние своей жены, это, естественно, оказалось более сложным. Впрочем, в ее капитале образовалась уже порядочная брешь, прежде чем вмешался Николас Треффри и заставил сестру перевести то, что уцелело, на имя дочерей, обеспечив себя и Пауля пожизненной рентой. Денежный источник иссяк, и добряк бросил карты. Но тяга к «свободе» по-прежнему жила в его душе; он стал пить. Он никогда не напивался до потери сознания, но и редко бывал трезв. Жену его очень расстраивала эта новая страсть; ее и без того слабое здоровье было вскоре совсем подорвано. Врачи отправили ее в Тироль. Пребывание там пошло ей на пользу, и семья поселилась в Боцене. На следующий год, когда Грете только исполнилось десять лет, мать ее умерла. Пауль тяжело переживал этот удар. Он бросил пить, стал заядлым курильщиком и домоседом. Он был привязан к обеим девочкам, но совсем не понимал их; Грета, родная дочь, была его любимицей. Они продолжали жить на вилле Рубейн; она была дешевой и просторной. Пауль стал сам вести хозяйство, и денег постоянно не хватало.

К этому времени вернулась в Англию сестра его жены миссис Дисси, муж которой скончался на Востоке. Пауль предложил ей поселиться у них на вилле. У нее были свои комнаты, собственная прислуга; такое положение дел вполне устраивало Пауля — это давало значительную экономию, и в доме всегда был человек, чтобы присматривать за девочками. По правде говоря, он

опять стал ощущать тягу к «свободе»; приятно было время от времени улизнуть в Вену или хотя бы поиграть в пикет в местном клубе, украшением которого он был, словом, немного «проветриться». Нельзя же горевать всю жизнь... даже если это была не женщина, а ангел; тем более что пищеварение у него осталось таким же превосходным, как прежде.

Четвертую часть виллы занимал Николас Треффри, который никак не мог привыкнуть к тому, что ему каждый год приходится на время покидать Англию. Он и его молоденькая племянница Кристиан питали друг к другу ту особую привязанность, которая таинственно, как и все в жизни, зарождается между пожилым человеком и совсем юным существом и для обоих кажется целью и смыслом существования, пока в юное сердце не входит новое чувство.

Он давно уже был опасно болен, и врачи настоятельно советовали ему избегать английской зимы. И вот с наступлением каждой весны он появлялся в Боцене, куда полегоньку добирался на собственных лошадях из Итальянской Ривьеры, в которой проводил самые холодные месяцы года. Здесь он обычно оставался до июня, а потом возвращался в свой лондонский клуб, но до этого и дня не проходило, чтобы он не ворчал на иностранцев, на их обычаи, еду, вино и одежду, словно большой добродушный пес. Болезнь его сломила; ему было семьдесят, но выглядел он старше своего возраста. У него был преданный слуга по имени Доминик, уроженец Лугано. Николас Треффри нашел его в одном отеле, где тот работал, как вол, и нанял, предупредив: «Смотри, Доминик! Я и обругать могу!» На это Доминик, смуглый, мрачноватый, но не лишенный чувства юмора, ответил только: «Très bien, m'sieur!»¹.

III

Гарц и хозяин дома сидели в кожаных креслах. Широкая спина герра Пауля вдавилась в подушку, толстые ноги сложены крест-накрест. Оба курили и украдкой по-

¹ Слушаю, мосье! (франц.)

глядывали друг на друга, как это случается с людьми разного склада, когда знакомство между ними только завязывается. Молодой художник никогда не встречал людей, подобных хозяину дома, и потому не знал, как себя вести, чувствовал себя неловко и терялся. Герр Пауль, наоборот, не испытывал никакого замешательства и лениво размышлял: «Красив... наверно, выходец из народа, никаких манер... О чем с ним говорить?»

Заметив, что Гарц рассматривает фотографию, он сказал:

— А, да! Это была женщина! Таких теперь не найдешь! Она умела танцевать, эта маленькая Корали! Вы видели когда-нибудь такие руки? Сознайтесь, что она красива, *hein*?

— Она оригинальна,— сказал Гарц.— Красивая фигура!

Герр Пауль пустил клуб дыма.

— Да,— пробормотал он,— сложена она была недурно!

Он уронил пенсне и поглядывал своими круглыми карими глазами с морщинками у уголков то на гостя, то на свою сигару.

«Он был бы похож на сатира, если бы не был таким чистеньким,— подумал Гарц.— Воткнуть ему в волосы виноградные листья, написать его спящим, со скрещенными руками — вот так!..»

— Когда мне говорят, что человек оригинален,— густым, хрипловатым голосом говорил герр Пауль,— я обычно представляю себе стоптанные башмаки и зонтик самого дикого цвета; я представляю себе, как говорят в Англии, существо «дурного тона», которое то бреется, то ходит небритым, от которого то пахнет резиной, то не пахнет, что совершенно обескураживает!

— Вы не одобряете оригинальности? — спросил Гарц.

— Если это значит поступать и мыслить так, как не поступают и не мыслят люди умные,— то нет.

— А что это за умные люди?

— О дорогой мой, вы ставите меня в тупик! Ну... общество, люди знатного происхождения, люди с упроченным положением, люди, не позволяющие себе эксцентричных выходов, словом, люди с репутацией...

Гарц пристально посмотрел на него.

— Люди, которые не имеют смелости обзавестись собственными мыслями; люди, которые даже не имеют смелости пахнуть резиной; люди, у которых нет желаний и которые поэтому тратят все свое время на то, чтобы казаться банальными.

Герр Пауль достал красный шелковый платок и вытер бороду.

— Уверю вас, дорогой мой,— сказал он,— банальным быть легче, респектабельней быть банальным! *Nimm-mel!*¹ Так почему же тогда не быть банальным?

— Как любая заурядная личность?

— *Certes*², как любая заурядная личность..., как я, *par exemple!*³

Герр Пауль помахал рукой. Когда ему хотелось проявить особый такт, он всегда переходил на французский.

Гарц покраснел. Герр Пауль закрепил свою победу.

— Ну, ну! — сказал он. — Оставим в покое моих респектабельных людей! *Que diable!* Мы же не анархисты.

— Вы уверены? — спросил Гарц.

Герр Пауль покрутил ус.

— Простите,— проговорил он. Но в это время отворилась дверь и послышался рокочущий бас:

— Доброе утро, Пауль. Кто у тебя в гостях?

Гарц увидел на пороге высокого, грузного человека.

— Войдите,— откликнулся герр Пауль. — Разрешите представить вам нового знакомого, художника; герр Гарц, мистер Николае Треффри. Гм-гм! От этих представлений пересыхает в глотке! — И, подойдя к буфету, он налил в три стакана светлое пенящееся пиво.

Мистер Треффри отстранил стакан.

— Это не для меня,— сказал он. — Жаль, но не могу! Мне даже смотреть на него не дают. — И направился к окну, тяжело ступая дрожащими, как и голос, ногами. Там он сел. Его походка чем-то напоминала поступь слона. Он был очень высок (говорили, как обычно по семейной традиции преувеличивая, что еще не было ни одного Треффри ростом ниже шести футов), но

¹ Боже мой! (нем.)

² Конечно (франц.).

³ Например! (франц.)

теперь ссутулится и раздался вширь. Однако при всей своей внушительности он умел быть незаметным.

На нем была просторная коричневая вельветовая куртка и жилет с широким вырезом, открывавшим тонкую гофрированную манишку и узкий черный галстук; шею обвивала тонкая золотая цепочка, исчезающая в кармане для часов. Его массивные щеки опадали складками, как у собаки-ищейки. У него были большие, висятые, седые с желтизной усы, которые он имел привычку обсасывать, козлиная бородка и большие дряблые уши. На голове у него была мягкая черная шляпа с большими полями и низкой тульей. Под лохматыми бровями поблескивали добродушно-циничные серые глаза с тяжелыми веками. Молодость он провел весьма бурно, но о деле не забывал и нажил порядочный капитал. В сущности, он, как говорится, жег свечу с обоих концов, однако всегда был готов оказать своим друзьям добрую услугу. У него была страсть к лошадям, и его безрассудный способ править упряжкой стяжал ему прозвище «Сорви-голова Трефри».

Однажды, когда он спускался в коляске, запряженной цугом, по склону холма и совсем отпустил вожжи, сидевший рядом приятель сказал: «Раз уж ты не находишь применения вожжам, Трефри, то можешь забросить их на спины лошадей».

«Так и сделаем», — ответил Трефри. У подножия холма они врезались в забор и оказались на картофельном поле. Трефри сломал себе несколько ребер, а его приятель остался цел и невредим.

Теперь он очень страдал, но, органически не переваривая проявлений жалости, то и дело начинал хмыкать себе под нос, чем сбивал собеседника с толку, и это обстоятельство, усугубленное дрожащим голосом и частым употреблением специфических оборотов, приводило к тому, что временами его речь можно было понимать только интуитивно.

Часы пробили одиннадцать. Гарц, пробормотав какое-то извинение, пожал руку хозяину, раскланялся с новым знакомым и удалился. Увидев в окне личико Греты, он помахал ей рукой. На дороге ему встретился Дони, который сворачивал к тополям, засунув, как обычно, большие пальцы за проймы жилета.

— А, это вы? — сказал Дони.

— Доктор! — лукаво заметил Гарц. — Кажется, обстоятельства сильнее нас.

— Так вам и надо, — сказал Дони, — за ваш проклятый эгоизм! Подождите меня здесь. Я всего на несколько минут.

Но Гарц не стал его дожидаться. Повозка, запряженная белыми волами, медленно тащи́лась к мосту. Перед наваленным на нее хворостом на охапке травы сидели две крестьянские девушки, довольные собой и всем миром.

«Я напрасно трачу время! — подумал Гарц. — За два месяца я почти ничего не сделал. Лучше вернуться в Лондон. Из этой девушки никогда не получится художницы! Из нее никогда не получится художницы, но в ней что-то есть, от чего не отмахнешься так просто. Она не то чтобы красива, но мила. У нее приятная внешность, мягкая волна тонких темно-каштановых волос, глаза такие правдивые и сияющие. Сестры совсем не похожи друг на друга! Младшая просто прелесть и все же непонятна; а старшая вся как на ладони!..»

Он вошел в городок, где на улицах под сводами деревьев стоял едкий запах коров и кожи, дыма, винных бочек и нечистот. Услышав грохот колес по булыжной мостовой, Гарц обернулся. Мимо пронеслась коляска, запряженная парой саврасых лошадей. Прохожие останавливались и с испугом смотрели ей вслед. Экипаж сильно бросало из стороны в сторону. Вскоре он исчез за углом. Гарц успел разглядеть мистера Николаса Треффри, облаченного в длинный белесый пыльник; на запятках, испуганно улыбаясь и крепко вцепившись в поручни, стоял смуглый слуга-итальянец.

«Сегодня от этих людей не скроешься никуда — они везде», — подумал Гарц.

В мастерской он принялся разбирать этюды, мыть кисти и доставать вещи, накопившиеся за двухмесячное пребывание в Тироле. Он даже стал скатывать одеяло, служившее дверью. Но вдруг перестал собираться. Сестры! А почему бы не попытаться? Какая картина! Две головки на фоне неба и листвы! Начать завтра же! Против этого окна... нет, лучше на вилле! Картина будет называться... «Весна»!..

Ветер, раскачивая деревья и кусты, взметал вверх молодые листочки. Серебристые с изнанки, они радостно трепетали, как сердце при доброй вести. Это было такое весеннее утро, когда все словно исполнено сладостного беспокойства: легкие облака быстро бегут по небу; проплывают и исчезают волны тонких ароматов; птицы то заливаются громко и самозабвенно, то умолкают; вся природа чего-то ждет, все в возбуждении.

Только вилла Рубейн не поддавалась общему настроению и сохраняла свой обычный безмятежный и уединенный вид. Гарц вручил слуге свою визитную карточку и попросил передать хозяину дома, что хочет увидеться с ним. Бритый сероглазый слуга-швейцарец вернулся и сказал

— Der Herr, mein Herr, ist in dem Garten¹.

Гарц пошел следом за ним.

Герр Пауль в маленькой фланелевой шапочке, перчатках и с пенсне на носу поливал розовый куст и мурлыкал серенаду из «Фауста».

Этот уголок виллы сильно отличался от других. Солнце заливало веранду, густо увитую диким виноградом, недавно подстриженный газон и свежевскопанные цветочные клумбы. В конце аллеи молодых акаций виднелась беседка, заросшая глицинией.

На востоке поднимались из марева и сверкали снежные вершины гор. Печать какой-то строгой простоты лежала на всем этом пейзаже: на крышах и шпилях, на долинах и дремотных склонах гор с их желтыми утесами, алой россыпью цветов и водопадами, похожими на летящие по ветру хвосты белых лошадей.

Герр Пауль протянул руку.

— Чему обязан?..— спросил он.

— Я пришел просить об одолжении, — ответил Гарц. — Я хотел бы написать ваших дочерей. Я принесу холст сюда... это не доставит никаких хлопот. Я буду писать их в саду, когда у них не будет других занятий.

Герр Пауль поглядел на него с сомнением. Со вчерашнего дня он не раз думал: «Станный субъект этот ху-

¹ Хозяин в саду, сударь (нем.).

дожник... чертовски много мнит о себе! И решительный малый к тому же!» Теперь же, оказавшись с художником лицом к лицу, он решил, что будет лучше, если просьбу отклонит кто-нибудь другой.

— С великим удовольствием, дорогой мой,— сказал он.— Пойдемте спросим самих юных дам! — И, опустив на землю шланг, он направился к беседке с мыслью: «Вы будете разочарованы, мой юный герой, или я очень и очень ошибаюсь!»

Мисс Нейлор и обе сестры сидели в тени, читая басни Лафонтена. Грета, косясь на гувернантку, тайком вырезала из апельсинной корки свинью.

— Ааа! Девочки мои! — сказал по-английски герр Пауль, который в присутствии мисс Нейлор всегда старался блеснуть своим знанием английского.— Наш друг обратился ко мне с очень лестной просьбой: он хочет написать вас... да-да, обеих вместе *al fresco*¹, в саду, на солнышке, с птичками, с маленькими птичками!

Взглянув на Гарца, Грета густо покраснела и украдкой показала ему свою свинью.

— Написать нас? Нет, нет! — сказала Кристиан. Но, увидев, что Гарц смотрит на нее, она смущенно добавила: — Если вы действительно этого хотите, думаю, мы сможем позировать.— И опустила глаза.

— Ага! — сказал герр Пауль, так высоко подняв брови, что у него свалилось с носа пенсне.— А что скажет Гретхен? Желает ли наша пигалица быть запечатленной для потомства вместе с другими птичками?

— Конечно, желаю,— выпалила Грета, не спуская глаз с художника.

— Гм! — сказал герр Пауль, посмотрев на мисс Нейлор. Маленькая гувернантка широко открыла рот, но испустила только коротенький писк, как бывает с теми, кто торопится что-то сказать, не обдумав заранее своих слов.

Вопрос, казалось, был исчерпан; Гарц удовлетворенно вздохнул. Но у герра Пауля был про запас еще один козырь.

— Надо еще поговорить с вашей тетей,— сказал он.— Нельзя же так сразу... нам, безусловно, следует спросить ее... а там видно будет...

¹ На свежем воздухе (итал.).

Звонко расцеловав Грету в обе щеки, он пошел к дому.

— Почему вы хотите писать нас? — спросила Кри-
стиан, как только он скрылся из виду.

— Я против этого, — вырвалось у мисс Нейлор.

— Отчего же? — нахмурившись, спросил Гарц.

— Грета еще маленькая... у нее уроки... это беспо-
лезная трата времени!

У Гарца дернулись брови.

— Ах, вот как!

— Не понимаю, почему это будет напрасной тратой
времени, — спокойно возразила Кристиан. — Сколько ча-
сов мы проводим здесь, ничего не делая!

— И нам так скучно! — вставила Грета с недоволь-
ной гримаской.

— Это невежливо, Грета, — рассердившись, сказала
мисс Нейлор, поджала губы и принялась за вязанье.

— Я заметила, что когда говоришь правду, это все-
гда получается невежливо, — заметила Грета.

Мисс Нейлор поглядела на нее очень пристально, как
всегда глядела, когда хотела выразить свое недоволь-
ство.

Но тут пришел слуга и сказал, что миссис Диси бу-
дет рада видеть герра Гарца. Художник холодно покло-
нился и пошел за слугой в дом. Мисс Нейлор и девочки
настороженно смотрели ему вслед; он явно обиделся.

Пройдя через веранду в дверь с шелковыми портье-
рами, Гарц оказался в прохладной полутемной комнате.
Это был кабинет миссис Диси, в котором она писала
письма, принимала гостей, читала литературные новин-
ки, а порой, когда у нее болела голова, лежала часами
на диване, обмахиваясь веером и закрыв глаза. В комнате
стоял запах сандалового дерева, и в этом было что-то
восточное, таинственное, будто столы и стулья не были
самыми обыкновенными предметами обстановки, а име-
ли и другое, неведомое назначение.

Гость еще раз внимательно обвел взглядом комнату —
слишком много здесь было домашних растений, бисер-
ных занавесок, серебра и фарфора.

Миссис Диси пошла ему навстречу, шурша шелком, —
она всегда носила шелк, независимо от моды. Это была
высокая женщина лет пятидесяти, и ходила она так, слов-
но ноги у нее были связаны в коленях. У нее было длин-

ное лицо, тусклые глаза, рыжевато-седые волосы, зачесанные прямо назад от высокого лба. Она всегда еле приметно и загадочно улыбалась. Цвет лица ее испортился от длительного пребывания в Индии, и злые языки называли бы его землистым. Она близко подошла к Гарцу, глядя ему прямо в глаза и слегка наклонив голову.

— Мы очень рады познакомиться с вами, — сказала она голосом, потерявшим всякую звонкость. — Так приятно встретить в этих краях человека, который может напомнить нам, что на свете есть такая вещь, как искусство. Прошлой осенью здесь побывал мистер С., такой приятный человек. Он очень интересовался местными обычаями и костюмами. Полагаю, вы тоже жанровый живописец? Садитесь, пожалуйста.

Она еще некоторое время продолжала упоминать фамилии художников и задавать вопросы, стараясь, чтобы разговор касался только общих тем. А молодой человек стоял перед ней и немного насмешливо улыбался. «Ей хочется знать, стоит ли моя овчинка выделки», — думал он.

— Вы хотите писать моих племянниц? — спросила наконец миссис Дисси, откидываясь на спинку козетки.

— Я был бы счастлив удостоиться этой чести, — ответил Гарц с поклоном.

— И как же вы думаете написать их?

— Это будет видно по ходу дела, — ответил Гарц. — Трудно сказать.

И подумал: «Наверно, она спросит, не в Париже ли я покупал свои краски, как та женщина, о которой мне рассказывал Трампер».

Не сходявшая с ее лица слабая улыбка, казалось, вызывала его на откровенность и в то же время предупреждала, что там, где-то за высоким, чистым лбом, слова его будут тщательно взвешены. На самом же деле миссис Дисси думала: «Интересный молодой человек... настоящая богема... но в его возрасте это не страшно; в лице есть что-то наполеоновское; фрака у него, наверное, нет. Да, надо бы узнать его получше!» У нее был нюх на будущих знаменитостей; имя этого молодого человека ей незнакомо, знаменитый художник мистер С., наверно, отозвался бы о нем пренебрежительно, но ее инстинкт

подсказывал, что ей надо познакомиться с ним поближе. Надо отдать ей справедливость: она была из тех охотниц на «львов», которые разыскивают этих животных ради собственного удовольствия, а не для того, чтобы купаться в лучах их славы; она не боялась поступать так, как подсказывала ей интуиция,— общество многообещающих львят было ей необходимо, но полагалась она только на собственное суждение; уж ей-то навязать «льва» не мог никто.

— Это будет очень мило. Вы не останетесь позавтракать с нами? Порядки у нас довольно своеобразные — слишком пестрая семья... но в два часа для всех, кто желает, подается второй завтрак, а обедаем мы все вместе в семь. Вам, вероятно, удобней будет приходить после двенадцати? Мне бы хотелось посмотреть ваши наброски. Мастерская у вас, кажется, в старом доме на дамбе? Это так оригинально!

Гарц отказался от завтрака, но попросил разрешения начать работу в тот же день; он ушел, задыхаясь от запаха сандалового дерева и любезности дамы-сфинкса.

Шагая домой по дамбе, он слушал пение жаворонков и дроздов, плеск воды и жужжание майских жуков и чувствовал, что картина должна получиться. Перед глазами то и дело всплывали лица обеих девушек на фоне синего неба, обрамленные молодыми листочками, трепещущими у их щек.

V

На четвертый день после того, как Гарц начал работу над картиной, рано утром из виллы Рубейн вышла Грета и, миновав плотину, уселась на скамейку, с которой был хорошо виден старый дом на обрыве. Вскоре появился Гарц.

— Я не стучалась,— сказала Грета,— вы все равно не услышали бы, и потом еще рано. Я жду вас уже четверть часа.

В руке она держала букет. Вытянув из него бутон розы, она протянула его Гарцу.

— В нашем саду это первый бутон розы нынешней весной,— сказала она,— и я дарю его вам за то, что вы

рисуете меня. Сегодня мне исполнилось тринадцать лет, герр Гарц; сеанса не будет, потому что у меня день рождения; но зато мы все собираемся в Меран смотреть пьесу об Андреасе Гофере¹. Поедьте с нами, пожалуйста; я пришла, чтобы пригласить вас, и остальные тоже скоро будут здесь.

Гарц поклонился.

— А кто эти остальные?

— Кристиан, доктор Эдмунд, мисс Нейлор и кузина Тереза. Её муж болен, и поэтому она очень грустная, но сегодня она хочет забыть об этом. Нехорошо все время грустить, да, герр Гарц?

Он засмеялся.

— Вы не могли бы.

— Нет, могла бы,— серьезно ответила Грета.— Мне тоже часто бывает грустно. Вы смеетесь надо мной. Сегодня нельзя надо мной смеяться, у меня день рождения. Как вы думаете, герр Гарц, хорошо быть взрослой?

— Нет, фрейлейн Грета, лучше, когда жизнь еще впереди.

Они шагали рядом.

— Я думаю,— сказала Грета,— что вы не любите терять даром время. А вот Крис говорит, что время — это ничто.

— Время — это все,— откликнулся Гарц.

— Она говорит, что время — ничто, а мысль — все,— мурлыкала Грета, гладя себя розой по щеке.— А вот я думаю, откуда возьмется мысль, если нет времени выдумать ее. А вон остальные! Глядите!

На мосту мелькнул яркий букет зонтиков и исчез в тени.

— Ну-ка,— сказал Гарц,— догоним их!

В Меране к открытому театру под сенью замка Тироля через луга стекались толпы народа: высокие горцы в коротких кожаных штанах выше колен и шляпах с орлиными перьями, торговцы фруктами, почтенные горожане с женами, приезжие иностранцы, актеры и прочая, самая разношерстная публика. Зрители, сбившиеся во-

¹ Гофер, Андреас (1767—1810) — руководитель вооруженной борьбы тирольских крестьян против наполеоновской армии, оккупировавшей Тироля. После подавления поднятого им восстания он был расстрелян.

круг высоких подмостков, изнемогали от зноя. Кузина Тереза, высокая и тонкая, с тугими румяными щеками, прикрывала ладошкой свои красивые глаза.

Представление началось. В пьесе изображалось тирольское восстание 1809 года; деревенская жизнь, танцы и пение йодлей; ропот и призывы, грозный бой барабанов; толпа, вооруженная кремневыми ружьями, вилами, ножами; битва и победа; возвращение домой и праздник. Потом еще восстание, пушечный гром, предательство, плен, смерть. И на первом плане под голубым небом, на фоне горной цепи, неизменно спокойная фигура патриота Андреаса Гофера, чернубородого, затянутого кожаным кушаком.

Гарц и Кристиан сидели позади остальных. Он был так поглощен спектаклем, что она тоже молчала и только наблюдала за выражением его лица, застывшего в каком-то холодном исступлении — он, казалось, чувствовал себя участником событий, развертывавшихся на сцене. Что-то от его настроения передалось и ей; когда представление окончилось, она дрожала от возбуждения. Выбравшись из толпы, они потеряли остальных.

— Пойдемте к станции по этой тропинке, — сказала Кристиан. — Так ближе.

Тропинка шла немного в гору; по обочине луга вилась ручеек, а живая изгородь была усыпана цветами шиповника. Кристиан застенчиво поглядывала на художника. С первой их встречи на дамбе ее не переставали обуревать новые мысли. Этот иностранец с решительным выражением лица, настойчивым взглядом и неиссякаемой энергией вызывал у нее незнакомое чувство; в словах его было именно то, что она думала, но не могла выразить. У перелаза она посторонилась, чтобы пропустить чумазых и лохматых крестьянских мальчишек, которые прошли мимо, напевая и насвистывая.

— Когда-то я был таким же, как эти мальчишки, — сказал Гарц.

Кристиан быстро обернулась к нему.

— Так вот почему эта пьеса увлекла вас!

— Там, наверху, моя родина. Я родился в горах. Я пас коров, спал на копнах сена, а зимой рубил лес. В деревне меня обычно называли бездельником и «паршивой овцой».

— Почему?

— Да, почему? Я работал не меньше других. Но мне хотелось удрать оттуда. Как вы думаете, мог бы я остаться там на всю жизнь?

У Кристиан загорелись глаза.

— Если люди не понимают, чего ты хочешь, то они всегда называют тебя бездельником,— бормотал Гарц.

— Но вы же добились своего, несмотря ни на что,— сказала Кристиан.

Для нее самой решиться на что-нибудь и довести дело до конца было очень трудно. Когда-то она рассказывала Грете сказки собственного сочинения, и та, всегда инстинктивно стремившаяся к определенности, бывало, спрашивала: «А что было дальше, Крис? Доскажи мне все сегодня!» Но Кристиан не могла. Она была мечтательна, мысли ее были глубокими и смутными. Чем бы она ни занималась: вязала ли, писала ли стихи или рисовала,— все получалось у нее по-своему прелестно, и всегда не то, что задумано. Николас Треффри как-то сказал о ней: «Если Крис возьмется делать шляпу, то у нее может получиться покров для алтаря или еще что-нибудь, но только не шляпа». Она инстинктивно стремилась понять скрытый смысл вещей, и на это уходило все ее время. Самое себя она знала лучше, чем большинство девушек в девятнадцать лет, но в этом был повинен ее разум, а не чувства. В той тепличной обстановке, в которой она жила, ей не приходилось волноваться, если не считать тех редких случаев, когда у нее бывали вспышки гнева («истерики», как окрестил их старый Николас Треффри) при виде того, что она считала низким и несправедливым.

— Если бы я была мужчиной,— сказала Кристиан,— и собиралась стать великим, я предпочла бы начать с самой первой ступеньки, как вы.

— Да,— быстро ответил Гарц,— надо испытать и понять все.

Она и не заметила, что он воспринял, как должное, ее слова о том, что он собирается стать великим.

— Таких взглядов придерживаются немногие!— продолжал он, недовольно кривя губы под черными усами.— А для всех остальных неблагородное происхождение — уже преступление!

— Вы несправедливы,— сказала Кристиан.— Этого я от вас не ожидала.

— Но ведь это правда! Стоит ли закрывать глаза на нее?

— Может быть, и правда, но благороднее о ней не говорить!

— Если бы чаще говорили правду, было бы меньше лицемерия,— сказал Гарц, стукнув кулаком по ладони.

Кристиан, сидевшая на перелазе, взглянула на него сверху вниз.

— Впрочем, вы правы, фрейлейн Кристиан,— вдруг добавил он,— все это мелочи. Главное — работа и стремление увидеть красоту мира.

Лицо Кристиан просияло. Эту жажду красоты она понимала очень хорошо. Соскочив с перелазы, она глубоко вздохнула.

— Да! — сказала она.

Оба немного помолчали, потом Гарц неуверенно произнес:

— Если бы вам и фрейлейн Грете захотелось как-нибудь посмотреть мою мастерскую, я был бы очень рад. Я попытался бы прибрать ее к вашему приходу!

— Я буду очень рада. Это могло бы многому научить меня. А я хочу учиться.

Оба они молчали, пока тропинка не вывела их на дорогу.

— Мы, по-видимому, всех опередили; как хорошо быть впереди... не надо торопиться. Впрочем, я забыла... вы ведь не любите бездельничать, герр Гарц, вы всегда торопитесь.

— Потрудившись как следует, я могу бездельничать не хуже всякого другого; потом снова работаю... охота к работе нагуливается, как аппетит.

— А я всегда бездельничаю,— сказала Кристиан.

Сидевшая на обочине дороги крестьянка, подняв к ним загорелое лицо, попросила тихим голосом:

— Милостивая госпожа, помогите мне, пожалуйста, поднять на плечо эту корзину.

Кристиан нагнулась, но прежде чем она успела что-нибудь сделать, Гарц взвалил корзину себе на спину.

— Так-то лучше,— сказал он, кивая крестьянке.— Эта добрая дама не обидится на меня.

Женщина, очень сконфуженная, пошла рядом с Кристиан. Потирая загорелые руки, она говорила:

— Добрая госпожа, я не хотела... Корзина тяжелая, но я совсем не этого хотела...

— Я уверена, что он помогает вам с удовольствием, — сказала Кристиан.

Однако вскоре их догнал экипаж с остальными, и при виде этого странного зрелища мисс Нейлор поджала губы, кузина Тереза мило закивала головой, Дони улыбнулся, а у сидевшей рядом с ним Греты выражение лица стало очень чопорным. Гарц расхохотался.

— Чему вы смеетесь? — спросила Кристиан.

— Вы, англичане, забавный народ. Этого делать нельзя, того делать не полагается — не повернешься, словно в крапиве сидишь. А если бы мне взбрело в голову пройтись с вами без сюртука, ваша гувернантка свалилась бы под колеса.

Смех его заразил Кристиан; пока они шли к станции, у них появилось такое чувство, что теперь они знают друг друга лучше.

Солнце уже скрылось за горами, когда маленький поезд тронулся и пополз вниз по склону долины. Всех сморило, а Грета то и дело клевала носом. Кристиан сидела в углу и смотрела в окно, Гарц изучал ее профиль.

Он пытался рассмотреть ее глаза. Он и раньше замечал, что каково бы ни было их выражение, брови, выгнутые и довольно широко расставленные, придавали ее взгляду какую-то особенную проницательность. Он думал о своей картине. В лице девушки нет ничего характерного, слишком оно доброе, слишком лучистое. Только подбородок резко очерченный, почти упрямый.

Поезд дернулся и остановился; Кристиан оглянулась. У Гарца было такое ощущение, словно она сказала: «Вы мой друг».

На вилле Рубейн герр Пауль заколол ради дня рождения Греты весьма упитанного тельца. Когда все гости наконец уселись, он один остался на ногах. Взмахнув рукой над накрытым столом, он крикнул:

— Дорогие мои! Ешьте на здоровье! Здесь вкусные вещи... Прошу! — И с хитрым видом фокусника, достающего кролика из шляпы, он снял крышку с супницы. — Суп... черепаховый, жирный, с зеленым жиром!

Он чмокнул губами.

За столом никто не прислуживал. Грета так объяснила Гарцу отсутствие лакеев:

— Это потому, что мы хотим подурачиться сегодня.

Красная и блестящая, как бокал, наполненный вином, физиономия герра Пауля излучала радушие. Он чокался со всеми и увещевал отстающих.

Гарц за спиной Греты украдкой передал мисс Нейлор хлопущку, и маленькая гувернантка вдруг, с выражением шутливого ужаса на лице, дернула за ниточку. Хлопушка взорвалась, и Грета соскочила со стула. Скраф, испугавшись, вдруг оказался на буфете и попал передними лапами в тарелку с супом; он обернулся с таким видом, словно обвинял всю компанию в том, что оказался в неловком положении. Раздался взрыв смеха. Но Скраф не торопился вылезать из тарелки, он понюхал суп и, не обнаружив никакого подвоха, стал его лакать.

— Возьмите его! Возьмите его! — жалобно просила Грета. — А то он заболит.

— Allons, mon cher! — кричал герр Пауль. — C'est magnifique, mais vous savez, ce n'est guère la guerre¹.

Скраф, сделав отчаянный прыжок, опустился позади него.

— Ах! — вскрикнула мисс Нейлор. — Ковер!

Новый взрыв хохота потряс стол; рассмеявшись раз, они теперь могли остановиться, только насмеявшись вволю. Когда Скраф и следы его деятельности были удалены, герр Пауль взял разливательную ложку.

— У меня есть тост, — сказал он, размахивая ложкой и требуя внимания. — Мы выпьем все вместе и от всего сердца. Предлагаю выпить за мою дочурку, которой сегодня исполнилось тринадцать лет... И в наших сердцах, — продолжал он, положив разливательную ложку и став вдруг серьезным, — живет память о той, которой нет сегодня с нами на этом радостном торжестве, и за нее мы тоже поднимаем бокалы от всего сердца, потому что она тоже была бы рада видеть нас веселыми. Я пью за мою дочурку, благослови ее бог!

¹ Ну же, мой милый! Это великолепно, но едва ли уместно! (франц.)

Все встали, чокнулись бокалами и выпили; потом все замолчали, и Грета, по обычаю, запела немецкую песенку. На четвертой строке она сконфузилась и замолчала.

Герр Пауль громко высморкался и, взяв колпак, вывалившийся из хлопушки, напялил его на голову.

Все последовали его примеру. Мисс Нейлор досталась пара ослиных ушей, и после второго бокала она надела их с видом человека, приносящего себя в жертву ради общего блага.

После ужина наступило время вручения подарков. Герр Пауль завязал Грете глаза платком, и все по очереди стали подносить ей подарки. Взяв в руки подарок, Грета должна была отгадать, от кого он, в противном случае с нее полагался штрафной поцелуй. Ее проворные, ловкие пальчики бесшумно ощупывали подарки, и в каждом случае она отгадывала правильно.

Подарок Дони, котенок, вцепился когтями ей в волосы, вызвав веселое замешательство.

— Это подарок доктора Эдмунда, — сразу же догадалась она.

Кристиан заметила, что Гарц исчез, но вскоре вернулся запыхавшийся и преподнес свой подарок последним.

Подойдя на цыпочках, он вложил его в руки Греты. Это была маленькая бронзовая копия одной из статуй Донателло.

— О, герр Гарц! — воскликнула Грета. — Я видела ее тогда у вас в мастерской. Она стояла у вас на столе. Такая милая!

Миссис Дисси наклонилась и, впившись в статуэтку своими белесыми глазками, прошептала: «Прелестно!»

Мистер Трефри взял фигурку в руки.

— Оригинальная штучка! Думаю, стоит немало!

Он с сомнением поглядел на Гарца.

Потом все перешли в другую комнату, и герр Пауль, сняв с Греты платок, завязал им собственные глаза.

— Берегитесь! Берегитесь! — кричал он. — Сейчас я вас всех переловлю.

И, расставив руки, он осторожно двинулся вперед, словно медведь на задних лапах. Но поймать ему не удалось никого. Кристиан и Грета прошмыгнули у него под руками. Миссис Дисси увернулась от него с удивитель-

ным проворством. Мистер Треффри забрался в угол и, покуривая сигару, подзуживал:

— Браво, Пауль! Какой проворный! А ну, бегом! Грета, давай!

Наконец герр Пауль поймал Терезу, которая прижалась к стене и, растерявшись, тоненько попискивала.

Вдруг миссис Дисси заиграла вальс «Голубой Дунай». Герр Пауль отшвырнул платок, свирепо подкрутил ус, окинул взглядом комнату и, обхватив Грету за талию, неистово закружился, ныряя и подпрыгивая, как пробка на волнах. Кузина Тереза с мисс Нейлор последовали его примеру, обе были чрезвычайно торжественны. Каждая выделявала свои па, не обращая внимания на партнершу. Гарц подошел к Кристиан.

— Я не умею танцевать, — сказал он, — то есть я танцевал только раз в жизни, но, может быть, вы все-таки...

Она положила руку ему на плечо, и они закружились. В танце она была легка, как перышко. Глаза ее сияли, ножки летали, вся она подалась немного вперед. Сначала у Гарца ничего не получалось, но вскоре ноги его стали двигаться в такт музыке, и они с Кристиан продолжали кружиться даже тогда, когда все остальные уже остановились. Время от времени пары ускользали танцевать на веранду и, кружась, возвращались через раскрытую дверь. Свет ламп сиял на белых платьях девушек, на вспотевшем лице герра Пауля. Он веселился до изнеможения и, когда музыка смолкла, бросился во весь рост на диван и произнес, задыхаясь:

— Боже мой! Боже мой!

Вдруг Кристиан почувствовала, как Гарц сжал ее руку. Тяжело дыша, вся сияющая, она взглянула на него.

— Голова кружится! — пробормотал он. — Я очень плохо танцевал, но я скоро научусь.

Грета захопала в ладоши.

— Мы будем танцевать каждый вечер, мы будем танцевать каждый вечер!

Гарц взглянул на Кристиан; она покраснела еще больше.

— Я покажу вам, как пляшут у нас в деревне — ногами по потолку.

И, подбежав к Дони, он попросил:

— Держите меня! Поднимайте... вот так! Теперь, раз... два...

Он попытался вскинуть ноги выше головы, но у Дони вырвалось «ох!», и они оба грохнулись на пол. Этим неуместным происшествием завершился вечер. Дони пошел провожать кузину Терезу, а Гарц зашагал домой, напевая «Голубой Дунай». У него было такое ощущение, словно рука его все еще лежала на талии Кристиан.

В своей спальне сестры долго еще сидели у окна на ветерке перед тем, как раздеться.

— Ах! — вздохнула Грета. — Сегодня у меня был самый счастливый день рождения.

Кристиан тоже подумала: «Ни разу в жизни я не была так счастлива, как сегодня. Вот если бы так было каждый день!» И она высунулась в окно, подставив под прохладный ветерок горящие щеки.

VI

— Крис! — сказала Грета несколько дней спустя. — Мисс Нейлор танцевала вчера вечером; сегодня у нее, наверное, болит голова. А у меня французский и история.

— Ну что ж, я могу позаниматься с тобой.

— Вот и хорошо, тогда мы можем поговорить. Мне ее жалко. Я отнесу ей немного своего одеколона.

На другой день после танцев у мисс Нейлор неизменно болела голова. Девушки понесли свои учебники в беседку; на дворе сияло солнце, но то и дело накрапывал дождь. Сестрам пришлось спасаться от него бегом.

— Сначала займемся французским, Крис!

Грета любила уроки французского, который она знала ненамного хуже Кристиан; поэтому урок проходил восхитительнейшим образом. Точно через час по часам Греты (подарку мистера Трефри, сделанному в день рождения и, по меньшей мере, ежечасно вызывавшему прилив любви и восторгов) она встала.

— Крис, я не покормила своих кроликов.

— Поторопись! На историю у нас почти не осталось времени.

Грета исчезла. Кристиан следила за блестящими капельками, срывающимися с крыши; губы ее были полуоткрыты, она улыбалась. Она думала о том, что сказал

Гарц прошлым вечером. Завязался разговор, может ли существовать общество, если мнение большинства не будет обязательно для всех. Гарц, сидевший сначала молча, взорвался:

— По мне, так один энтузиаст лучше двадцати равнодушных. В конечном счете он приносит обществу наибольшую пользу.

— Будь на то ваша воля,— ответил Дони,— общества не было бы вообще.

— Я ненавижу общество, потому что оно живет за счет слабых.

— Ба!—вмешался герр Пауль.—Уж на том свет стоит, что слабые отстают и падают.

— Ну, падают,—горячился Гарц,—но не топчите их...

Появилась Грета, она уныло брела под дождем.

— Бино,—сказала она, вздыхая,—объелся. Теперь я вспомнила, что уже кормила их. А мы обязательно должны заниматься историей, Крис?

— Конечно.

Грета раскрыла книгу и заложила пальчиком страницу.

— Герр Гарц очень добр ко мне,—сказала она.—Вчера он принес птичку, она залетела к нему в мастерскую и повредила крыло. Он завернул ее в платок и нес очень осторожно... он очень добрый, птичка даже не испугалась его. Разве ты не знаешь об этом, Крис?

Крис немного покраснела и сказала обиженно:

— Не понимаю, какое это имеет ко мне отношение.

— Никакого,—согласилась Грета.

Кристиан покраснела еще больше.

— Займемся историей, Грета.

— И все же,—не отставала Грета,—он тебе всегда все рассказывает, Крис.

— Ничего подобного! Как тебе не стыдно!

— Нет, правда, и все потому, что ты его никогда не выводишь из себя. А его так легко разозлить: стоит ему слово поперек сказать, как он уже сердится.

— Это ты злючка!—сказала Кристиан.—И говоришь неправду. Он ненавидит притворство и не выносит подлости, а это низко — скрывать неприязнь и притворяться, что ты согласен с людьми.

— Папа говорит, что он слишком высокого о себе мнения.

— Папа! — горячо начала Кристиан, но замолчала и, прикусив губу, гневно взглянула на Грету.

— А ты всегда показываешь свою неприязнь, Крис?

— Я? А при чем тут я? Если я трусиха, то это не значит, что трусом быть хорошо.

— По-моему, герру Гарцу не нравится слишком многое, — пробормотала Грета.

— Чем считать недостатки у других, ты бы лучше на себя посмотрела.

И, оттолкнув книгу, Кристиан уставилась в одну точку.

Прошло несколько минут, потом Грета наклонилась и потерлась щекой о плечо Кристиан.

— Прости меня, Крис... мне только хотелось поговорить. Читать мне историю?

— Да, — сухо сказала Кристиан.

— Ты на меня сердишься, Крис?

Кристиан не ответила. Редкие капли дождя стучали по крыше. Грета потянула сестру за рукав.

— Крис, — сказала она, — а вот и герр Гарц!

Кристиан подняла глаза, тотчас же опустила их и сказала:

— Ты будешь читать историю, Грета?

Грета вздохнула.

— Буду... но... ой, Крис, звонят к завтраку!

И она кротко закрыла книгу.

В течение последующих недель сеансы бывали почти каждый день. Обычно на них присутствовала мисс Нейлор; маленькая гувернантка до некоторой степени примирилась с происходящим и даже начала интересоваться картиной, уголком глаза наблюдая за движением кисти художника; но в глубине души она не совсем одобряла такое проявление тщеславия и потерю времени — беззвучное движение губ и бречание спиц выдавали порой ее сдержанное негодование.

У Гарца хорошо получалось то, что он делал быстро; если у него была возможность не торопиться, он начинал «видеть слишком многое» и, влюбляясь в картину, не умел остановиться вовремя. Ему было трудно отрывать-ся от холста, его мучила мысль: «Это можно сделать

лучше». Грета была уже выписана, но Кристиан, как он ни старался, не удовлетворяла его; ему казалось, что лицо ее меняется день ото дня, словно душа ее становилась все богаче и богаче. В глазах ее было что-то такое, чего он не мог ни прочесть, ни воспроизвести.

После своих ежедневных визитов к мистеру Трефри в сад нередко забредал Дони. Он с большой сигарой во рту разваливался на траве, подложив руку под голову, и подтрунивал над всеми. В пять часов подавали чай, и тогда являлась миссис Дисси, вооруженная каким-нибудь журналом или романом, так как она гордилась своей начитанностью. Сеанс прерывался; Гарц с папиросой во рту подходил то к столу, то к картине, попивая чай и кладя мазки; он никогда не садился, пока не решал, что на сегодня хватит. Во время этих «передышек» завязывался разговор, обычно заканчивавшийся спором. Миссис Дисси, которой больше всего нравилось говорить на литературные темы, частенько употребляла такие выражения, как: «В конце концов, раз это создает иллюзию, то остальное не имеет значения?», «В нем чувствуется какое-то позерство», «Это вопрос темперамента»... или «Все дело в том, как понимать значение слова» и другие очаровательные банальности, которые звучат солидно, кажутся многозначительными и совершенно неопровержимы, что всегда приятно. Иногда разговор переходил на искусство; говорили о цвете и мастерстве или о том, оправдан ли реализм, или следует ли нам быть прерафаэлитами. Когда начинались подобные споры, глаза Кристиан становились еще больше, еще яснее, потому что в них появлялось выражение жадной любознательности, словно они пытались увидеть суть явлений. И Гарц, не отрываясь, смотрел в эти глаза, но он не понимал их взгляда, словно в нем было не больше содержательности, чем во взгляде миссис Дисси, который в сочетании со слабой, осторожной улыбкой, казалось, говорил: «Ну, давайте займемся маленьким умственным упражнением».

Грета, дергая Скрафа за уши, поглядывала на разговаривавших снизу вверх; когда разговор кончался, она всегда встряхивала головой. Но если на сеанс никто не являлся, то порой завязывался очень серьезный, оживленный разговор, а иногда подолгу царило молчание.

Однажды Кристиан сказала:

— Какого вы вероисповедания?

Гарц положил на холст мазок и только потом ответил:

— Католического, наверно; меня крестили в католической церкви.

— Я не об этом. Вы верите в загробную жизнь?

— Кристиан,— прошептала Грета, сплетавшая травинки,— всегда спрашивает, что люди думают о загробной жизни. Это так забавно!

— Как вам сказать? — ответил Гарц.— Я никогда не думал об этом, времени не было.

— Как же вы можете не думать? — спросила Кристиан.— А я думаю... Ужасно представить себе, что после смерти от нас ничего не останется.

Она закрыла книгу, и та соскользнула с ее колен. Кристиан продолжала:

— Загробная жизнь должна быть, мы ведь так несовершенны. Что за польза, например, от вашей работы? Стоит ли совершенствоваться, если всему придет конец?

— Не знаю,— ответил Гарц.— Это меня не трогает. Я знаю одно: мне надо работать.

— Но почему?

— Для счастья... настоящее счастье в борьбе... остальное — ничто. Вот заканчиваешь вещь... разве когда-нибудь удовлетворяешься этим? Сейчас же начинаешь думать о новой. Безделье гнетет!

Кристиан закинула руки за голову. Солнечный луч, пробившись сквозь листву, трепетал у нее на платье.

— Вот оно! Оставайтесь в этой позе! — воскликнул Гарц.

Взгляд ее задержался на лице Гарца, она покачивала ногой.

— Вы работаете, потому что не можете не работать, но это не объяснение. Что вас побуждает работать? Я хочу знать: что кроется за этим? Когда мы с тетей Констанс путешествовали позапрошлой зимой, мы часто разговаривали... я слышала, как она спорила со своими друзьями. Она говорит, что мы движемся по кругам, пока не достигаем Нирваны. Но прошлой зимой я почувствовала, что не могу разговаривать с ней; мне стало казаться,

что в действительности за ее словами ничего не кроется. Я начала читать... Канта и Гегеля...

— Эх! — перебил ее Гарц. — Если бы они могли научить меня лучше рисовать или подмечать новые оттенки в цветке или выражения лиц, я бы их всех прочел.

Кристиан подалась вперед.

— По-видимому, вы поступаете правильно, стремясь познать истину, и каждый шаг на этом пути очень важен. Вы верите в истину, а истина и красота — это одно и то же (именно это вы и хотели сказать), стараясь писать правдиво, вы всегда видите красоту. Но как мы можем распознать истину, если мы не знаем, в чем ее сущность?

— Мне кажется, — вполголоса сказала Грета, — что ты понимаешь это так... а он по-другому... потому что... вас же двое, а не один человек.

— Конечно! — нетерпеливо сказала Кристиан. — Но почему...

Услышав какое-то хмыканье, она замолчала.

Держа «Таймс» в одной руке, а огромную пеньковую трубку — в другой, от дома шел Николас Трефри.

— Ага! — сказал он Гарцу. — Как подвигается картина?

И опустился в кресло.

— Вам сегодня лучше, дядя? — приветливо спросила Кристиан.

— Проклятые обманщики, эти доктора! — проворчал мистер Трефри. — Твой отец на них молился. И что же получилось? Собственный врач залечил его до смерти... заставлял пить бочками всякую отраву!

— Почему же тогда у вас есть собственный врач, дядя Ник? — спросила Грета.

Мистер Трефри взглянул на нее, в глазах у него появились насмешливые искорки.

— Не знаю. моя девочка. Стоит только раз к ним обратиться, и уже от них не отделаешься!

Весь день дул легкий ветерок, но теперь он затих; не дрожал ни один листочек, не шевелилась ни одна травинка; из дома доносились какие-то тихие звуки, словно там играли на свирели. По дорожке прыгал дрозд.

— Дядя Ник, а когда вы были мальчиком, вы разоряли птичьи гнезда? — шепнула Грета.

— А как же, Грета!

Дрозд ускакал в кусты.

— Вы испугнули его, дядя Ник! Папа говорит, что в замке Кёниг, где он жил, когда был мальчиком, он всегда разорял галочьи гнезда.

— Вздор, Грета! Твоему отцу никогда не добраться до галочьего гнезда, у него слишком толстые ноги!

— Вы любите птиц, дядя Ник?

— Как тебе сказать, Грета? Люблю, наверно.

— Тогда почему же вы разоряли птичьи гнезда? Я считаю, что это жестоко.

Мистер Треффри кашлянул, прикрывшись газетой.

— Я и сам не знаю, Грета, — заметил он.

Гарц стал собирать кисти.

— Благодарю вас, — сказал он. — На сегодня все.

— Разрешите взглянуть? — попросил мистер Треффри.

— Конечно.

Дядя Ник медленно поднялся с кресла и встал перед картиной.

— Когда она будет готова для продажи, — сказал он наконец, — я куплю ее.

Гарц поклонился, но почему-то ему стало неприятно, словно ему предложили расстаться с чем-то дорогим его сердцу.

— Благодарю вас, — сказал он. Раздался удар гонга.

— Вы не останетесь перекусить с нами? — спросил мистер Треффри. — Доктор остается.

Сложив газету, он направился к дому, опираясь на плечо Греты. Впереди бежал терьер. Гарц и Кристиан остались одни. Он скреб палитру, а она сидела, опершись локтями о колени; между ними солнечный луч вызолотил дорожку. Уже наступил вечер, от нагретых за день кустов и цветов плыли волны аромата; птицы затянули свою вечернюю песню.

— Вы не устали позировать для своего портрета, фрейлейн Кристиан?

Кристиан покачала головой.

— Мне хочется вложить в картину то, что не всякий

увидит сразу... то, что там, внутри... то, что будет жить вечно.

— Это звучит смело,— медленно произнесла Кристиан.— Вы были правы, когда говорили, что счастье в борьбе... но это для вас, а не для меня. Я трусиха. Я не люблю причинять людям страдания. Мне хочется нравиться им. Если бы вам пришлось ради своей работы сделать что-то такое, что навлекло бы на вас ненависть людей, вы бы все равно не остановились; и это хорошо... но я на это не способна. И в том... в том-то все и дело. Вам нравится дядя Ник?

Молодой художник посмотрел на дом, где на веранде еще был виден старый Николас Трефри, и улыбнулся.

— Будь я самым замечательным художником в мире, боюсь, что он не дал бы за меня и ломаного гроша; но если бы я мог показать ему пачку чеков на крупные суммы, полученные за мои картины, пусть даже самые плохие, он проникся бы ко мне уважением.

Она улыбнулась и сказала:

— Я люблю его.

— В таком случае он мне понравится,— просто ответил Гарц.

Она протянула руку, и пальцы их встретились.

— Мы опоздаем,— сказала она, покраснев, и подхватила книгу.— Я всегда опаздываю!

VII

За обедом был еще один гость, выхоленный господин в платье военного покроя, с бледным одутловатым лицом, темными глазами и поредевшими на висках волосами. Он производил впечатление человека, любящего покой, но выбитого из колеи. Герр Пауль представил его как графа Марио Сарелли.

Две висячие лампы с темно-красными абажурами заливали розовым светом стол, в центре которого стояла серебряная корзинка с ирисами.

В наступающих сумерках сад за открытыми окнами представлялся огромным пучком черных листьев. Вокруг ламп порхали ночные бабочки; следившая за ними Грета издавала явственно слышные вздохи облегчения, если им удавалось спастись от огня. Обе сестры были в

белом, и Гарц, сидевший напротив Кристиан, не отрываясь, глядел на нее и удивлялся, почему он не написал ее в этом платье.

Миссис Диси владела искусством хлебосольства; обед, заказанный герром Паулем, был превосходен; слуги бесшумны, словно тени; за столом не прекращался гул разговоров.

Сарелли, сидевший справа от миссис Диси, казалось, ничего не ел, кроме маслин, которые он макал в стакан с хересом. Он молча переводил взгляд черных, серьезных глаз с одного лица на другое и время от времени спрашивал значение непонятных ему английских слов. После разговора о современном Риме поднялся спор, можно ли распознать преступника по выражению лица.

— Для сильной личности, — говорила миссис Диси, проводя рукой по лбу, — преступление проходит бесследно.

— Что вы! Большое преступление... убийство, например... все равно скажется, — запинаясь, сказала довольно густо покрасневшая мисс Нейлор.

— Если бы это было так, — заметил Дони, — то достаточно было бы внимательно присматриваться к окружающим... и не надо никаких сыщиков.

— Я не могу представить себе, чтобы подобные дела не оставляли и следа на человеческом лице! — строго возразила ему мисс Нейлор.

— Есть вещи похуже, чем убийство, — резко сказал Гарц.

— О-о! Par exemple? ¹ — спросил Сарелли.

За столом насторожились.

— Очень хорошо! — воскликнул герр Пауль. — A vot'santé, cher ².

Мисс Нейлор вздрогнула, словно ей за шиворот бросили холодную монетку, а миссис Диси, обернувшись к Гарцу, улыбалась так, как улыбаются, заставив служить домашнюю собачонку.

Только Кристиан, не шевелясь, задумчиво глядела на Гарца.

— Однажды я видел, как судили человека за убий-

¹ О! Напримёр? (франц.)

² За ваше здоровье, милый. (франц.).

ство,— сказал он,— за убийство из мести; я наблюдал за судьей и все время думал: «Уж лучше быть убийцей, чем таким, как ты; в жизни не видел более мерзкого лица; ты червь; ты не преступник только потому, что ты трус».

Объятые чувством неловкости, все замолчали, и в наступившей тишине было отчетливо слышно хмыканье мистера Трефри. Потом Сарелли сказал:

— А что вы скажете об анархистах? Это не люди, это дикие звери! Я б их растерзал!

— Ах, анархисты!—вызывающе ответил Гарц.—Может быть, их и разумно отправлять на виселицу, но есть немало и других, которых не худо было бы повесить тоже.

— Что мы знаем о том, как они прожили жизнь, что испытали? — проговорила Кристиан.

Мисс Нейлор, машинально скатывавшая хлебный шарик, поспешно спрятала его.

— Думаю... им.... всегда дается возможность... раскаяться...

— И как не раскаяться, если вспомнить, что их ждет,— проговорил Дони.

Миссис Дисси сделала веером знак дамам.

— Мы пытаемся объяснить необъяснимое... Не пройти ли нам в сад?

Все встали. Гарц был у самой двери, и Кристиан, проходя мимо, взглянула на него.

Когда он снова сел, у него вдруг появилось ощущение какой-то утраты. Теперь напротив не было девушки в белом. Подняв голову, он встретился взглядом с Сарелли. Итальянец смотрел на него с любопытством.

Герр Пауль стал пересказывать сплетню, которую услышал днем.

— Возмутительный случай!— говорил он.—Никогда бы не подумал, что она способна на такое! Б... вне себя. Да, кажется, вчера у них была ссора.

— Ссоры у них бывали каждый день и с давних пор,— промолвил Дони.

— Но уехать, не говоря ни слова, уехать неизвестно куда!.. Б., без сомнения, *viveur, mais, mon Dieu que voulez-vous?*¹ Она всегда была эдакой бледненькой и невзрач-

¹ Жуир, но, боже мой, чего вы хотите? (франц.).

ной. Да я сам, когда моя...— Он размахивал сигарой.— Я не всегда... был примером... я живой человек... не всем же быть ангелами... *que diable!* Но это вульгарно. Она сбегает, бросает все и... ни слова, а Б. очень любит ее. Такие вещи не делаются!

Его накрахмаленная манишка, казалось, вздулась от негодования. Мистер Треффри, положив тяжелую руку на стол, искоса смотрел на него.

— Б.— скотина,— проговорил Дони.— Мне жаль бедную женщину. Но что она будет делать одна?

— В этом, несомненно, замешан мужчина,— вставил Сарелли.

— Кто знает,— промолвил герр Пауль.

— Что собирается делать Б.? — спросил Дони.

— Он любит ее,— сказал герр Пауль.— Он человек решительный и вернет ее. Он сказал мне: «Я буду следовать за ней, куда бы она ни поехала, пока она не вернется». И он исполнит это, у него твердый характер; он будет следовать за ней, куда бы она ни поехала.

Мистер Треффри одним глотком допил свое вино и сердито обсосал ус.

— Она сделала глупость, выйдя за него замуж,— сказал Дони.— У них не было ничего общего; она ненавидит его всеми фибрами души. И она лучше его. Однако, убегая подобным образом, женщина ничего не выигрывает. И все же Б. лучше поторопиться. А что думаете вы, сэр? — обратился он к мистеру Треффри.

— Что? — сказал мистер Треффри.— Откуда мне знать? Обратитесь к Паулю, он у вас главный моралист, или к графу Сарелли.

— Если б она была мне дорога,— бесстрастно произнес последний,— я скорее всего убил бы ее... а в противном случае...— Он пожал плечами.

Наблюдавшему за ним Гарцу вспомнились его слова за обедом: «Это дикие звери. Я б их растерзал». Гарц с интересом смотрел на этого спокойного человека, который делал столь свирепые заявления, и думал: «Надо бы написать его».

Герр Пауль вертел в руках бокал.

— Существуют семейные узы,— сказал он,— существует общество, существуют приличия: жена должна быть

при муже. Б. поступает правильно. Он должен ехать за ней; быть может, сначала она не вернется; он последует за ней; она станет думать: «Я беспомощна, я смешна!» Женщина не способна долго сопротивляться. Она вернется. Она снова будет с мужем, общество простит, и все будет в порядке.

— Черт возьми, Пауль,— проворчал мистер Треффри,— великолепная способность аргументировать!

— Жена есть жена,— настаивал герр Пауль.— Муж имеет право потребовать, чтобы она была с ним.

— А что вы скажете на это, сэр? — спросил Дони. Мистер Треффри дернул себя за бороду.

— Принуждать женщину жить с мужем, если она не хочет? Это подло.

— Но, дорогой мой,— воскликнул герр Пауль,— что вы в этом понимаете? Вы же не были женаты.

— И слава богу! — ответил мистер Треффри.

— Но вообще-то говоря, сэр,— сказал Дони,— если муж будет позволять жене делать все, что ей заблагорассудится, то что же это получится? Что станет с брачными узами?

— Брачные узы,— проворчал мистер Треффри,— дело великое! Но, доктор, провалиться мне на этом месте, если травля женщины когда-либо помогла укреплению брачных уз!

— Я думаю не о себе,— горячился герр Пауль,— я думаю об обществе! Существуют приличия!

— Порядочное общество еще никогда не требовало от мужчины, чтобы он попирал собственное достоинство. Если я обжегся на женитьбе, которую предпринял на свой страх и риск, то при чем здесь общество? Думаете, я буду скулить и просить у общества помощи? А что касается приличий, то мы бы чертовски выгадали, если бы перестали носиться с ними. Предоставьте это женщинам! Я и гроша ломаного не дам за тех мужчин, которые в подобных обстоятельствах говорят о своих правах.

Сарелли встал.

— Но честь,— сказал он,— ведь есть еще честь!

Мистер Треффри уставился на него.

— Честь! Если преследование женщины и есть ваше представление о чести, то... я его не разделяю.

— Значит, вы простили бы ее, сэр, что бы ни случилось,— сказал Дони.

— Прощение — это другое дело. Этим пусть занимаются ханжи. Но преследовать женщину! К черту, сэр, я не сноб! — И, хлопнув по столу ладонью, он добавил:— Об этом даже говорить противно.

Сарелли развалился на стуле и стал ожесточенно крутить усы. Гарц поглядел туда, где прежде сидела Кристиан, и встал.

«Если бы я был женат!» — вдруг подумал он.

Герр Пауль тарашил глаза, посоловевшие от выпитого, и все бормотал:

— Ну, а долг перед семьей!

Гарц потихоньку вышел в сад. Луна, словно сказочный белый фонарь, горела на лиловом небе; тлели редкие звезды. Воздух был теплый, но вдруг от снежных гор пахнуло холодом. От этого Гарцу захотелось разбежаться и прыгнуть. Сонный жук опрокинулся на спину, Гарц перевернул его и наблюдал, как он побежал по травинкам.

Кто-то играл «Kinderscenen»¹ Шумана. Гарц остановился послушать. Музыка звучала в лад его мыслям, обволакивала; в ночи, казалось, звучали девичьи голоса, а надежды и грезы, порожденные тьмой, возносились к горным вершинам, невидимым, но близким. Между стволами акаций мелькали белые платья. Это прогуливались Грета и Кристиан. Он направился к ним; в лицо бросилась краска, он почувствовал, как его с головой захлестнуло сладостное чувство. И вдруг он в ужасе остановился. Он влюблен! А ведь еще ничего не сделано, еще столько предстоит сделать! Не устоять перед парой красивых глазок! Белые платья уже скрылись из виду. Он не даст себя опутать, он подавит в себе это чувство! Гарц пошел прочь, но с каждым шагом сердце его болезненно сжималось.

За углом дома, в тени стены, стоял, прислонившись к дереву, итальянец Доминик. Он был в расшитых домашних туфлях и курил длинную трубку с вишневым чубуком. Типичный Мефистофель во фраке. Гарц подошел к нему.

¹ Сцены детства (нем.).

— Одолжите мне карандаш, Доминик?

— Bien, m'sieur².

Пристроив визитную карточку на стволе дерева, Гарц написал миссис Диси: «Простите меня, я должен уехать. Через несколько дней рассчитываю вернуться и закончить портрет ваших племянниц».

Он послал Доминика за своей шляпой. Пока слуга ходил, он чуть было не разорвал карточку и не вернулся в дом.

Когда итальянец вернулся, Гарц сунул ему карточку в руку и пошел к тополям, высеребренным лунным светом и похожим на включенных призраков.

VIII

Гарц шагал по дороге прочь от виллы. Была собака. А ему и без этого воя было тоскливо. Он заткнул пальцами уши, но тоскливый звук все равно проникал в них и отдавался болью в сердце. Неужели ничто не может избавить его от этого чувства? В старом доме на дамбе ему не стало легче, и он всю ночь шагал из угла в угол.

Перед самым рассветом он с рюкзаком за плечами уже шел по дороге к Мерану.

Почти миновав Грис, он догнал человека, который шел посередине дороги и оставлял за собой струйку сигарного дыма.

— А! Мой друг,— сказал курильщик,— раненько же вы гуляете. Нам по дороге?

Это был граф Сарелли. Слабый свет придавал его бледному лицу какой-то серый оттенок; уже чернела, пробиваясь сквозь кожу, борода, небритая со вчерашнего дня; большие пальцы были засунуты в карманы наглухо застегнутого сюртука, а остальными он жестикулировал.

— Путешествуете? — сказал он, кивнув на рюкзак.— Вы рано вышли, а я поздно возвращаюсь; у нашего друга превосходный кюммель... я слишком много выпил. Кажется, вы еще не ложились? Если сон бежит от кого-нибудь, стоит ли отправляться на его поиски? Согласны? Лучше пить кюммель! Простите! Вы поступаете

² Извольте, сударь (франц.).

правильно: вы бежите! Бегите прочь как можно быстрее! Не ждите, не давайте этому захватить себя!

Гарц с изумлением смотрел на него.

— Простите,— повторил Сарелли, приподнимая шляпу.— Эта девушка... девушка в белом... я видел. Правильно делаете, что бежите прочь! — Он нетвердо держался на ногах.— Тот старикашка... Как его зовут... Тррреффри! Что за понятие о чести! — бормотал он.— Честь — понятие абстрактное! Кто не верен абстракции, тот низок. Погодите минутку!

Он прижал руку к боку, словно от боли.

Изгороди чуть-чуть порозовели; на длинной пустынной дороге, кроме их собственных шагов, не было слышно ни звука; вдруг защебетала птица, другая отозвалась — мир, казалось, наполнился тоненькими голосками.

Сарелли остановился.

— Эта девушка в белом... — быстро проговорил он.— Да! Вы поступаете правильно! Прочь! Не поддавайтесь! Я замешкался и попался... а что получилось? Все пошло прахом... а теперь... кюммель!

Он хрипло захохотал, подкрутил ус и покачнулся.

— Я был молодец хоть куда... все было по плечу Марио Сарелли; всему полку был примером. А потом появилась она... хорошенькие глазки и белое платье, всегда в белом платье, как ваша, родинка на подбородке, ручки быстрые, а прикоснется... теплые, как солнечные лучики. И не стало прежнего Сарелли! Маленький домик у крепостного вала! Ручки, глазки, а здесь у нее ничего,— он похлопал себя по груди,— кроме пламени, от которого очень скоро остался только пепел... вот такой!.. — Он стряхнул белесый пепел с конца сигары.— Забавно! Вы согласны, hein? Когда-нибудь я вернусь и убью ее. А пока... кюммель!

Он остановился возле дома, стоявшего у самой дороги, и осклабился.

— Я уже надоел вам,— сказал он. Сигара его ударилась о землю у ног Гарца, выбросив сноп искр.— Я живу здесь... всего хорошего! Вы любите работать... ваша честь — это ваше искусство! Я понимаю. И потом вы молоды! Человек, которому плоть дороже чести, ни-

вок... я и есть низкий человек. Я, Марио Сарелли, низкий человек! Плоть мне дороже чести!

Он покачивался у калитки, с ухмылкой на лице; потом, спотыкаясь, поднялся на крыльцо и захлопнул за собой дверь. Но не успел Гарц сойти с места, как он вновь появился на пороге и поманил его рукой. Гарц невольно шагнул к нему и вошел в дом.

— Будем кутить до утра,— сказал Сарелли.— Вино, коньяк, кюммель? Я добродетелен... Пью только кюммель!

Он сел за пианино и стал что-то наигрывать, Гарц налил себе вина. Сарелли кивнул.

— С этого начинаете? *Allegro-piu-presto!*¹ Вино-коньяк-кюммель! — Он стал наигрывать быстрее.— Это не слишком долгий пассаж, а потом...— Он снял руки с клавиш,—... приходит это.

Гарц улыбнулся.

— Не все кончают самоубийством,— сказал он.

Сарелли, раскачиваясь во все стороны, заиграл тарантеллу, но вдруг оборвал и, глядя во все глаза на художника, стал играть «*Kinderscenen*» Шумана. Гарц вскочил.

— Довольно! — закричал он.

— Пробирает? — учтиво спросил Сарелли.— А что вы скажете об этом?

Он снова склонился над пианино и стал извлекать из него звуки, подобные стонам раненого животного.

— А это для себя! — сказал он и, повернувшись на табурете, встал.

— За ваше здоровье! Итак, вы верите не в самоубийство, а в убийство? Но так не принято. Вы, наверно, презираете то, что принято? Это светские условности, а?—Он выпил стакан кюммеля.— Вы не любите общества?

Гарц пристально смотрел на него, ему не хотелось ссоры.

— Я не в восторге от чужих мыслей,— сказал он наконец.— Предпочитаю думать сам.

— Выходит, общество никогда не бывает правым? Бедное общество!

¹ Быстро-быстрее-еще быстрее! (итал.).

— Общество! Что такое общество? Несколько человек в хороших костюмах? Что оно сделало для меня?

Сарелли откусил кончик сигары.

— Ага! — сказал он. — Теперь мы попали в точку. Хорошо быть художником, свободным художником; у людей дисциплина, а для него, как говорится, закон не писан.

Художник вскочил на ноги.

— Да, — сказал Сарелли и икнул, — хорош!

— Вы пьяны! — выкрикнул Гарц.

— Немного пьян... но не настолько, чтобы об этом стоило говорить.

Гарц рассмеялся. Ну не безумие ли оставаться здесь и слушать этого сумасшедшего? И зачем только он зашел? Гарц направился к двери.

— Вот как! — сказал Сарелли. — Все равно не успеете... давайте лучше поговорим. Мне надо многое сказать... иногда приятно поговорить с анархистами.

Сквозь щели в ставнях было видно, что на улице уже совсем рассвело.

— Все вы анархисты, вы, художники, писаки. Факты для вас игрушки, вы живете этим. Игра воображения... никакой основательности... Вам только новенькое подавай... нервы пощекотать. Никакой дисциплины! Все вы настоящие анархисты!

Гарц налил себе еще вина и выпил. Лихорадочное возбуждение этого человека было заразительным.

— Только дураки, — ответил он, — принимают все на веру. А что касается дисциплины, то что вы, аристократы или буржуа, знаете о дисциплине? Вы когда-нибудь голодали? Вашу душу когда-нибудь клали на обе лопатки?

— Душу на обе лопатки? Неплохо сказано!

— Не будет толку из человека, — горячился Гарц, — если он живет чужими мыслями. Надо самому научиться думать!

— И не прислушиваться к тому, что говорят другие люди?

— Если и прислушиваться, то во всяком случае не из трусости.

Сарелли выпил.

— Что бы вы сделали,— сказал он, ударив себя в грудь,— если бы у вас тут сидел черт? Пошли бы спать?

Что-то вроде чувства жалости охватило Гарца. Ему захотелось как-то утешить Сарелли, но он не мог найти слов и вдруг возмутился. Что может быть общего между ним и этим человеком, между его любовью и любовью этого человека?

— Гарц!—бормотал Сарелли.—Гарц в переводе значит «деготь», hein? Ваш род не из древних?

Гарц свирепо посмотрел на него и сказал:

— Мой отец — крестьянин.

Сарелли взял бутылку и твердой рукой вылил в стакан остатки кюммеля.

— Вы честный человек... и у нас обоих в груди сидит по черту. Да, я забыл... я привел вас сюда показать картину.

Он распахнул ставни, окна уже были раскрыты, и в комнату ворвался свежий воздух.

— Ага!—сказал он, раздувая ноздри.—Пахнет землей, nicht wahr, hein Artist? ¹ Уж вы-то разбираетесь... это стихия вашего отца... Подите сюда, вот моя картина. Корреджо! Что вы о ней скажете?

— Это копия.

— Вы думаете?

— Я знаю.

— В таком случае, вы лжете, сеньор.

И, достав платок, Сарелли щелкнул им по лицу художника. Гарц стал белым, как мел.

— Дуэль — это хороший обычай! — сказал Сарелли.— Я буду иметь честь познакомиться вас с ним, если вы не испугаетесь. Здесь пистолеты... по диагонали в этой комнате, по крайней мере, двадцать футов. Двадцать футов — дистанция неплохая.

Он открыл ящик стола, извлек из футляра два пистолета и положил их на стол.

— Освещение хорошее... но, быть может, вы боитесь?

— Дайте мне пистолет! — крикнул взбешенный художник.— И я отправлю вас, дурака, на тот свет!

— Сию минуту! — бормотал Сарелли.— Я заряжу их, от заряженных больше толку.

¹ Не правда ли, господин художник? (нем.)

Гарц высунулся из окна; голова кружилась. «Что же, черт возьми, происходит? — думал он. — Он сумасшедший... да и я тоже! Будь он проклят! Я не собираюсь рисковать жизнью!» Он повернулся и направился к столу. Там, положив голову на руки, спал Сарелли. Гарц осторожно взял пистолеты и положил их обратно в ящик. Какой-то звук заставил его обернуться; позади стояла высокая крепкая молодая женщина в просторном платье, скрепленном на груди. Она перевела взгляд серых глаз с художника на бутылки, а потом на футляр с пистолетами. Ее нехитрая логика рассмешила Гарца.

— Так часто случается, — сказала она на местном наречии, — вам нечего бояться.

Подняв неподвижного Сарелли, словно ребенка, она уложила его на кушетку.

— Он не проснется, — сказала она, села и облокотилась на стол.

Гарц поклонился ей; было что-то трогательное в ее позе — воплощенное терпение, несмотря на молодость и силу. Взяв рюкзак, он вышел.

Над крышами хижин вились дымки; по долине плавали клочья тумана, радостно заливались птицы. Всюду в траве пауки пряли великое множество нитей, которые изгибались и дрожали от ветерка, словно оснастка волшебного кораблика.

Весь день он бродил.

Кузнецы, высокие, дородные люди с узловатыми мускулами, сонными глазами и длинными белокурыми бородами, выходили из своих кузниц, чтобы размяться и отереть лбы, и внимательно разглядывали его.

Белые волы были еще без ярем и хлестали хвостами себя по бокам, мотая от жары головами. Старушки на крылечках маленьких шале вязали, щурясь на солнце.

Белые дома с зияющими пещерами чердаков, красный шпиль церкви, звон молотов в кузницах, медленная поступь волов — все говорило о том, что здесь работали не спеша, не ради идеи, не из честолюбия. Гарцу все это было близким и родным; как и запах земли, это, по словам Сарелли, была его стихия.

На закате он подошел к роще лиственниц и присел

отдохнуть. Было очень тихо, только звенели колокольчики на шеях у коров и где-то вдалеке валяли лес.

Из лесу вышли два босоногих мальчугана и с серьезными физиономиями прошагали мимо, поглядывая на Гарца, как на чудище. Миновав его, они тотчас бросились бежать.

«В их годы,—подумал он,—я сделал бы то же самое». Нахлынули воспоминания.

Он посмотрел на деревню, раскинувшуюся внизу: белые дома, крытые красноватой черепицей, с шапками дыма над ними, виноградники, в которых уже начали распускаться молодые листочки, красный шпиль, лента бурлящего потока, старинный каменный крест. Четырнадцать лет он выбирался из всего этого, и теперь, когда у него появилась возможность свободно дышать и посвящать все свое время любимой работе, на него свалилась эта слабость. Лучше, в тысячу раз лучше отказаться от нее!

В нескольких домах зажглись огоньки, потянуло дымком, донесся далекий колокольный звон и шум потока.

IX

На следующий день он проснулся с одной мыслью — вернуться домой и приняться за работу. Он добрался до мастерской за полдень, пополнил свои припасы и забаррикадировал нижнюю дверь. Он не выходил на улицу три дня, а на четвертый отправился на виллу Рубейн...

Замок Рункельштейн — серый, слепой, бессильный. — все еще царит над долиной. Бойницы, которые некогда, словно глаза, настороженно следили за всадниками, пробивавшими себе путь в снегу, и не робели перед пушечными ядрами и заревом факелов, ныне служат пристанищем для птиц, которые вьют здесь гнезда. Стены заросли плющом до самого верха. В главной башне вместо суровых, закованных в латы воинов теперь находится деревянный щит, на котором изложена история замка и запечатлены рекомендации, где перекусить. Только ночью, когда холодный свет луны зальет все вокруг серебром, замок стоит высоко над рекой, как мрачная тень своего славного прошлого.

После продолжительного утреннего сеанса сестры вместе с Гарцем и Дони отправились осматривать развалины. Мисс Нейлор, из-за головной боли оставшаяся дома, заботливо напутствовала их, предостерегая от солнечного удара, жгучей крапивы и незнакомых собак.

С тех пор как художник вернулся, он и Кристиан почти не разговаривали. Под парпетом, где они сидели, был пристроен балкон с перилами, уставленный небольшими столиками. Дони и Грета играли там в домино, два солдата пили пиво, а на верхней ступеньке лестницы сидела жена сторожа и чинила одежду.

— Я думала, мы друзья,— вдруг сказала Кристиан.

— А разве это не так, фрейлейн Кристиан?

— Вы исчезли, не сказав ни слова; друзья так не поступают.

Гарц кусал губы.

— Вам, по-видимому, все равно,— продолжала она с какой-то отчаянной поспешностью,— причиняете вы людям боль или нет. За все время, что вы здесь, вы даже ни разу не навестили своих родителей.

— Вы думаете, им хочется видеть меня?

Кристиан взглянула на него.

— Жизнь у вас текла так безмятежно,— сказал он с горечью,— что вы ничего не можете понять.

Он отвернулся и потом горячо заговорил:

— Я горжусь тем, что вышел из крестьянской семьи... и сам не хотел бы иной судьбы; но они «простолюдины», они ограниченные люди... они понимают только то, что могут увидеть и пощупать!

— Простите,— тихо сказала Кристиан,— вы ведь никогда мне не рассказывали о себе.

Художник бросил на нее злой взгляд, но, видно, почувствовав угрызения совести, тотчас сказал:

— Я никогда не любил крестьянской жизни... мне хотелось выбраться в большой мир; у меня было такое чувство... я хотел.... не знаю, чего я хотел! И в конце концов я сбежал к маляру в Меран. Наш священник по просьбе моего отца написал мне письмо... родители отказались от меня; вот и все.

Глаза Кристиан блестели, губы шевелились, словно у ребенка, слушающего сказку.

— Говорите,— попросила она.

— Я пробыл в Мера́не два года, пока не научился всему, чему можно было научиться там, а потом мой дядя — брат матери — помог мне уехать в Вену. Мне повезло попасть в подручные к человеку, который расписывал церкви. Мы с ним объездили всю страну. Однажды он заболел, и я сам расписал весь купол церкви. Всю неделю я целыми днями лежал на спине на досках лесов и писал... Я очень гордился своей работой.

Гарц умолк.

— А когда вы начали писать картины?

— Один мой друг спросил меня, почему бы мне не попытаться поступить в академию. И я стал посещать вечерние курсы; я рисовал каждую свободную минуту; мне, конечно, приходилось еще зарабатывать на жизнь, и потому я рисовал по ночам. Потом, когда пришло время сдавать экзамены, мне показалось, что я ничего не умею... У меня было такое чувство, словно я никогда не брал в руки ни кисти, ни карандаша. Но на второй день профессор, проходя мимо, сказал мне: «Хорошо! Очень хорошо!» Это подбодрило меня. Но все-таки я был уверен, что провалился. Однако я оказался вторым из шестидесяти.

Кристиан кивнула.

— Чтобы учиться в академии, мне, конечно, пришлось бросить работу. Там был всего один профессор, который меня еще кое-чему научил, все остальные казались попросту дураками. А этот человек, бывало, подойдет и сотрет рукавом все, что ты написал. Сколько раз я плакал от ярости... а все равно сказал ему, что могу учиться только у него. Он был так удивлен, что записал меня в свой класс.

— Но как же вы жили без денег? — спросила Кристиан.

Лицо Гарца залилось густым, темным румянцем.

— Сам не понимаю, как я жил; а уж тому, кто не прошел через все это, никогда не понять.

— Но я хочу понять. Расскажите, пожалуйста.

— Ну что вам рассказать? Как я дважды в неделю питался бесплатными обедами? Как получал подачки? Как голодал? У моей матери был богатый родственник в Вене... я обычно ходил к нему. И делал это скрепя сердце. Но когда есть нечего, а на дворе зима...

Кристиан протянула ему руку.

— Бывало, я занимал немного угля у таких же бедняков-студентов, каким был сам, но я никогда не обращался к богатым студентам.

Румянец уже сошел с лица Гарца.

— От такого легко возненавидеть весь мир! Работашь до потери сознания, мерзнешь, голодаешь, видишь, как богачи, закутанные в меха, разъезжают в своих экипажах... а сам все время мечтаешь создать что-то большое... Молишь о счастливом случае, о малейшей возможности выбиться, но счастливые случайности не для бедняков! И от этого ненавидишь весь мир!

Глаза Кристиан наполнились слезами. Гарц продолжал:

— Но в таком положении был не я один. Мы частенько собирались вместе. Гарин, русский с реденькой каштановой бородкой и желтыми зубами... у него был вечно голодный вид. Пауниц, входивший в нашу группу как сочувствующий. У него были жирные щеки и маленькие глазки, а по животу пущена толстая золотая цепочка... свинья! Маленький Мизек. В его-то комнате мы и встречались. На стенах драные обои, в дверях щели, вечный сквозняк. Бывало, сидим на его кровати, завернувшись для тепла в грязные одеяла, и курим... последний грош мы тратили не на еду, а на табак. У кровати стояла статуэтка девы Марии с младенцем... Мизек был католик и очень набожный; но однажды, когда ему нечего было есть, а торговец присвоил его картину, не дав ему за нее ни гроша, он схватил статуэтку, бросил на пол и топтал ногами осколки. Бывал там еще Лендорф, неповоротливый великан, который всегда надувал бледные щеки, бил себя в грудь и говорил: «Проклятое общество!» И Шёнборн, аристократ, порвавший с родными. Из нас он был самый бедный; только он да я еще отважились бы на что-нибудь... все это знали!

Кристиан слушала с благоговейным страхом.

— Значит...— проговорила она.— Значит, вы?..

— Вот видите! Вы уже боитесь меня. Даже вы не можете понять. Это только пугает вас. Голодного человека, живущего на подачки, измученного гневом и стыдом, даже вы считаете диким зверем!

Кристиан посмотрела ему прямо в глаза.

— Это неправда. Если я и не понимаю, то чувствую. Но были бы вы таким же теперь, если бы все это вернулось снова?

— Да, я и теперь прихожу в бешенство, когда думаю о раскормленных, благоденствующих людях, презрительно фыркающих и всплескивающих руками при виде бедняг, которые вынесли в десятки раз больше, чем сможет вынести большинство из этих животных с изящными манерами... Я стал старше, приобрел жизненный опыт... я знаю, что положения насилием не исправишь... ничем его не исправишь, но это никак не отразилось на моей ненависти.

— И вы отважились на что-нибудь? Вы сейчас же мне все расскажете.

— Мы разговаривали... были одни разговоры.

— Нет, расскажите мне все!

Сама того не сознавая, она требовала, а он, казалось, не сознавал, что признает за ней это право.

— И рассказывать-то нечего. Однажды мы вдруг стали говорить вполголоса... это Гарин начал, он был замешан в каком-то деле в России. Мы принесли клятву и после этого уже никогда не говорили громко. Выработали план. Все это было для меня внове и не по душе мне, но брать подачки омерзело, я вечно был голоден и пошел бы на все. Остальные знали это; они поглядывали на меня и Шёнборна. Мы знали, что больше ни у кого не хватит смелости. Мы с ним были большие друзья, но никогда не говорили о том, что нам предстоит. Мы старались не думать об этом. Если выпадал хороший день и мы не были очень голодны, то наши планы казались нам противоестественными, но когда дела были плохи, все казалось в порядке вещей. Я не боялся, но часто просыпался по ночам; мне была противна клятва, которую мы дали, мне были противны мои товарищи; эго дело было не для меня, душа у меня к нему не лежала, мне его навязали... я ненавидел его, временами я был как сумасшедший.

— Говорите,— пробормотала Кристиан.

— Все это время я занимался в академии и учился всему, чему мог... Однажды вечером, когда мы собрались, Пауница с нами не оказалось. Мизек рассказывал нам о приготовлениях к делу. Мы с Шёнборном перегля-

дывались... было тепло... по-видимому, мы не были голодны... к тому же на дворе стояла весна, а весной все воспринимается по-другому. Есть что-то...

Кристиан кивнула.

— Во время нашего разговора раздался стук в дверь. Лендорф посмотрел в замочную скважину и сделал знак рукой. Это была полиция. Никто не произнес ни слова, а Мизек полез под кровать. Мы все за ним... В дверь стучали все сильнее и сильнее. В стене под кроватью была маленькая дверца, которая вела в пустой подвал. Мы полезли туда. В углу, за ящиками, находился люк, в который опускали бочки. Через него мы выбрались в переулок и разошлись.

Он замолчал, и у Кристиан вырвался прерывистый вздох.

— Я хотел было зайти домой и взять деньги, но у двери стоял полицейский. Полиция все предусмотрела. Нас предал Пауниц; попадись он мне даже сейчас, я бы свернул ему шею. Я твердо решил не даваться в руки полиции, а сам и понятия не имел, куда бежать. Потом я вспомнил об одном маленьком итальянце парикмахере, который обычно брил меня, когда у меня бывали деньги на бритье. Я знал, что он мне поможет. Он принадлежал к какому-то итальянскому тайному обществу и частенько просвещал меня, шепотом, конечно. Я пошел к нему. Он брился, собираясь в гости. Я рассказал ему, что произошло; смешно было видеть, как он бросился к двери и подпер ее спиной. Он очень испугался, так как разбирался в делах такого рода лучше меня... мне-то было тогда всего двадцать лет. Он обрил мне голову, сбрил усы и надел на меня белокурый парик. Потом принес макароны и немного мяса. Он дал мне кепку, за подкладку которой запрятал большие белокурые усы, а потом принес собственный плащ и четыре гульдена. Все это время он испуганно прислушивался и повторял: «Ешь!» Когда я поел, он только сказал: «Уходи, больше я тебя и знать не хочу». Я поблагодарил его и ушел. Я бродил всю ночь, так как не мог придумать, как быть, куда отправиться. Под утро я уснул на скамейке в одном сквере. Потом решил пойти в картинную галерею, где провел целый день, разглядывая картины. К тому времени, когда галерея закрылась, я очень устал и отправился в

кафе, чтобы выпить пива. Выйдя из кафе, я уселся на ту же скамейку в сквере. Я хотел дождаться темноты, а потом выйти из города и сесть на поезд на какой-нибудь маленькой станции, но тут же задремал. Меня разбудил полицейский. В руках у него был мой парик. «Почему вы носите парик?» — спросил он. «Потому что я лыс», — ответил я. «Нет, — сказал он, — вы не лысый, а бритый. Можно нащупать, как колются волосы». Он провел пальцем по моему темени. Я понял, что отпираться бесполезно, и рассмеялся. «Ах, так! — сказал он. — Вы пойдете со мной и объясните все; эти глаза и нос кажутся мне подозрительными». И я покорно пошел с ним в полицейский участок...

Гарц, по-видимому, сам увлекся рассказом. По богатой мимике его подвижного смуглого лица, по выражению серых глаз можно было подумать, что он вновь переживает давние события своей жизни.

Солнце припекало; Кристиан подобрала ноги и обхватила руками колени.

Х

— Мне уже было все равно, чем это кончится. Я даже не придумал, что говорить. Полицейский провел меня по коридору в комнату, где стояли длинные скамьи, на стенах висели карты, а окна были забраны решетками. Мы сели и стали ждать. Он не спускал с меня глаз, и я уже ни на что не надеялся. Вскоре пришел инспектор. «Введите его», — приказал он. Помнится, я готов был убить его за то, что он распоряжается мною! Мы прошли в соседнюю комнату. Там висели большие часы, стоял письменный стол, а окно без решетки выходило во двор. На вешалке висели длинные полицейские шинели и фуражки. Инспектор велел мне снять кепку. Я снял ее вместе с париком и прочим. Он спросил меня, кто я такой, но я отказался отвечать. Тут послышались громкие голоса из комнаты, в которой мы только что были. Инспектор велел полицейскому постеречь меня, а сам вышел посмотреть, что случилось. Слышно было, как инспектор разговаривал в другой комнате. Потом он позвал: «Беккер, подите сюда!» Я не шевелился, и Беккер тоже вышел. Я услышал, как инспектор сказал: «Пойдите найдите Шварца. А за этим субъектом присмотрю я сам». По-

лицейский ушел, а инспектор, стоя спиной ко мне в полуоткрытой двери, снова стал разговаривать с человеком, находившимся в другой комнате. Несколько раз он оглядывался, но я не шевельнулся. Они начали спорить, и голоса у них стали злыми. Инспектор понемногу отходил от двери. «Пора!» — подумал я и скинул с себя плащ. Потом я схватил полицейскую шинель и фуражку и надел их на себя. Сердце колотилось так, что мне чуть не стало дурно. Я пошел на цыпочках к окну. Снаружи никого не было, только у ворот какой-то человек держал под уздцы лошадей. Затаив дыхание, я потихоньку открыл окно. Донесся голос инспектора: «Я доложу о том, что вы не подчиняетесь приказу!» Я выскользнул в окно. Шинель почти доходила мне до пят, а фуражка сползала на глаза. Проходя мимо человека с лошадьми, я сказал: «Добрый вечер». Одна из лошадей стала брыкаться, и он только что-то буркнул в ответ. Я вскочил в проходивший трамвай; до вокзала Вест Бангоф было всего пять минут езды, и я вышел там. Как раз отходил поезд, я услышал крик: «Einsteigen!»¹ — и побежал. Контролер пытался остановить меня. Я закричал: «У меня дело... важное!» — он меня пропустил. Я вскочил в вагон. Поезд пошел.

Гарц замолчал, а Кристиан перевела дух.

Теребя веточку плюща, Гарц продолжал:

— В купе сидел какой-то человек и читал газету. Немного погодя я спросил его: «Где у нас первая остановка?». «В Санкт-Пёлтене». Теперь я знал, что попал на мюнхенский экспресс. Прежде чем пересечь границу, он сделает четыре остановки: в Санкт-Пёлтене, Амштеттене, Линце и Зальцбурге. Человек отложил газету и взглянул на меня; у него были большие белокурые усы и довольно потертая одежда. Его взгляд встревожил меня, я думал, что он вот-вот скажет: «Вы не полицейский!» И вдруг мне в голову пришло, что если меня будут искать в этом поезде, то будут искать как полицейского! На вокзале, конечно, скажут, что перед самым отходом в поезд сел полицейский. Надо избавиться от шинели и фуражки, но в купе человек, а я не хотел выходить, чтобы не привлекать внимание других. Так я и

¹ По вагонам! (нем.)

сидел. Наконец мы прибыли в Санкт-Пёлтен. Мой сосед взял саквояж и вышел, оставив газету на сиденье. Поезд тронулся. Наконец я вздохнул свободно и как можно быстрее снял шинель и фуражку и вышвырнул их во мрак за окном. Я думал: «Теперь я буду за границей». Я достал кепку и вынул усы, которые мне дал Луиджи. Вычистив, как можно, одежду, я прилепил усы; мелкими, которые лежали у меня в кармане, осветлил брови и начертил несколько морщин на лице, чтобы казаться старше, а поверх парика натянул свою кепку. Это получилось у меня довольно удачно — я стал похож на человека, который только что вышел из вагона. Я сел в угол, спрятался за газету и ждал Амштеттена. Прошло, казалось, невероятно много времени, прежде чем поезд остановился. Выглядывая из-за газеты, я увидел на платформе пять или шесть полицейских. Один из них оказался возле моего купе. Он открыл дверь, взглянул на меня и прошел через купе в коридор. Я достал табак и скрутил папиросу, но она дрожала во рту. — Гарц поднял веточку плюща. — Вот так. Через минуту вошел кондуктор с двумя полицейскими. «Он сидел здесь, — сказал кондуктор, — с этим господином». Один из полицейских посмотрел на меня и спросил: «Был тут с вами полицейский?». «Да», — сказал я. «А где он?». «Сошел в Санкт-Пёлтене». Полицейский спросил кондуктора: «Вы видели, как он сходил там?». Кондуктор покачал головой. Я сказал: «Он соскочил на ходу». «Вот как! — сказал полицейский. — А как он выглядел?» «Невысокий и без усов. А что случилось?». «Вы не заметили ничего особенного?». «Нет, — ответил я. — Вот только что у него были неформенные брюки. А в чем дело?» Один из полицейских сказал другому: «Это он! Пошлите телеграмму в Санкт-Пёлтен; уже прошло больше часа с тех пор, как он сошел с поезда». Он спросил меня, куда я еду. «В Линц», — ответил я. «Вам придется дать свидетельские показания, — сказал он. — Пожалуйста, скажите вашу фамилию и адрес». «Йозеф Рейнгард, Донау-штрассе, 17». Он записал. Кондуктор сказал: «Мы опаздываем, разрешите дать отправление?»

Они вышли и захлопнули за собой дверь. Я слышал, как полицейские говорили кондуктору: «Осмотрите все еще раз в Линце и доложите местному инспектору». Они

поспешили на платформу, и поезд тронулся. Сначала я думал, что выскочу, как только поезд отойдет от станции. Но потом сообразил, что отсюда слишком далеко до границы; лучше подождать Линца и попытать счастья там. Я сидел, не шевелясь, и старался не думать. Прошло много времени, прежде чем поезд сбавил ход. Я высунул голову в окно и увидел вдалеке огоньки. Я открыл дверь купе и ждал, когда поезд пойдет еще тише; я не собирался сойти в Линце и попасть в мышеловку. Медлить было нельзя; я распахнул дверь, прыгнул, упал в какие-то кусты и на мгновение потерял сознание. Я сильно ушибся, но кости все были целы. Едва оправившись, я выполз из кустов. Было очень темно. Я чувствовал себя плохо, голова гудела. Некоторое время я ковылял между какими-то деревьями, но вскоре выбрался на открытое место. С одной стороны были видны контуры города, вычерченные зажженными фонарями, с другой — какая-то темная масса, которую я принял за лес; вдали тянулась тоненькая цепочка огоньков. «Это, по-видимому, фонари на мосту», — подумал я. Но тут же выглянула луна, и я увидел, как внизу блестит река. Было холодно и сыро, и я зашагал быстрее. Наконец я вышел на дорогу, ведущую мимо домов, мимо лающих собак, вниз, к реке. Там я сел, привалился к стенке сарая и уснул. Проснулся я от холода. Стало еще темней, чем прежде; луна спряталась. Река была еле видна. Я заковылял, чтобы еще до рассвета пройти через город. Дома и сараи казались черными пятнами, пахло рекой, прелым сеном, яблоками, дегтем, илом, рыбой; кое-где на причалах горели фонари. Я ковылял через бочки, бунты канатов, ящики; я понимал, что мне не уйти незамеченным — на той стороне уже занимался рассвет. Из дома напротив вышли несколько человек. Я нагнулся и присел на корточки за какими-то бочками. Люди прошли по причалу и, казалось, исчезли в реке. Я услышал, как один из них произнес: «К ночи будем в Пассау». Встав, я увидел, что они ходят по борту пароходика, который с несколькими баржами на буксире стоял носом против течения. На пароход вели сходни, освещенные фонарем. Слышно было, как под палубой разводят пары. Я взбежал по сходням и стал пробираться на корму. Я решил добраться до Пассау. Буксирный канат

был туго натянут, и я знал, что если попаду на баржу, то буду в безопасности. Я вцепился в канат и стал перебираться по нему. Положение было отчаянное; светало, и на палубе парохода вот-вот должны были появиться люди. Несколько раз я чуть не свалился в воду, но до баржи все-таки добрался. Она была гружена соломой. На барже никого не было. Мне хотелось есть и пить — я обшарил все вокруг, но ничего, кроме золы от костра и чьей-то куртки, не нашел. Я заполз в солому. Вскоре лодка развезла людей — по одному на каждую баржу, и я услышал шипение пара. Как только мы тронулись, я заснул. Когда я проснулся, мы ползли в густом тумане. Я немного отгреб солому и увидел лодочника. Он сидел у костра, разведенного на корме, чтобы искры и дым сдувало в сторону реки. Он что-то жадно ел и пил, пуская в ход обе руки, и в тумане это выглядело довольно странно — словно большая птица хлопала крыльями. Донесся крепкий аромат кофе, и я чихнул. Как он вздрогнул! Но потом взял вилы и стал тыкать в солому. Я встал. На лице этого огромного смуглого детины с большой черной бородой было написано такое удивление, что я не мог не рассмеяться. Я показал пальцем на костер и сказал: «Дай мне поесть, братец!» Он вытащил меня из соломы; я так окоченел, что не мог двигаться. И вот я уже сидел у костра, ел черный хлеб с репой и пил кофе, а он стоял рядом и, поглядывая на меня, что-то бормотал. Я плохо понимал его, он говорил на каком-то венгерском диалекте. Он расспрашивал меня, как я попал сюда, кто я и откуда. Я смотрел на него снизу вверх, а он, посасывая трубку, глядел на меня сверху вниз. Человек он был добрый, жил на реке одиноко, а я устал от лжи и поэтому рассказал ему всю правду. Выслушав меня, он только буркнул что-то. Как сейчас вижу: он стоит надо мной, в бороде застряли клочья тумана, большие руки обнажены. Он зачерпнул мне воды, я умылся, показал ему парик и усы и вышвырнул их за борт. Целый день стоял туман, мы лежали ногами к костру и курили; время от времени он сплевывал на угли и что-то бормотал себе в бороду. Никогда не забуду этого дня. Пароход был похож на огнедышащее чудовище, а баржи, на которых горели костры, на безмолвные глазастые существа. Берега

мы не видели, но временами из тумана выглядывал то утес, то высокие деревья, то замок... Если бы только у меня были краски и холст в тот день! — Гарц вздохнул.

— Была ранняя весна, и вода в реке стояла высоко; караван шел в Регенсбург, чтобы разгрузиться там, взять новый груз и вернуться в Линц. Как только туман стал рассеиваться, лодочник запрягал меня в солому. Пассау стоит на границе; мы остановились там на ночь, но ничего не случилось, и я благополучно спал в соломе. На следующий день я уже лежал на палубе. Туман окончательно рассеялся, но теперь я был свободен. Солнце золотом сверкало на соломе и зеленой мешковине; вода приплясывала; а я смеялся — я смеялся, не переставая, и лодочник смеялся вместе со мной. Славный был он человек! В Регенсбурге я помогал им разгружаться; мы работали больше недели; они прозвали меня «лысым», и когда все было кончено, я отдал все деньги, заработанные на разгрузке, великану с баржи. На прощание мы расцеловались. Из четырех гульденов Луиджи у меня еще сохранились три. Я отыскал маляра, и он дал мне работу. Я пробыл там полгода, чтобы скопить денег; потом я написал в Вену родственнику матери и сообщил ему, что собираюсь в Лондон. Он прислал мне рекомендательные письма к своим тамошним друзьям. Я отправился в Гамбург, а оттуда на грузовом пароходе в Лондон и до сего времени сюда не возвращался.

XI

После минутного молчания Кристиан сказала испуганно:

— Значит, вас могут арестовать!

Гарц засмеялся.

— Если узнают; но это было семь лет тому назад.

— Почему же вы приехали сюда, раз это опасно?

— Я переутомился, потом я семь лет не был на родине, и мне, несмотря на запрет, захотелось повидать ее. Теперь я готов вернуться.

Лицо его стало хмурым.

— А в Лондоне вам тоже плохо жилось?

— Еще хуже, сначала... я не знал языка. В моей профессии, чтобы получить признание, надо много ра-

ботать, и прокормить себя трудно. Слишком много людей заинтересовано в том, чтобы не давать тебе выдвигаться... Я им попомню это.

— Но не все же такие?

— Нет, есть и хорошие люди. Их я тоже не забуду. Теперь мои картины находят покупателей; теперь я уже не беспомощен, и, уверяю вас, я ничего не забуду. Если я буду в силе — а я буду в силе, — я все припомню.

По стене простучал град мелких камешков. Внизу стоял Дони и посмеивался.

— Вы, кажется, решили просидеть тут до утра? — спросил он. — Мы с Гретой уже надоели друг другу.

— Мы идем, — поспешно сказала Кристиан.

На обратном пути Гарц и Кристиан молчали, но у виллы он взял Кристиан за руку и сказал:

— Фрейлейн Кристиан, дописывать ваш портрет я не могу. После этого я к нему больше не притронусь.

Она ничего не ответила, но они смотрели друг на друга, и оба, казалось, спрашивали, умоляли, и более того... Потом она опустила глаза. Он выпустил ее руку, сказал «до свидания» и побежал догонять Дони.

В коридоре сестрам повстречался Доминик, который нес вазу с фруктами, и сообщил им, что мисс Нейлор пошла спать, что герр Пауль не вернется домой к обеду, что его хозяин обедает у себя в комнате и что миссис Дисси и барышням обед будет подан через четверть часа.

— А какая сегодня вкусная рыба! Маленькие форельки! Попробуйте их, *signorina*!

Он ступал быстро и мягко, как кот, фалды его фрака хлопали, мелькали пятки белых носков.

Кристиан взбежала вверх. Она металась по комнате, чувствуя, что стоит ей остановиться, как ее одолеют тяжелые, мучительные мысли. Только суета помогала отгонять их прочь. Она умылась, сменила платье и туфли и сбежала по лестнице в дядюшкину комнату. Мистер Трефри только что покончил с обедом, отодвинул маленький столик и с очками на носу сидел в кресле, читая «Таймс». Кристиан прикоснулась губами к его лбу.

— Рад видеть тебя, Крис. Твой отчим отправился к кому-то на обед, а твоя тетка просто невыносима, когда на нее нападает болтливость... Так и сыплет вздор, говоря между нами, Крис, а?

Глаза его поблескивали.

Кристиан улыбнулась. Она не находила себе места от какого-то странного радостного возбуждения.

— Картина закончена? — неожиданно спросил мистер Треффри, с треском раскрыв газету. — Смотри не влюбись в этого художника, Крис.

Кристиан уже не улыбалась.

«А почему бы и нет? — подумала она. — Что вы знаете о нем? Разве он недостаточно хорош для меня?»

Прозвучал гонг.

— Тебя зовут обедать, — заметил мистер Треффри.

Ей вдруг стало стыдно, она наклонилась и поцеловала его.

Но когда она вышла из комнаты, мистер Треффри опустил газету и уставился в дверь, что-то бормоча и задумчиво потирая подбородок.

Кристиан не могла есть; она сидела, равнодушно отказываясь от всего, что предлагал ей Доминик, терзалась какой-то смутной тревогой и невпопад отвечала на вопросы миссис Дисси. Грета украдкой поглядывала на нее из-под ресниц.

— Решительные натуры очаровательны, не правда ли, Кристиан? — сказала миссис Дисси, выпятив подбородок и отчетливо выговаривая каждое слово. — Вот почему мне так нравится мистер Гарц; для мужчины необыкновенно важно знать, чего он хочет. Стоит только взглянуть на этого молодого человека, и вы увидите, что он знает, чего хочет и как этого добиться.

Кристиан отодвинула тарелку. Грета, покраснев, сказала:

— Доктор Эдмунд, по-моему, нерешительная натура. Сегодня он говорит: «Пива, что ли, выпить... да, пожалуй... нет, не стоит»; потом заказал пиво, а когда его принесли, отдал солдатам.

Миссис Дисси с загадочной улыбкой поглядывала то на одну племянницу, то на другую.

После обеда все направились в ее комнату. Грета сразу же уселась за пианино, ее длинные локоны почти падали на клавиши, которые она тихо перебирала, улыбаясь про себя и поглядывая на тетю, читавшую эссе Патера¹.

¹ Патер Уолтер (1839—1894) — английский критик.

Кристиан тоже взяла книгу, но вскоре положила ее; она машинально прочла несколько страниц, не вникая в смысл слов. Потом она вышла в сад и бродила по газону, заложив руки за голову. Было душно: где-то очень далеко в горах прогремывала гроза; над деревьями играли зарницы; вокруг розового куста кружились две большие ночные бабочки. Кристиан наблюдала за их неуверенным порывистым полетом. Войдя в беседку, она кинулась на стул и прижала руки к груди.

Неожиданно и незнакомо заныло сердце. Неужели она больше не увидит его? Если его не будет, то что ей останется? Будущая жизнь представилась ей такой бедной, такой невзрачной... а рядом ждал прекрасный мир борьбы, самопожертвования, верности! Словно молния ударила вблизи, опалила ее, лишила способности летать, сожгла крылья, будто она была одной из тех светлых порхающих бабочек. На глаза навернулись слезы и струйками потекли по лицу. «Слепая! — думала она. — Как я могла быть настолько слепой?»

Послышались чьи-то шаги.

— Кто там? — вскрикнула Кристиан.

В дверях стоял Гарц.

— Зачем вы здесь? — сказал он. — Зачем вы здесь?

Он схватил ее за руку; Кристиан попыталась вырваться, отвести от него взгляд, но не могла. Гарц бросился на колени и воскликнул:

— Я люблю вас!

В порыве нежности и непонятного страха она прижалась лбом к его руке.

— Что вы делаете? — услышала она. — Неужели вы любите меня?

И она почувствовала, что он целует ее волосы.

— Любимая моя! Вам будет очень трудно; вы такая маленькая и такая слабенькая.

Еще крепче прижав его руку к своему лицу, она прошептала:

— Меня ничто не страшит.

Наступило молчание, исполненное нежности, молчание, которое, казалось, будет длиться вечно. Вдруг она обвила его шею руками и поцеловала.

— И пусть будет, что будет! — прошептала она и, подобрав платье, скрылась в темноте.

На следующее утро Кристиан проснулась с улыбкой на устах. В ее движениях, голосе, выражении глаз появилось что-то счастливое, приятное и сдержанное, словно она все время думала о чем-то сокровенном. После завтрака она взяла книгу и села у открытого окна, откуда были видны тополя, стоявшие на страже у входа в сад. Дул ветерок, и ей кланялись розы, всю трезвонили соборные колокола, над лавандой гудели пчелы, а в небе, как большие белые птицы, проплывали легкие облака.

По комнате разносился голос мисс Нейлор, четко и отрывисто диктовавшей Грете, которая писала, вздыхая и глядя одним глазом на бумагу, а другим на Скрафа. Пес лежал на полу, свесив черное ухо на лапу и подрагивая рыжеватыми бровями. Он попал в немилость, ибо Доминик застал его, когда он, «усердно помолившись» перед пудингом, уже вознаграждал себя за благочестие этим же пудингом.

Кристиан тихо положила книгу и выскользнула из комнаты. Между тополями появился Гарц.

— Я вся ваша! — прошептала она.

Их пальцы встретились, и он вошел в дом.

Она снова скользнула в комнату, взяла книгу и стала ждать. Казалось, прошла целая вечность. Выйдя, он только махнул рукой и быстро зашагал прочь; на мгновение она увидела его лицо, бледное, как смерть. Совершенно расстроенная, она побежала в комнату отчима.

Герр Пауль стоял в углу, растерянно поглядывая по сторонам. У него был вид беспечного человека, столкнувшегося с непредвиденной трудностью. Его обычно безупречная манишка сморщилась, словно он под влиянием какой-то сильной эмоции вдруг выдохнул из груди весь воздух; темное пенсне болталось где-то на спине; пальцы он запустил в бороду. Взгляд его был устремлен в какую-то точку на полу, словно он ждал, что она взорвется и разнесет все и вся в клочья. В другом углу миссис Дисси с полузакрытыми глазами терла лоб кончиками пальцев.

— Что вы сказали ему? — крикнула Кристиан.

Герр Пауль посмотрел на нее тусклыми глазами.

— Mein Gott ¹,— сказал он.— Мы с твоей тетей...

— Что вы сказали ему? — повторила Кристиан.

— Какая наглость! Анархист! Нищий!

— Пауль! — проговорила миссис Диси.

— Бандит! Негодяй!

Герр Пауль забежал по комнате.

Вся дрожа, Кристиан выкрикнула: «Как вы сме-
ли?» — и побежала вон из комнаты, оттолкнув мисс
Нейлор и Грету, которые стояли в дверях бледные и ис-
пуганные.

Герр Пауль перестал метаться по комнате и, по-преж-
нему не отрывая глаз от пола, проворчал:

— Хорошенькое дело... hein? Что творится! Поду-
мать только! Анархист... Нищий!

— Пауль! — проговорила миссис Диси.

— Пауль! Пауль! А вы куда смотрели! — Он указал
на мисс Нейлор.— Две женщины... не могли усле-
дить! Hein!

— Оскорблениями делу не поможешь,— пробормо-
тала миссис Диси, проводя платком по губам. Смуглые
щеки мисс Нейлор вспыхнули, она подошла к герру
Паулю.

— Надеюсь, вы не...— сказала она.— Я уверена, что
не произошло ничего, что я могла бы предотвратить...
И я была бы рада, если бы это поняли.

И, с достоинством повернувшись, маленькая гувер-
нантка вышла из комнаты, закрыв за собой дверь.

— Вы слышали?! — с глубоким сарказмом вы-
молвил герр Пауль.— Ей нечего было предотвращать!
Enfin! ². Скажите, пожалуйста, что же я должен де-
лать?

«Светские люди», чья философия диктуется этикетом
и прописными истинами, считают всякое отклонение от
своих предрассудков опасным, шокирующим и невыно-
симо скучным. Герр Пауль всю жизнь смеялся над пред-
рассудками, но когда дело коснулось его самого, смеш-
ливость его как рукой сняло. Ему казалось невыразимо
ужасным, что девушка, законным опекуном которой он

¹ Боже мой (нем.).

² Наконец! (франц.)

был, выйдет замуж не за респектабельного, холеного и состоятельного человека. С его точки зрения, ужас этот был весьма оправдан, и естественно, что он не мог судить, оправдан ли его ужас с других точек зрения. В его растерянности было что-то трогательное; он напоминал ребенка, столкнувшегося с совершенно непонятным явлением. Разговор с Гарцем лишил его чувства уверенности, а это ему казалось особенно обидным.

Дверь вновь открылась, и вбежала Грета. Лицо ее пылало, волосы развевались, она была вся в слезах.

— Папа! — сказала она, всхлипывая. — Ты обидел Крис. Она заперлась. Мне слышно, как она плачет. Почему ты обидел ее?

И, не дождавшись ответа, она выбежала.

Герр Пауль схватился за волосы.

— Хорошо! Очень хорошо! И это говорит моя собственная дочь! А что будет дальше?

Миссис Диси томно поднялась со стула.

— Голова у меня болит невыносимо, — заслонив глаза от света, тихо сказала она. — Зачем так волноваться... из этого ничего не может выйти... У него нет ни гроша. У Кристиан ничего не будет, пока вы не умрете, а до этого еще далеко, если, конечно, вам удастся избежать апоплексического удара.

При этих словах герра Пауля всего передернуло. «Гм!» — произнес он с таким выражением, словно уже весь мир ополчился на него. Миссис Диси продолжала:

— Насколько я могу судить, этот молодой человек после того, что вы ему сказали, сюда не вернется. Что же касается Кристиан, то вам лучше поговорить с Николасом. Пойду прилягу.

Герр Пауль нервно оттягивал пальцем воротничок, облежавший его толстую, короткую шею.

— С Николасом! Конечно же... Превосходная мысль! *Quelle diable d'affaire!*¹

«Заговорил по-французски, — подумала миссис Диси, — значит, у нас скоро воцарится мир. Бедняжка Кристиан! Жаль, конечно, но в конце концов все это дело времени и благоприятного случая». Эта мысль весьма утешила ее.

¹ Вот чертово дело! (франц.)

Но для Кристиан, испытывавшей смешанное чувство тоски и стыда, страха и гнева, эти часы казались непрерывным кошмаром. Простит ли он? Будет ли он верен ей? Или уедет, не сказав ни слова? У нее было такое чувство, будто вчера она вступила в какой-то иной мир, а сегодня потеряла его. А что придет на смену этому новому чувству, опьяняющему, как вино? Какая мучительная, ужасная развязка!

Как внезапно ей пришлось окунуться в мир фактов и низменных побуждений!

Немного погодя она впустила в комнату Грету, потому что девочка расплакалась, но не разговаривала с ней, а сидела у окна, подставляя лицо ветерку и с тоской глядя на небо и деревья. После нескольких попыток утешить сестру Грета опустилась на пол и полулежаробко поглядывала на Кристиан в тишине, нарушавшейся только ее всхлипываниями и птичьим гомоном в саду. К вечеру Грета потихоньку вышла и больше не возвращалась.

После разговора с мистером Трефри герр Пауль принял ванну и тщательно надушился, ясно давая понять, что при таких обстоятельствах он не может оставаться дома. Немного погодя он отправился в Кургауз и не вернулся к обеду.

Кристиан сошла в столовую после обеденного гонга. На щеках ее рдели пятна, под глазами темнели круги, однако вела себя она так, словно ничего не случилось. Добросердечная мисс Нейлор была так расстроена, что машинально скатывала хлебные шарики, поглядывала на них с удивленным видом и неловко прятала. Мистер Трефри покашливал, и голос его, казалось, дрожал больше обычного. Грета молчала и старалась перехватить взгляд Кристиан. Одна миссис Диси как будто чувствовала себя непринужденно. После обеда мистер Трефри пошел к себе в комнату, тяжело опираясь на плечо Кристиан. Опустившись в кресло, он сказал ей:

— Возьми себя в руки, дорогая!

Кристиан ему не ответила. Едва она вышла в коридор, как Грета схватила ее за рукав.

— Посмотри! — прошептала она, сунув в руку листок бумаги. — Это мне от доктора Эдмунда, но тебе надо прочесть.

Кристиан развернула записку и прочла следующее:

«Мой маленький философ и друг, я получил вашу записку и отправился в мастерскую нашего друга; его там не оказалось, но полчаса тому назад я наткнулся на него на площади. Он не совсем хорошо себя чувствует, немного перегрелся на солнце — ничего серьезного. Я отвел его к себе в гостиницу и уложил в постель. Если он не уйдет оттуда, то через денек-другой поправится. Во всяком случае, сейчас он из моих когтей не вырвется.

Кланяйтесь мисс Кристиан.

Ваш друг и единомышленник Эдмунд Дони».

Кристиан читала и перечитывала записку, а потом обернулась к Грете.

— Что ты писала доктору?

Взяв записку, Грета ответила:

— Я написала ему: «Дорогой доктор Эдмунд, мы беспокоимся о герре Гарце. Нам кажется, что он не совсем здоров сегодня. Мы (я и Кристиан) хотели бы знать, что с ним. Сообщите нам, пожалуйста. Грета». Вот что я ему написала.

Кристиан потупилась.

— А почему ты написала?

Грета грустно посмотрела на нее.

— Я думала... О, Крис! Пойдем в сад. Мне очень жарко и без тебя так скучно!

Кристиан наклонилась и потерлась щекой о щеку Греты, затем, не говоря ни слова, бросилась наверх и заперлась в своей комнате. Девочка прислушалась. Услышав, как щелкнул замок, она опустилась на нижнюю ступеньку лестницы и взяла на руки Скрафа.

Спустя полчаса мисс Нейлор, шедшая со свечой в руке, увидела, что она крепко спит, положив головку на спину терьера, а на щеках ее следы слез...

Вскоре появилась миссис Дисси, которая тоже со свечой в руке направилась в комнату брата. Сложив руки на груди, она стала перед его креслом.

— Николас, как быть?

Мистер Треффри наливал в стакан виски.

— К черту все, Кон! — ответил он. — Откуда мне знать?

— Кристиан в таком состоянии, что всякое вмешательство может оказаться опасным. Я знаю, что не имею на нее никакого влияния.

— На сей раз ты права, Кон,— подтвердил мистер Треффри.

Миссис Дисси так пристально смотрела на него своими бесцветными глазами, что он тоже невольно взглянул на нее.

— Будь так добр, оставь свое виски и выслушай меня. Вмешательство Пауля...

— Пауль—осел,— проворчал мистер Треффри.

— Вмешательство Пауля,— продолжала миссис Дисси,— при сложившихся обстоятельствах может привести к опасным последствиям. Любое несвоевременное противодействие с его стороны может толкнуть ее бог знает на что. Кристиан — натура хрупкая, как говорится, «чувствительная», но стоит пойти ей наперекор, и она становится упрямой, как...

— ...Мы с тобой! Оставь ее в покое!

— Я понимаю ее характер, но признаюсь, я совершенно не знаю, как быть.

— Никак!

И мистер Треффри выпил еще стакан.

Миссис Дисси подняла свечу.

— Мужчины! — сказала она с загадочной интонацией, пожала плечами и вышла.

Мистер Треффри поставил стакан.

«Понимаю? — подумал он.— Нет, ты не понимаешь, и я не понимаю. Кто поймет молоденькую девушку? Фантазии, мечты — вздор!.. И что она увидела в этом маляре! — Он тяжело вздохнул.— Черт возьми, я дал бы сто тысяч фунтов, лишь бы этого не случилось!»

XIII

Уже прошло много часов с тех пор, как Дони привел Гарца к себе в гостиницу, а он все лежал пластом, мучась от жестокой боли в затылке. До этого он целый день провел на ногах под палящим солнцем, без маковой росинки во рту, в страшном душевном волнении. Любое движение причиняло такую боль, что он боялся пошевелиться и только считал пятна, мелькавшие перед глазами.

ми. Дони делал для него все, что мог, а Гарц с какой-то неприязненной апатией ловил на себе настойчивый, испытующий взгляд спокойных черных глаз доктора.

К концу второго дня он уже мог подняться; когда Дони вошел, он сидел на постели в рубашке и брюках.

— Сын мой,—сказал Дони,—расскажите-ка мне лучше о своей беде... Это пойдет нам только на пользу, упрямец вы эдакий...

— Мне надо работать,—сказал Гарц.

— Работать! — медленно проговорил Дони.— Куда вам, и не пытайтесь.

— Мне надо.

— Дорогой мой, вы же не отличите один цвет от другого.

— Мне надо что-то делать; я не могу сидеть здесь и думать.

Дони подцепил большими пальцами проймы жилета.

— Ничего не попишешь, вам еще три дня нельзя показываться на солнце.

Гарц встал.

— Завтра же я пойду в свою мастерскую,—сказал он.— Обещаю не выходить из нее. Мне надо хотя бы видеть свои картины. Если я не могу писать, то я буду рисовать, держать в руках кисти, перебирать свои вещи. От безделья я сойду с ума.

Дони взял его под руку и стал прохаживаться с ним по комнате.

— Я отпущу вас,—сказал он,— но войдите в мое положение! Для меня так же важно поставить вас на ноги, как для вас написать сносную картину. А теперь ложитесь. Завтра утром я отправлю вас домой в экипаже.

Гарц снова сел на кровать и долго сидел без движения, уставившись в пол. Вид его, такой несчастный и жалкий, тронул молодого врача.

— Вы сами разденетесь? — помолчав, спросил он.

Гарц кивнул.

— Тогда спокойной ночи, старина.

И Дони вышел из комнаты.

Он взял шляпу и направился к вилле. Между тополями он в раздумье остановился. Деревья сада казались черными и рельефно выделялись на не погасшем еще золоте заката; большая ночная бабочка, привлеченная

огоньком сигары, запорхала у самого лица доктора. Доносились то громкие, то замирающие звуки концертино, словно вздыхал какой-то разочарованный дух. Дони постоял немного, вглядываясь в дом.

Его провели в комнату миссис Дисси. Она держала перед глазами журнал и встретила гостя с неподдельным облегчением, которое по привычке постаралась скрыть.

— Вас-то я и хотела видеть,— сказала она.

Он заметил, что журнал, который она держала в руках, был не разрезан.

— Вы человек молодой,— продолжала миссис Дисси,— но поскольку вы мой врач, я могу рассчитывать на вашу скромность.

Дони улыбнулся; его широкое, чисто выбритое лицо принимало в таких случаях до смешного глупый вид, и лишь глаза сохраняли обычное выражение.

— Разумеется,— сказал он.

— Я говорю об этом злосчастном деле. Если не ошибаюсь, мистер Гарц находится у вас. Я хотела бы, чтобы вы воспользовались вашим влиянием и отговорили его от попытки встретиться с моей племянницей.

— Влиянием! — сказал Дони.— Вы же знаете Гарца! Голос миссис Дисси зазвучал зло.

— У каждого человека,— сказала она,— есть слабости. Этот молодой человек уязвим, по меньшей мере, с двух сторон: он страшно горд, во-первых, и очень любит свое дело, во-вторых. Я редко ошибаюсь в оценке характеров; все это для него жизненно важно, а следовательно, может сыграть решающую роль. Жаль его... конечно, но в его возрасте и для женщины такие вещи...— Ее улыбка стала особенно бесцветной.— Дали бы вы мне что-нибудь от головы. Глупо так волноваться! Нервы!.. Но я не могу не волноваться. Вы знаете мое мнение, доктор Дони. Этот молодой человек далеко пойдет, если не свяжет себе руки; он станет человеком с именем. Вы окажете ему огромную услугу, если убедите его, что этим он свяжет себя по рукам и ногам... И вообще это для него унижительно. Помогите же мне! Только вы можете это сделать!

Дони вскинул голову, словно стряхивая с себя подобное обвинение; подбородок его теперь выглядел очень

внушительно, да и весь вид у него был внушительный: вид человека, на которого можно положиться.

Его поразило, что миссис Дисси действительно очень встревожена, и деланная улыбка, словно сбившаяся набок маска, не скрывала уже ее истинных чувств. И Дони думал в замешательстве: «Никогда бы не поверил, что она способна на такую...»

— Это нелегкое дело,— сказал он.— Я подумаю.

— Благодарю вас! — проговорила миссис Дисси.— Вы очень любезны.

Проходя мимо классной комнаты, он заглянул в открытую дверь. Там сидела Кристиан. Дони поразило ее лицо — бледное, застывшее. На коленях у нее лежала какая-то книга, но смотрела она не в книгу, а прямо перед собой. Вдруг он подумал: «Бедняжка! Я буду скотиной, если ничего не скажу ей!»

— Мисс Деворелл,— сказал он,— в него вы можете верить.

Кристиан попыталась что-то ответить, но губы ее так дрожали, что она не могла говорить.

— До свидания,— попрощался Дони и вышел.

Три дня спустя Гарц сидел у окна в своей мастерской. Сегодня он впервые почувствовал, что может работать, и теперь, устав, сидел в полумраке и смотрел, как медленно удлиняется тень от стропил. Жужжал одинокий комарик, сонно чирикали два воробья, обитавшие под крышей. Под окном проносились ласточки, чуть не задевая синеватыми крыльями спокойную воду. Кругом царила тишина. Гарц уснул.

Он проснулся от смутного ощущения, что рядом кто-то стоит. При тусклом свете многочисленных звезд все в комнате имело неясные очертания. Гарц зажег фонарь. Пламя метнулось, задрожало и постепенно осветило большую комнату.

— Кто здесь?

В ответ послышался шелест. Он внимательно осмотрелся, пошел к двери и отдернул занавес. Закутанная в плащ женская фигура отпрянула к стене. Женщина закрыла лицо руками, только они и были видны из-под плаща.

— Кристиан?

Она пробежала мимо него в комнату, и когда он по-

ставил фонарь, она уже стояла у окна. Кристиан быстро повернулась к нему.

— Увезите меня отсюда! Разрешите мне ехать с вами!

— И вы действительно этого хотите?

— Вы говорили, что никогда не расстанетесь со мной!

— Но вы понимаете, что вы делаете?

Она кивнула головой.

— Нет, вы не представляете себе, что это значит. Вам придется терпеть такие лишения, какие вам и не снились... голод, например! Подумайте, даже голод! И родные не простят вам... Вы потеряете все.

Она покачала головой.

— Я должна решить... раз и навсегда. Без вас я не могу! Мне было бы страшно!

— Но, милая, как же вы поедете со мной? Здесь мы не можем пожениться.

— Моя жизнь принадлежит вам.

— Я вас недостойн,— сказал Гарц.— Жизнь, которую вы избираете, может оказаться беспросветной, как это!— Он указал на темное окно.

Тишину нарушили чьи-то шаги. На дорожке внизу был виден человек. Он остановился, по-видимому, раздумывая, и исчез. Потом они слышали, как кто-то ощупью искал дверь, открыл ее со скрипом и стал неуверенно подниматься по лестнице.

Гарц схватил Кристиан за руку.

— Скорей! — прошептал он.— Спрячьтесь за холст!

Кристиан дрожала. Она надвинула на лицо катюшон. Уже было слышно тяжелое дыхание и бормотание гостя.

— Сейчас он войдет! Быстрее! Прячьтесь!

Кристиан покачала головой.

С замиранием сердца Гарц поцеловал ее и пошел к двери. Занавес отдернулся.

XIV

Это был герр Пауль. Тяжело дыша, он стоял на пороге, держа в одной руке сигару, а в другой шляпу.

— Извините! — сказал он хриплым голосом.— Лест-

ница у вас крутая и темная! Mais enfin! nous voila! ¹ Я взял на себя смелость зайти и поговорить с вами.

Взгляд его упал на закутанную в плащ фигуру, стоявшую в тени.

— Простите! Тысяча извинений! Я не знал! Прошу прощения за бесцеремонность! Могу ли я полагать, что теперь вы откажетесь от своих притязаний?! У вас тут дама... мне нечего больше сказать. Приношу миллион извинений за свое вторжение. Простите меня! Спокойной ночи!

Он поклонился и повернулся, чтобы уйти. Кристиан сделала шаг вперед и сдернула с головы капюшон.

— Это я!

Герр Пауль сделал пируэт.

— Господи! — залепетал он, роняя сигару и шляпу. — Господи!

Фонарь вдруг вспыхнул и осветил его багровые трясущиеся щеки.

— Ты пришла сюда, ночью! Ты, дочь моей жены!

Тупой взгляд его глаз блуждал по комнате.

— Берегитесь! — крикнул Гарц. — Если вы скажете о ней хоть одно дурное слово...

Они смотрели друг другу прямо в глаза. Фонарь внезапно замигал и погас. Кристиан снова запахнулась в плащ. Молчание нарушил герр Пауль, к нему уже вернулось самообладание.

— Ага! — сказал он. — Темнота! Tant mieux! ² Как раз то, что нужно для нашего разговора. Раз мы не уважаем друг друга, то чем меньше нам будет видно, тем лучше.

— Вот именно, — подтвердил Гарц.

Кристиан подошла поближе. В темноте можно было рассмотреть ее бледное лицо и большие блестящие глаза.

Герр Пауль махнул рукой; жест был выразительный, уничтожающий.

— Разговор, полагаю, будет мужской, — сказал он, обращаясь к Гарцу. — Перейдем к делу. Будем считать, что вы все-таки намерены жениться. Вы, наверно, знаете, что мисс Деворелл сможет распоряжаться своими деньгами только после моей смерти?

¹ Но наконец мы здесь! (франц.)

² Тем лучше! (франц.)

— Да.

— А я сравнительно молод! У вас есть деньги?

— Нет.

— В таком случае вы, очевидно, собираетесь питаться воздухом?

— Нет, работать. Живут же люди...

— И голодают! Вы готовы поселить мисс Деворелл, благородную девушку, привыкшую к роскоши, в лачуге вроде... этой! — Герр Пауль обвел взглядом мастерскую. — В лачуге, пахнувшей краской, ввести ее в среду людей «из народа», в общество богемы, быть может, даже в общество анархистов?

Гарц стиснул кулаки.

— Отвечать на ваши вопросы я больше не буду.

— В таком случае вот вам ультиматум, — сказал герр Пауль. — Послушайте, герр преступник! Если вы не оставите страну завтра к полудню, о вас будет заявлено в полицию!

Кристиан вскрикнула. Минуту в темноте было слышно только тяжелое, прерывистое дыхание двух мужчин. Вдруг Гарц крикнул:

— Вы трус, я не боюсь вас!

— Трус! — повторил герр Пауль. — Это уж поистине предел всему. Берегитесь, милейший!

Он наклонился и ощупью нашел шляпу. Кристиан уже исчезла, ее торопливые шаги отчетливо доносились с лестницы. Герр Пауль замешкался.

— Берегитесь, милейший! — сказал он хриплым голосом и стал нащупывать стену.

Криво нахлобучив шляпу, он начал медленно спускаться с лестницы.

XV

Николас Треффри сидел под лампой с зеленым абажуром и читал газету; на здоровой ноге у него спал, слегка похрапывая, терьер Скраф. Собака обычно спускалась вниз, когда Грета ложилась спать, и пристраивалась рядом с мистером Треффри, который всегда отправлялся на покой последним в доме.

Сквозь стеклянную дверь свет падал на плиточный

пол веранды, прочерчивая светящуюся дорожку и разрезая сад надвое.

Послышались торопливые шаги, зашелестела ткань, в дверь вбежала Кристиан и остановилась перед мистером Треффри.

Глаза девушки горели таким неистовым возмущением и тревогой, что мистер Треффри уронил газету.

— Крис! Что случилось?

— Отвратительно!

— Крис!

— Ах, дядя! Его оскорбляли, ему угрожали! А мне один его мизинец дороже всего на свете!

Голос ее дрожал от возбуждения, глаза сверкали.

Глубокое беспокойство мистера Треффри нашло выход в одном отрывистом слове: «Сядь!»

— В жизни больше не буду говорить с отцом. О дядя! Я люблю Алоиза!

Внешне спокойный, несмотря на чувство великой тревоги, охватившей его, мистер Треффри оперся о ручки кресла, подался вперед и внимательно посмотрел на Кристиан.

Крис больше нет! Перед ним была незнакомая женщина. Губы его шевелились под крутым полукружием усов. Лицо девушки вдруг побледнело. Она опустилась на колени и прижалась щекой к его руке. Щека была мокрая, и к горлу у него подкатил комок. Убрав руку, он взглянул на нее и вытер ей слезы рукавом.

— Не плачь! — сказал он.

Она снова схватила его руку и приникла к ней; это движение, казалось, привело его в ярость.

— В чем дело! Черт побери, как я могу тебе помочь, раз ты мне ничего не говоришь?

Она взглянула на него. Страдания последних дней, переживания и страх последнего часа, новые мысли и чувства — все это вылилось потоком слов.

Когда она кончила говорить, наступила такая мертвая тишина, что стал слышен шелест крыльев ночной бабочки, порхавшей вокруг лампы.

Мистер Треффри медленно поднялся, пересек комнату и позвонил.

— Передай конюху, — сказал он вошедшему Домини-

ку,— пусть запрягает лошадей и сразу подает их; принеси мои старые сапоги, мы едем на всю ночь.

Его сгорбленная фигура казалась огромной, ноги и туловище были освещены лампой, а плечи и голова терялись в полумраке.

— Доставлю я ему такое удовольствие,— сказал он, угрюмо поглядывая на племянницу,— хотя он этого не заслуживает, да и ты, Крис, тоже. Садись и пиши ему; пусть слушается меня во всем.

Он повернулся к ней спиной и направился к себе в спальню.

Кристиан села за письменный стол. И вдруг вздрогнула от чьего-то шепота. Позади стоял Доминик, держа пару сапог.

— Мадмуазель Крис, что же это такое? Всю ночь где-то ездить?

Но Кристиан не ответила.

— Мадмуазель Крис, уж не больны ли вы?

Но, увидев выражение ее лица, он тихо вышел из комнаты.

Кристиан закончила письмо и пошла к фаэтону. Мистер Трефри сидел под поднятым верхом.

— Вы мне не нужны! — крикнул он конюху. — Залезай, Доминик.

Кристиан сунула ему в руку письмо.

— Передайте ему это,— сказала она и вдруг, охваченная страхом, прильнула к его руке.— О дядя, будьте осторожны!

— Крис, раз уж я ради тебя взялся за это...

Они с грустью поглядели друг на друга. Потом, покачивая головой, мистер Трефри взял вожжи.

— Не беспокойся, дорогая, не беспокойся! Но-о-о, кобыла!

Экипаж рванулся в темноту, разбрасывая колесами гравий, и исчез, качнувшись между черными стволами у входа в сад.

Кристиан стояла, прислушиваясь к удалявшемуся топоту копыт.

Раздался шелест белой ночной рубашки, тонкие руки обхватили Кристиан, лица коснулись пряди волос.

— Что случилось, Крис? Где ты была? Куда уехал дядя Ник? Ну, скажи!

Кристиан отпрянула.

— Не знаю,— сказала она.— Я ничего не знаю!

Грета погладила ее по лицу.

— Бедная Крис,— прошептала она. Белели ее босые ноги, светились золотом волосы на фоне ночной рубашки.— Пойдем спать, бедняжка Крис!

Кристиан засмеялась.

— Ты мой маленький белый мотылек! Посмотри, какая я горячая. Ты спалишь свои крылышки!

XVI

Гарц одетый лежал на постели. Гнев прошел, но он чувствовал, что скорее умрет, чем уступит. Вскоре на лестнице послышались шаги.

— Мосье!

Это был голос Доминика; на его освещенном спичкой лице застыло выражение иронического неодобрения.

— Мой хозяин,— сказал он,— шлет вам привет; он говорит, что времени терять нельзя. Вас почтительнейше просят сойти вниз и ехать с ним!

— Ваш хозяин очень добр. Скажите ему, что я сплю.

— Э, мосье,— сказал, кривя губы, Доминик,— я не могу вернуться с таким ответом. Если вы не пойдете, я должен передать вам вот это.

Гарц вскрыл письмо Кристиан.

— Иду,— сказал он, кончив его читать.

Когда они выходили из калитки, били часы. Из темной пещеры фаэтона донесся отрывистый голос мистера Треффри:

— Поторапливайтесь, сэр!

Гарц сунул внутрь рюкзак и сел.

Фигура его спутника качнулась, ремень кнута скользнул по боку пристяжной. И когда экипаж помчался, мистер Треффри, спохватившись, крикнул:

— Эй, Доминик!

С запяток донесся дрожащий, иронический голос Доминика:

— M'v'la, m'sieur¹.

Мелькали темные ряды притихших домов, и люди, еще сидевшие в освещенных кафе, провожали глазами

¹ Я тут, сударь (франц.).

экипаж, не отнимая стаканов от губ. Узкая речка неба вдруг раздалась и стала огромным прозрачным океаном, в котором трепетали звезды. Экипаж свернул на дорогу, ведущую в Италию.

Мистер Трефри дернул поводья.

— Но! Вперед, упрямыцы!

Левая лошадь, вздернув голову, тихонько заржала; в лицо Гарца шлепнулся клочок пены.

Художник поехал под влиянием порыва — не по собственной воле, а потому, что так велела Кристиан. Он был зол на себя, его самолюбие страдало, потому что он разрешил себе принять эту услугу. Быстрое и плавное движение сквозь бархатную темь, отбрасываемую по обе стороны летучим светом фонарей; упругий душистый ветер, бьющий в лицо, ветер, целовавший вершины гор и заразившийся их духом; фыркание и сопение лошадей, drobный стук их копыт — все это вскоре привело его в другое настроение. Он глядел на профиль мистера Трефри, на его бородку клинышком, на серую дорогу, смело устремившуюся во мрак, на фиолетовые нагромождения гор, вздыбившихся над мраком. Все казалось совершенно нереальным.

Словно только сейчас вспомнив, что он не один, мистер Трефри неожиданно обернулся.

— Скоро дело веселей пойдет, — сказал он, — под уклон покатымся. Дня три я уже на них не выезжал. Но-о-о, лошадки! Застоялись!

— К чему вам из-за меня причинять себе такое беспокойство? — спросил Гарц.

— Я уже старик, мистер Гарц, а старику простительно время от времени делать глупости.

— Вы очень любезны, — сказал Гарц, — но я не нуждаюсь в одолжениях.

Мистер Трефри пристально посмотрел на него.

— Так-то оно так, — сказал он сухо, — но видите ли, следует подумать и о моей племяннице. Послушайте! До границы осталось еще миль сорок, мистер Гарц; доберемся ли мы до нее — это еще бабушка надвое сказала... так что не портьте мне прогулки!

Он указал налево. Гарц увидел, как сверкнула сталь: они уже пересекали железную дорогу. Над головой гудели телеграфные провода.

— Слышите,— сказал Треффри,— но если мы вскарабкаемся на эту гору, то тогда успеем!

Начался подъем, лошади пошли тише. Мистер Треффри достал флягу.

— Неплохое зелье, мистер Гарц... попробуйте хлебнуть. Не хотите? Материнское молочко! Хороша ночка, а?

Внизу в долине светилась паутинка молочно-белой дымки, поблескивавшей, словно росинки на траве.

И два человека, сидевших бок о бок (такие несхожие ни лицом, ни возрастом, ни сложением, ни мыслями, ни жизнью), почувствовали, что их тянет друг к другу, словно в движении экипажа, фыркание лошадей, огромности ночи и беспредельной неизвестности они нашли что-то, что доставляло радость им обоим. Их обволакивал пахнувший клеем пар, который шел из лошадиных ноздрей и от боков.

— Вы курите, мистер Гарц?

Гарц взял предложенную сигару и прикурил ее от горящего кончика сигары мистера Треффри, чья голова и шляпа напоминали какой-то гигантский гриб. Вдруг колеса затряслись по камням, экипаж стало бросать из стороны в сторону. Испугавшиеся лошади рванулись в разные стороны, потом понесли — вниз, в темноту, мимо скал, деревьев, строений, мимо освещенного дома, который мелькнул желтой полоской и исчез. С грохотом и звоном, оставляя шлейф пыли, разбрасывая камешки, раскачивая фонари, бросавшие по сторонам дрожащие оранжевые пятна света, экипаж мчался вниз, ныряя и подпрыгивая, словно лодка по волнам. Весь мир, казалось, раскачивался, танцевал, приседал, прыгал. Только звезды были недвижимы.

Мистер Треффри нажимал изо всех сил на тормоз и бормотал извиняющимся тоном:

— Не слушаются!

Вдруг, стремительно нырнув, экипаж накренился, словно собираясь разлететься на куски, его занесло, последовал рывок, и наконец он снова бешено покатился по дороге. Гарц вскрикнул, мистер Треффри издал короткий вопль, а с запяток донесся пронзительный визг. Но склон уже был позади, и ошеломленные лошади бежали свободно и размеренно. Мистер Треффри и Гарц переглянулись.

Мистер Треффри сказал, усмехнувшись:

— Чуть на тот свет не отправились, а? Вы правите? Нет? Жаль! Я на этом деле почти все кости переломал... что может быть лучше!

И они впервые почувствовали что-то вроде взаимного восхищения. Вскоре мистер Треффри снова заговорил:

— Послушайте, мистер Гарц, моя племянница еще совсем девочка и ничего не знает о жизни! А что вы собираетесь дать ей? Себя? Этого, конечно, недостаточно; не забывайте... через полгода после свадьбы все мы станем на один лад... эгоистами! Не говоря уж об этом вашем анархическом заговоре! Вы ей не подходите ни по происхождению, ни по образу жизни, ни по чему... риск слишком велик... а она...— Его рука опустилась на колено молодого человека.— Видите ли, я ее очень люблю.

— Если бы вы были на моем месте,—спросил Гарц,—вы бы отказались от нее?

Мистер Треффри тяжело вздохнул.

— Бог знает!

— Не я один учился на медные гроши, добиваются же люди успеха. У тех, кто верит в себя, неудач не бывает. Ну, а если ей и придется немного победствовать? Так ли уж это страшно? Настоящая любовь от испытаний только прочнее становится.

Мистер Треффри вздохнул.

— Смело сказано, сэр! Но, простите меня, я слишком стар, чтобы понимать подобные слова, когда они касаются моей племянницы.

Он натянул вожжи и стал вглядываться в темноту.

— Теперь поедем потише; если наш след затеряется здесь, то тем лучше. Доминик! Погаси фонари. Эгей, красавицы!

Лошади шли шагом; пыль почти полностью заглушала топот их копыт. Мистер Треффри указал налево.

— До границы осталось еще миль тридцать пять.

Они проехали мимо белых домиков и деревенской церкви, возле которой, как часовые, выстроились кипарисы. В ручейке квакала лягушка, доносился тонкий аромат лимонов. Но кругом по-прежнему все было спокойно.

Теперь они ехали лесом, по обе стороны дороги росли высокие сосны, благоухавшие в темноте, и среди них, словно призраки, белели стволы берез.

Мистер Треффри бросил:

— Так вы не хотите отказаться от нее? Для меня очень важно, чтобы она была счастлива.

— Для вас! — сказал Гарц. — Для него! А я не в счет! Вы думаете, что ее счастье мне безразлично? По-вашему, моя любовь к ней — преступление?

— Почти, мистер Гарц... принимая во внимание...

— Принимая во внимание, что у меня нет денег! Вечно деньги и только деньги!

Это глумливое замечание мистер Треффри оставил без ответа и стал понукать лошадей.

— Моя племянница родилась в богатой семье и получила светское воспитание, — сказал он наконец. — Скажите же: какое положение вы ей можете дать?

— Если она выйдет за меня замуж, — сказал Гарц, — она будет жить так, как живу я. Вы думаете, я заурядный...

Мистер Треффри покачал головой.

— Отвечайте на мой вопрос, молодой человек.

Но художник не ответил, и наступило молчание.

Легкий ветерок, шелест листвы, плавное движение экипажа, напоенный сосновым запахом воздух усыпили Гарца. Когда он проснулся, все было по-прежнему, только добавился беспокойный храп мистера Треффри; брошенные вожжи болтались; взглядевшись, Гарц увидел, что Доминик ведет лошадей под уздцы. Гарц присоединился к нему, и они вместе побрели в гору все выше и выше. Деревья окутало дымкой, звезды потускнели, стало холоднее. Мистер Треффри проснулся и закашлялся. Словно в каком-то нескончаемом страшном сне слышались приглушенные звуки, всплывали силуэты, продолжалось бесконечное движение, начатое и продолжавшееся во тьме. И вдруг наступил день. Приветствуемый лошадиным фырканьем, над хаосом теней и линий забрезжил бледный, перламутровый свет. Звезды поблекли, и рассвет раскаленным зигзагом пробежал по кромке горных вершин, огибая островки облаков. С озера, клочком дыма свернувшегося в лощине, донесся крик водяной птицы. Закуковала кукушка, у самого экипажа вспорхнул

жаворонок. И лошади и люди стояли неподвижно, упираясь воздухом, омытым росой и снегом, трепещущим и пронизанным журчанием воды и шелестом листьев.

Ночь сыграла злую шутку с мистером Николасом Треффри; шляпа его стала серой от пыли, щеки побурели, а под глазами, в которых было страдальческое выражение, появились большие мешки.

— Сделаем привал, — сказал он, — и дадим бедным лошадам покушать. Не принесете ли воды, мистер Гарц? Брезентовое ведро привязано сзади. Самому мне это сегодня не под силу. Скажите моему лентяю, пусть пошевеливается.

Гарц увидел, как он стащил сапог и вытянул ногу на сиденье.

— Вам нельзя ехать дальше, — сказал Гарц, — вы нездоровы...

— Нездоров? — откликнулся мистер Треффри. — Ни чуточки!

Гарц поглядел на него, потом подхватил ведро и пошел искать воду. Когда он вернулся, лошади уже ели из брезентовой кормушки, подвешенной к дышлу; они потянулись к ведру, отталкивая друг друга мордами.

Прекратилось полыхание на востоке, но верхушки лиственниц еще окружал трепетный ореол, а горные пики горели янтарем. И вдалеке повсюду виднелись узенькие полоски речек, полоски снега, полоски влажной зелени, блестящие, как осенняя паутина.

— Дайте-ка я обопрюсь на вашу руку, мистер Гарц, — позвал мистер Треффри. — Хочется немного размяться. Когда ноги не держат, это не так-то приятно, а?

Поставив ногу на землю, он застонал и сдвинул плечо молодого человека, как тисками. Немного погодя он опустился на камень.

— «Теперь все прошло!» — как говорила Крис, когда была маленькой; ну и характерец же у нее был — падает на пол, брыкается, визжит! Но и успокоить легко было. «Поцелуй! Возьми на ручки! Покажи картинки!» Просто удивительно, как Крис любила смотреть картинки! — Мистер Треффри взглянул на Гарца с подозрением, а потом приложился к фляге. — Что бы сказал доктор? Виски в четыре утра! Что ж! Слава богу, что врачи не всегда с нами.

Он сидел на камне, прижав одну руку к боку и за-прокидывая флягу другой.— весь серый с головы до ног.

Гарц опустился на соседний камень. Он еще не окреп после болезни, и его тоже доконали волнение и усталость. Голова закружилась, он помнил только, как деревья зашагали к нему, потом от него, все желтые до самых корней; все кругом казалось желтым, даже собственные ноги. Напротив кто-то подпрыгивал, серый медведь... в шляпе... мистер Треффри! Он закричал «Э-эй!», и серая фигура упала и исчезла...

Когда Гарц пришел в себя, чья-то рука лила ему в рот виски, а на лбу лежала мокрая тряпка; храпение и стук копыт показались ему знакомыми. Рядом неясно вырисовывался силуэт мистера Треффри, который курил сигару и бормотал: «Это подлость, Пауль... скажу тебе откровенно!» Потом словно кто-то отдернул занавес и все стало отчетливо видно. Экипаж катил между домами с почерневшими крышами разной высоты, мимо ворот, из которых выходили козы и коровы с колокольчиками на шеях. Черноглазые мальчишки, а иной раз и сонные мужчины, сжимавшие в зубах длинные вишневые чубуки трубок, сторонились, давая им дорогу, и долго смотрели вслед.

Мистер Треффри, по-видимому, почувствовал себя лучше; словно рассерженный старый пес, он поглядывал по сторонам. «Моя кость,— казалось, говорил он.— Пусть только кто-нибудь попробует отнять ее!»

Промелькнул последний дом, освещенный утренним солнцем, и экипаж, оставляя за собой хвост пыли, снова въехал в лесной полумрак по дороге, рассекавшей чащу мшистых скал и мокрых стволов, сквозь которые не могло еще пробиться солнце.

Доминик с видом человека, знававшего лучшие дни, сварил кофе на спиртовке.

— Завтрак подан! — сказал он.

Лошади прядали ушами от усталости. Мистер Треффри сказал им с грустью:

— Если уж я могу это выдержать, то вы и подавно сможете. Вперед, вперед, красавицы!

Но как только сквозь деревья пробилось солнце, силы мистера Треффри снова иссякли. Он, по-видимому, очень

страдал, но не жаловался... Наконец путники достигли перевала, и им в глаза ударил ослепительный свет.

— Пошевеливайтесь! — закричал мистер Треффри. — Скоро конец пути.

И он дернул вожжи. Лошади вскинули головы, и голый перевал, окруженный острыми вершинами, вскоре остался позади.

Миновав дома на самой верхней точке, лошади пошли рысцой и вскоре стали спускаться по противоположному склону. Мистер Треффри остановил их на том месте, где на дорогу выходила выючная тропа.

— Это все, что я могу сделать для вас; нам лучше расстаться здесь, — сказал он. — Ступайте вниз по тропе до реки, там поверните на юг и часика через два вы будете в Италии. Сядете на поезд в Фелтре. Деньги у вас есть? Да? Ну, что ж!

Он протянул руку, и Гарц пожал ее.

— Отказываетесь от нее, а?

Гарц отрицательно покачал головой.

— Нет? Что ж, посмотрим, чья возьмет! До свидания! Желаю удачи!

И собравшись с силами, чтобы не уронить своего достоинства, мистер Треффри разобрал вожжи.

Гарц заметил, как грузно осела его фигура, когда фаэтон медленно поехал прочь.

XVIII

Обитатели виллы Рубейн бродили по дому, избегая друг друга, словно участники раскрытого заговора. У мисс Нейлор, которая по какой-то непостижимой причине вырядилась в свое лучшее платье, лиловое, с бледно-голубой отделкой на груди, был такой вид, словно она пыталась сосчитать быстро сновавших вокруг нее цыплят. Когда Грета спросила, что она потеряла, то услышала невразумительный ответ:

— Мистера... игольник.

Кристиан с большими темными кругами под глазами молча сидела за своим маленьким столом. Она не спала всю ночь. Герр Пауль, заглянувший в полдень к ней в комнату, посмотрел на нее украдкой и вышел. После этого он отправился к себе в спальню, снял с себя всю

одежду, в сердцах пошвырял ее в ножную ванну и лег в постель.

— Будто я преступник! — бормотал он под стук пуговиц, ударявшихся о стенки ванны. — Разве я не отец ей? Разве я не имею права? Разве я не знаю жизни? Бррр! Будто я лягушка!

Миссис Диси велела доложить о себе и вошла, когда он курил сигару и считал мух на потолке.

— Если вы действительно сделали это, Пауль, — сказала она, подавляя раздражение, — то вы поступили очень нехорошо, и, что еще хуже, вы поставили всех нас в смешное положение. Но, быть может, вы этого не сделали?

— Я сделал это! — крикнул герр Пауль, выпучив глаза. — Сделал, говорю вам, сделал...

— Хорошо, вы сделали это... но зачем, скажите, пожалуйста? Какой в этом смысл? Вероятно, вы знаете, что Николас повез его к границе. Николас, наверно, сейчас измучен до полусмерти, вы же знаете состояние его здоровья.

Герр Пауль раздирал пальцами бороду.

— Николас сошел с ума... и Кристиан тоже! Оставьте меня в покое! Я требую, чтобы меня не раздражали! Мне нельзя волноваться... это вредно для меня!

Его выпуклые карие глаза бегали, словно он высматривал выход из положения.

— Могу предсказать, что вам придется еще немало поволноваться, — холодно сказала миссис Диси, — прежде, чем это кончится.

Робкий, боязливый взгляд, который герр Пауль бросил на нее при этих словах, вызвал у нее жалость.

— Вы не годитесь для роли разгневанного отца семейства, — сказала она. — Оставьте эту позу, она вам не идет.

Герр Пауль застонал.

— Возможно, это не ваша вина, — добавила она.

В это время открылась дверь и Фриц с видом человека, делающего именно то, что нужно в данную минуту, доложил:

— Вас хочет видеть господин из полиции, сэр.

Герр Пауль подскочил на месте.

— Не пускайте его! — завопил он.

Миссис Дисси, пряча усмешку, исчезла, шурша шелком; вместо нее в дверях появился прямой, как палка, человек в синем...

Так и тянулось это утро, и никто не мог найти себе места, кроме герра Пауля, который нашел себе место в постели. Как и полагается в доме, утратившем душу, никто не думал об еде, и даже пес потерял аппетит.

Часа в три Кристиан получила телеграмму следующего содержания: «Все в порядке, возвращаюсь завтра. Трефри». Прочтя ее, она надела шляпку и вышла из дому. Следом за ней кралась Грета, которая затем, решив наконец, что теперь ее пошлют обратно, догнала Кристиан и потянула ее за рукав.

— Возьми меня с собой, Крис... я буду молчать.

Сестры пошли рядом. Через несколько минут Кристиан сказала:

— Я хочу забрать и сохранить его картины.

— Ой, — робко пискнула Грета.

— Если ты боишься, — сказала Кристиан, — то лучше возвращайся домой.

— Я не боюсь, Крис, — кротко вымолвила Грета.

Сестры не разговаривали, пока не вышли на дамбу. Над виноградными лозами плясали жаркие струйки воздуха.

— На винограднике солнечные феи, — бормотала про себя Грета.

Возле старого дома они остановились, и Кристиан, учащенно дыша, толкнула дверь. Она не подалась.

— Погляди! — сказала Грета. — Она привинчена!

Она указала розовым пальчиком на три винта. Кристиан топнула ногой.

— Нам нельзя здесь стоять, — сказала она, — давай присядем на лавочке и подумаем.

— Да, — пробормотала Грета, — давай подумаем.

Крутя локон, она смотрела на Кристиан широко раскрытыми голубыми глазами.

— Я ничего не могу придумать, — сказала наконец Кристиан, — когда ты на меня так смотришь.

— Я думала, — робко сказала Грета, — раз винты ввинчены, то, может быть, нам их надо вывинтить. У Фрица есть большая отвертка.

— На это уйдет много времени, а тут то и дело ходят люди.

— Вечером не ходят, потому что с нашей стороны калитка на ночь запирается.

Кристиан встала.

— Мы придем сюда вечером, как раз перед тем, как запрут калитку.

— Но, Крис, как же мы вернемся?

— Не знаю; мне надо взять картины, вот и все.

— Калитка не очень высокая,— пробормотала Грета.

После обеда сестры пошли в свою комнату. У Греты была с собой большая отвертка Фрица. В сумерки они тихо спустились вниз и выскользнули из дома.

Они подошли к старому дому и, остановившись в тени крыльца, прислушались. Где-то далеко лаяли собаки, да в казарме играли горнисты, но больше ничто не нарушало тишины.

— Быстрее! — прошептала Кристиан, и Грета изо всех своих маленьких сил стала вывинчивать винты. Они поддались не сразу — особенно упрямился третий, пока Кристиан не взяла отвертку и в сердцах не сделала первого оборота.

— Какая свинья... этот винт,— сказала Грета, с угрюмым видом потирая запястье.

Дверь отворилась и захлопнулась за ними со стуком; сестры оказались в сыром полумраке перед винтовой лестницей.

Грета вскрикнула и ухватила за платье сестры.

— Здесь темно,— сказала она прерывистым голосом.— Ой, Крис! Здесь темно!

Кристиан осторожно нащупывала ступеньку, и Грета чувствовала, что ее рука дрожит.

— А вдруг здесь есть сторож! Ой, Крис! А вдруг здесь есть летучие мыши!

— Ты еще совсем ребенок,— дрожащим голосом ответила Кристиан.— Иди-ка ты лучше домой!

Грета всхлипнула в темноте.

— Я не... я не хочу домой, но я боюсь летучих мышей. А ты не боишься, Крис?

— Боюсь,— сказала Кристиан,— но я хочу взять картины.

Щеки ее горели, она вся дрожала. Нашупав нижнюю ступеньку, она вместе с Гретой, цеплявшейся за ее юбку, стала подниматься по лестнице.

Тусклый свет наверху приободрил девочку, которая больше всего боялась темноты. Одеало, которое прежде висело на двери, ведущей на чердак, было сорвано, ничто не закрывало пустой комнаты.

— Вот видишь, здесь никого нет,—сказала Кристиан.

— Да-а,—прошептала Грета, подбежала к окну и прижалась к стене, словно летучая мышь, внушавшая ей такое отвращение.

— Но здесь уже побывали! — сердито воскликнула Кристиан, показывая на осколки гипсового слепка.— И разбили это.

Она стала вытаскивать из угла холсты, натянутые на деревянные, грубо сколоченные подрамники, стараясь захватить как можно больше.

— Помоги мне,—крикнула она Грете.— Скоро станет совсем темно.

Они собрали кипу этюдов и три больших картины, сложили их возле окна и стали разглядывать при слабом сумеречном свете.

— Крис, а они тяжелые,—жалобно сказала Грета,— нам их не унести, и калитка уже заперта.

Кристиан взяла со стола острый нож.

— Я их срежу с подрамников,—сказала она.— Послушай! Что это?

Под окном послышался свист. Сестры, схватив друг друга за руки, опустились на пол.

— Эгей! — крикнул кто-то снизу.

Грета подобралась к окну и осторожно выглянула на улицу.

— Это всего лишь доктор Эдмунд; значит, он еще ничего не знает,—прошептала она.— Я позову его, он уходит!

— Не надо! — вскрикнула Кристиан, схватив сестру за платье.

— Он бы нам помог,—сказала Грета с упреком,— и если бы он был здесь, было бы не так темно.

Щеки Кристиан горели.

— Я не хочу,—сказала она и стала возиться с картиной, пробуя поддеть ножом край холста.

— Крис! Вдруг сюда кто-нибудь придет?

— Дверь завинчена,— рассеянно ответила Кристиан.

— Крис, но мы ведь отвинтили винты, теперь всякий может войти!

Кристиан, подперев рукой подбородок, задумчиво посмотрела на нее.

— Чтобы срезать эти картины осторожно, надо потратить много времени. А может быть, мне даже удастся снять их с подрамников, не срезая. Завинти дверь и иди домой, а я останусь здесь. Утром, когда откроют калитку, придешь пораньше, отвинтишь дверь и поможешь мне унести картины.

Грета ответила не сразу. Наконец она неистово замотала головой.

— Я боюсь,— прошептала она.

— Обе мы не можем оставаться здесь всю ночь,— сказала Кристиан.— Если кто-нибудь подойдет к двери нашей спальни, некому будет откликнуться. Да и через калитку нам эти картины не перекинуть. Кто-то из нас должен идти домой; через калитку ты перелезешь... а там бояться нечего.

Грета стиснула руки.

— Ты очень хочешь взять эти картины, Крис?

Кристиан кивнула.

— Очень, очень?

— Да... да... да!..

Но Грета не трогалась с места и вся дрожала, как дрожит зверек, когда чует опасность. Наконец она встала.

— Я иду,— сказала она упавшим голосом. В дверях она обернулась.

— Если мисс Нейлор спросит меня, где ты, Крис, я чего-нибудь выдумаю.

Кристиан вздрогнула.

— Я совсем забыла об этом... Грета, прости меня! Лучше пойду я.

Грета живенько сделала еще шаг.

— Я умру, если останусь здесь одна,— сказала она.— Я могу сказать ей, что ты спишь, а ты здесь ложишься спать, и тогда это будет правда.

Кристиан обняла ее.

— Прости меня, милая; жаль, что я не могу пойти

вместо тебя. Но если уж придется лгать, то я бы на твоём месте не стала бы хитрить.

— Правда? — с сомнением спросила Грета.

— Да.

«Нет, — сказала про себя Грета, спускаясь по лестнице. — Нет, я скажу по-своему». Она вздрогнула и продолжала в темноте нащупывать ступеньки.

Кристиан прислушивалась, пока не раздался звук завинчивавшихся винтов, грозивший ей опасностью и одиночеством.

Опустившись на колени, она стала отделять холст от подрамника. Сердце её яростно колотилось; при малейшем дуновении ветерка или донесшемся издали шуме она прекращала работу и затаивала дыхание. Поблизости не было слышно ни звука. Она работала, стараясь думать только о том, что именно здесь вчера вечером она была в его объятиях. Казалось, это было так давно! В темноте её овладел смутный ужас, жуткое чувство одиночества. Вспышка решимости, казалось, погасла и уже не согревала её.

Нет, она не годится ему в жены, раз при первом же испытании её изменило мужество! Она стиснула зубы, и вдруг её охватил странный восторг, словно она тоже вступила в жизнь, узнала о себе что-то такое, чего не знала прежде. Она поранила пальцы, но боль была ей даже приятна; щеки горели; дыхание участилось. Теперь её не остановят! Эта лихорадочная работа в темноте была её первым жизненным крещением. Она отделила холсты и, аккуратно скатав их, связала веревкой. Она хоть что-то сделала для него! Этого у неё не отнимешь! Она спасла частицу его души! В эту ночь он стал ей ближе! Пусть делают, что хотят! Она легла на его матрас и вскоре заснула...

Кристиан разбудил Скраф, лизнувший её в лицо. У постели стояла Грета.

— Проснись, Крис! Калитка отперта!

В холодном утреннем свете девочка, казалось, вся светилась теплыми красками, глазенки её блестели.

— Теперь я не боюсь; мы со Скрафом не спали всю ночь, чтобы не пропустить утра... Это было так интересно... Но знаешь, Крис, — закончила она жалобно, — я солгала



«ВИЛЛА РУБИН».



«ВИЛЛА РУБЕИН».

Кристиан обняла ее.

— Пойдем скорей! Там никого нет. А это картины?

Подняв сверток за концы, сестры снесли его вниз и направились со своей ношей, похожей на человеческое тело, по тропинке между рекой и виноградником.

XIX

В тени розовых кустов, растянувшись во весь рост и подложив руку под голову, отнюдь не сном праведницы спала Грета. Пробиваясь сквозь цветы, солнце целовало ее полураскрытые губы и осыпало увядшими лепестками роз. В густой тени лежал сонный Скраф и лениво щелкал зубами, пытаясь поймать муху.

В три часа в сад вышла и мисс Нейлор с корзинкой и ножницами в руках. Подхватив юбки, чтобы не замочить их в лужицах, оставшихся после поливки, она остановилась у куста роз и стала срезать увядшие цветы. У маленькой женщины с посеребренной головой и худощавым смуглым лицом, стоявшей на солнцепеке без зонтика, вид был гордый и независимый.

Когда ножницы ее запорхали среди веточек, она стала разговаривать сама с собой.

— Если бы девушки были такими, как в наше время, ничего подобного не случилось бы. Но может быть, мы не понимаем... прошлое легко забывается.

Она понюхала розу, зарывшись в нее носом и губами.

— Бедная девочка! Как жаль, что его отец простой...

— Фермер,— донесся из-за куста сонный голосок.

Мисс Нейлор вздрогнула.

— Грета! Как ты меня напугала! Фермер... то есть... э... владелец сельской усадьбы!

— У него виноградники... герр Гарц говорил нам, и он не стыдится этого. Почему же жаль, мисс Нейлор?

Мисс Нейлор поджала губы.

— По многим причинам, о которых ты не имеешь представления.

— Вы всегда так говорите,— не отставала обладательница сонного голоса,— и поэтому, когда я захочу выйти замуж, вы тоже пожалеете...

— Грета!— воскликнула мисс Нейлор.— Девочке твоих лет неприлично говорить такие вещи.

— Почему? — спросила Грета.— Потому что это правда?

Мисс Нейлор ничего не ответила ей на это, но с досады срезала свежую, неувядшую розу и, тут же подняв ее, посмотрела на нее с раскаянием. Грета снова заговорила:

— Крис сказала: «Картины теперь у меня, и я все расскажу ей»,— но я скорее скажу, потому что это я солгала.

Мисс Нейлор смотрела на нее, широко раскрыв глаза, сморщив нос и забыв щелкнуть ножницами.

— Вчера вечером,—проговорила Грета,— мы с Крис пошли в мастерскую, чтобы забрать картины, а калитка была заперта, и поэтому я вернулась, чтобы сказать неправду; и когда вы меня спросили, где Крис, я солгала, потому что она была в мастерской всю ночь, и мы со Скрафом не спали всю ночь, а утром принесли картины и спрятали у себя под кроватями, и вот почему мы... так... хотим... спать.

Мисс Нейлор смотрела на нее поверх розового куста, и хотя ей пришлось стать на цыпочки, она и в этом положении умудрялась сохранять достойный вид.

— Меня поражает твое поведение, Грета, а еще больше меня удивляет Кристиан. Все идет вверх дном.

Солнечный лучик запутался в волосах Греты, смотревшей на мисс Нейлор непроницаемым и невинным взглядом.

— Я уверена, что вы любили, когда были молодой,— пробормотала она сонным голосом.

Густо покраснев, мисс Нейлор срезала безупречный бутон.

— И так как вы не замужем, то я думаю...

Ножницы щелкнули.

Грета снова примостилась под кустом.

— По-моему, нехорошо срезать все лучшие бутоны,— сказала она и закрыла глаза.

Мисс Нейлор продолжала смотреть на нее поверх розового куста, но черты ее худощавого лица странным образом смягчились, оно порозовело и помолодело. Услышав, что Грета ровно и глубоко дышит, маленькая гувёр-

нантка поставила свою корзинку и стала прохаживаться по лужайке, а следом за ней ходил недоумевающий Скраф. Тут к ним подошла Кристиан.

Мисс Нейлор молча взяла ее под руку, но ее губы беззвучно открывались и закрывались, словно клюв птицы, подбирающейся к червяку.

Кристиан заговорила первой:

— Мисс Нейлор, я хочу сказать вам...

— О моя дорогая! Я все знаю, Грета уже исповедалась мне.— Она похлопала девушку по руке.— Какой сегодня чудесный день, не правда ли? Вы когда-нибудь видели, чтобы «Пять пальцев» были такими красивыми?

И она указала на величественные вершины «Fünffingerspitze»¹, сверкавшие на солнце, как гигантские кристаллы.

— Мне нравится больше, когда они окутаны облаками.

— Да,— волнуясь, согласилась мисс Нейлор,— в облаках они, безусловно, приятнее. Сейчас у них такой вид, словно они вспотели от жары... Дорогая! — продолжала она, похлопывая Кристиан по руке.— Мы все... то есть, мы все...

Кристиан старалась не смотреть на нее.

— Дорогая,— снова начала мисс Нейлор.— Я глубоко... то есть, я хочу сказать, все мы в свое время... и поэтому, видите ли... так тяжело!

Кристиан поцеловала ее затянутую в перчатку руку. Мисс Нейлор покачала головой, по носу ее скатилась слеза.

— Давайте-ка распутаем клубок шерсти! — как-то особенно весело сказала она.

Примерно полчаса спустя миссис Диси позвала Кристиан в свою комнату.

— Дорогая,— сказала она,— зайди ко мне на минутку; я тебе дам почитать письмо.

Кристиан пошла к миссис Диси как-то по-новому, твердо сжав губы.

Ее тетушка сидела спиной к свету и постукивала полированным ногтем по аквариуму с золотыми рыбками.

¹ «Пик Пяти Пальцев» (нем.).

В комнате было весьма прохладно. Она протянула письмо.

— Твой дядя сегодня не вернется.

Кристиан взяла письмо, написанное мелким неровным почерком; оно было лаконично.

«Ауэр, 6.15.

Дорогая Констанс, сегодня не вернусь. Посылаю Доминика за вещами. Скажи Кристиан, чтобы приехала с ним, сегодня же вечером, если может. Твой любящий брат

Николас Треффри».

— Доминик с экипажем здесь,— сказала миссис Дисси.— Ты еще успеешь на поезд. Поцелуй за меня дядюшку. Я хочу, чтобы ты взяла с собой Барби.— Она встала с кресла и протянула Кристиан руку.— Дорогая! У тебя очень усталый вид... очень! Почти больной! Мне не нравится, как ты выглядишь. Подойди!

Она вытянула свои бледные губы и поцеловала девушку в еще более бледную щеку.

Когда Кристиан вышла из комнаты, она опустилась в кресло, сморщила лоб и стала томно разрезать журнал. «Бедняжка Кристиан! — подумала она.— Как тяжело она переживает все это! Мне жаль ее, но, пожалуй, это подготовит ее к тому, что может случиться. Психологически это интересно».

Вещи Кристиан уже были упакованы, и Доминик с Барби ждали ее. Несколько минут спустя они уже ехали к станции. Кристиан усадила Доминика напротив.

— Рассказывайте,— попросила она его.

У Доминика поднялись брови, и он виновато улыбнулся.

— Мадмуазель, мистер Треффри велел мне держать язык за зубами.

— Но мне-то вы можете сказать, Доминик. Барби ничего не поймет.

— Вам, пожалуй, мадмуазель,— сказал Доминик тоном человека, примирившегося со своей судьбой.— Ведь вы сейчас же забудете обо всем, что услышите. Мой хозяин плох, у него ужасно болит здесь, у него кашель, он совсем плох, совсем плох.

Девушку охватил страх.

— Мы ехали всю ночь,— продолжал Доминик.— Утром мы приехали. Сеньор Гарц пошел по выючной тропе; он доберется до Италии... он уже в Италии. А мы остановились в Сан-Мартино, хозяин лег спать. Мы вовремя добрались, и то я еле раздел его, так у него распухли ноги. К вечеру приехал верхом сеньор из полиции, весь красный, потный; я ему соврал, что мы были в Паневеджо, а так как мы туда и не заезжали, то он вернулся оттуда злой... *Mon Dieu!*.. злой, как черт. Мне было лучше не попадаться ему на глаза, и пока он разговаривал с хозяином, я не входил туда. Но они много кричали. Я не знаю, что там было, только наконец сеньор из полиции выскочил из комнаты хозяина и уехал.— Лицо Доминика застыло в сардонической ухмылке; он почесывал пальцем одной руки ладонь другой.— Мистер Трефри после этого приказал мне принести виски, но у него не осталось денег, чтобы заплатить по счету,— это уж я точно знаю, пришлось заплатить самому. А сегодня, мадмуазель, я одел его, и мы очень медленно доехали до Ауэра; дальше он ехать не мог и слег. Он очень болен.

Кристиан овладели тяжелые предчувствия; остаток пути они ехали молча, и только Барби, деревенская девушка, в восторге от путешествия по железной дороге вздыхала: «*Ach! Gnädiges Fräulein!*¹» — и посматривала на Кристиан сияющими глазами.

Как только они прибыли в маленькую гостиницу, Кристиан пошла к дяде. У него в комнате были завешаны окна и пахло воском.

— А, Крис,— сказал он,— рад тебя видеть.

Облаченный в голубой фланелевый халат, с ногами, укутанными в плед, он лежал на кушетке, удлиненной с помощью стульев. Он протянул руку — вены на запястье, не прикрытом слишком коротким рукавом халата, были вздуты. Кристиан, поправляя подушки, с тревогой смотрела ему в глаза.

— Я не совсем здоров, Крис,— сказал мистер Трефри.— Мне как-то не по себе. Завтра я поеду вместе с тобой домой.

— Дядя, позвольте мне послать за доктором Дони.

— Нет, нет! Он мне успеет надоесть, когда я вернусь

¹ Ах, барышня! (нем.)

домой. Для врача он человек очень неплохой, только я терпеть не могу его супчиков... одни кашки да супчики, а поверх всего эти мерзкие лекарства! Пошли ко мне Доминика, девочка. Надо привести себя в порядок! — Он потрогал небритую щеку и запахнул халат на груди. — Взял у хозяина. Когда вернешься, кое о чем поговорим.

Час спустя, когда она вошла к нему в комнату, он спал. Прислушиваясь к его неровному дыханию, она старалась догадаться, о чем он собирался говорить с ней.

У него совсем больной вид! И вдруг ей пришло в голову, что мысли ее заняты совсем не им... Ведь это он возил ее на спине, когда она была совсем маленькой; это он делал ей бумажные треуголки и лодочки; это он учил ее править лошадьми; это у него она сидела на коленях; это он делал подарки без счета и получал в благодарность поцелуи. И теперь он болен, а она думает о другом! Он был для нее олицетворением всего самого дорогого, самого близкого, и все же перед глазами ее стоял образ другого.

Вдруг мистер Треффри проснулся.

— Уж не спал ли я? Кровати здесь чертовски жесткие.

— Дядя Ник, вы мне не скажете, что с ним?

Мистер Треффри взглянул на нее, и Кристиан, не выдержав его взгляда, опустила глаза.

— Он благополучно добрался до Италии; полицейские гнались за ним не очень усердно — сколько лет прошло! От взятки они не отказались. А теперь послушай меня, Крис!

Кристиан подошла поближе, он взял ее за руку.

— Мне бы хотелось, чтобы ты все-таки подумала. Дело не в положении, дело не в деньгах, потому что, в конце концов, у меня всегда найдется... — Кристиан отрицательно покачала головой. — Но, — настаивал он дрожащим голосом, — дело в том, что вы люди разного происхождения, а это серьезная вещь, дело в этом анарх... политическом заговоре, дело в разном образе жизни, а это тоже серьезная вещь, и наконец то, к чему я клоню, Крис... дело в самом человеке!

Кристиан отдернула руку. Мистер Треффри продолжал:

— Ну, что ж... Я человек старый и люблю тебя, но

я должен высказать все, что у меня на уме. Он смелый, он сильный, он серьезный, но у него чертовски горячий норов, он эгоист, и... и тебе нужен не такой муж. Если ты выйдешь за него, то пожалеешь, помани мое слово. Ты вся в отца, а он был прекрасным человеком, но слишком мягким. С Гарцем вы как земля с железной рудой будете — сколько их не смешивай, все равно врозь!

Он откинул голову на подушки и, протянув руку, сказал печально:

— Поверь мне, дорогая, тебе нужен не такой муж.

Кристиан, отводя глаза, тихо сказала:

— В этом я могу верить только себе.

— Ага! — пробормотал мистер Треффри. — Ты довольно упряма, но упрямство — это еще не сила характера. Ради него ты пожертвуешь всем, ты будешь молиться на него, но первой скрипки в его жизни тебе никогда не играть. Он всегда будет занят самим собой и своей работой, или как он там еще называет свое малевание картин, и в один прекрасный день ты поймешь это. Ты разочаруешься, и, уж само собой разумеется, я не желаю тебе этого, Крис.

Он вытер лоб, на котором выступили капельки пота.

— Вы не понимаете, — сказала Кристиан, — вы не верите в него, вы не можете понять этого. Пусть для него будет главной работа, а не я... пусть я посвящу ему мою жизнь, а он не сможет отплатить мне тем же... мне все равно! Он даст мне то, что может, и мне не надо большего. Если вы боитесь за меня, дядя, если вы думаете, что жизнь у меня будет слишком тяжелой...

Мистер Треффри кивнул.

— Думаю, Кристиан.

— Да, но я не хочу больше жить в теплице, я хочу узнать настоящую жизнь. А если мне придется плохо, то кому какое до этого дело.

Мистер Треффри запустил пальцы в бороду.

— Ага! Вот именно!

Кристиан опустилась на колени.

— Ах, дядя! Я страшная эгоистка!

Мистер Треффри погладил ее по щеке.

— Я попробую вздремнуть, — сказал он.

Проглотив подкативший к горлу комок, она тихонько вышла из комнаты.

Волей случая мистер Трефри вернулся на виллу Рубейн в тот самый момент, когда герр Пауль, облачившись в слишком яркий голубой костюм, собрался отбыть в Вену.

Увидев появившийся между тополями экипаж, он приуныл, словно нашкодивший мальчишка. Сунув шляпную коробку Фрицу, он, однако, вовремя оправился и, пока мистеру Трефри помогали войти в дом, весело насвистывал. Он уже давно забыл о своем гневе и теперь заботился только о том, как бы загладить последствия своего поступка; в пристыженных взглядах, которые он бросал на Кристиан и своего шурина, казалось, можно было прочесть мольбу: «Ради бога, не напоминайте мне об этой истории! Вы же видите, ничего страшного не произошло!»

Он подошел к приехавшим.

— O! Mon cher! ¹ Так вы вернулись; теперь я отложу свой отъезд. Вене придется подождать меня... бедная Вена!

Но заметив, что мистер Трефри от слабости еле двигается, он искренне огорчился:

— Что случилось? Вы больны? Боже!

Исчезнув минут на пять, он вернулся со стаканом светлой жидкости.

— Вот! — сказал он. — Помогает от подагры, от кашля, от чего угодно!

Мистер Трефри понюхал, осушил стакан и обсосал усы.

— Ага! — сказал он. — Безусловно помогает! Только удивительно смахивает на джин, Пауль. — Затем, повернувшись к Кристиан, добавил. — А ну, подайте друг другу руки!

Кристиан перевела взгляд с дяди на отчима и наконец протянула руку герру Паулю, который обмахнул ее усами, а потом, когда девушка выходила из комнаты, ошеломленно посмотрел ей вслед.

— Дорогой мой! — начал он. — И вы поддерживаете ее в этой отвратительной истории! Вы забываете о моем

¹ Дорогой мой (франц.).

положении, вы делаете из меня посмешище. В собственном доме я был вынужден слечь в постель, да, да, буквально слечь в постель, чтобы не казаться смешным.

— Послушай, Пауль,— сердито сказал мистер Треффри.— Читать нотации Крис имею право только я.

— В таком случае,— саркастически заявил герр Пауль,— я уезжаю в Вену.

— Можешь ехать хоть к черту! — сказал мистер Треффри.— И вот, что я тебе скажу... по-моему, это была низость — натравливать полицию на этого юношу... низость и подлость.

Герр Пауль тщательно разделил свою бороду надвое, присел на самый краешек кресла и, положив руки на расставленные колени, сказал:

— Я уже сожалею об этом, *mais que diable!*¹ Он назвал меня трусом... фу, как жарко!.. а я до этого выпил в Кургаузе... я же ее опекун... вся эта история отвратительна... потом еще выпил... я был немного... *enfin!* — Он пожал плечами.— *Adieu*², дорогой мой; я задержусь немного в Вене; мне надо отдохнуть! — Он встал и пошел к двери, потом обернулся и помахал сигарой.— *Adieu!* Будьте пайнкой, поправляйтесь! Я куплю вам в Вене сигар.

И уходя, он захлопнул за собой дверь, чтобы последнее слово осталось за ним.

Мистер Треффри откинулся на подушки. Тикали часы, на веранде ворковали голуби, где-то открылась дверь и на мгновение послышался детский голосок. Мистер Треффри понурил голову: поперек его мрачного, морщинистого лица легла узкая полоска солнечного света.

Часы вдруг перестали тикать, и по загадочному совпадению голуби на веранде, затрещав крыльями, улетели. Мистер Треффри от неожиданности сделал неловкое движение. Он попытался встать и дотянуться до звонка, но не мог и сел на край кушетки. Со лба его скатывались капли пота, руки терзали грудь. Во всем доме не было слышно ни звука. Он посмотрел по сторонам, попытался позвать на помощь, и опять не хватило сил. Он снова

¹ Но какого черта! (франц.)

² До свидания (франц.).

безуспешно пытался дотянуться до звонка, потом сел, и в голову ему пришла мысль, от которой он похолодел.

— Крышка мне,— бормотал он.— Черт побери! Думаю, на этот раз мне крышка!

Позади него раздался голос:

— А ну-ка, давайте покажемся, сэр!

— А! Доктор, помогите, будьте добры.

Дони подложил ему под спину подушки и расстегнул рубашку. Так как мистер Трефри не отвечал на его вопросы, он в тревоге потянулся к звонку. Мистер Трефри знаком остановил его.

— Посмотрите сперва, что со мной,— сказал он.

Когда Дони осмотрел его, он спросил:

— Ну?

— Что ж,— медленно произнес Дони,— конечно, прихворнули немного.

— Выкладывайте, доктор, говорите прямо,— хриплым шепотом произнес мистер Трефри.

Дони наклонился и нащупал пульс.

— Не знаю, как вы довели себя до такого состояния, сэр! — сказал он грубовато.— Положение скверное. Это все та же старая болезнь, и вы не хуже меня знаете, что это значит. Могу сказать вам только, что отступить перед ней я не собираюсь и сделаю все, что в моих силах, даю слово.

— Я хочу жить.

— Да... да.

— Сейчас я чувствую себя лучше; не поднимайте шума. Было бы очень некстати умереть именно сейчас. Ради моей племянницы, почините меня хоть кое-как.

Дони кивнул.

— Погодите минутку, мне кое-что понадобится,— сказал он и вышел.

Немного погодя на цыпочках вошла Грета. Она наклонилась над мистером Трефри, и ее волосы коснулись его лица.

— Дядя Ник! — шепнула она. Он открыл глаза.

— Здравствуй, Грета!

— Я пришла поцеловать вас, дядя Ник, и попрощаться. Папа говорит, что я, Скраф и мисс Нейлор поедем в Вену вместе с ним; нам пришлось собраться за

полчаса: через пять минут мы уезжаем в Вену, а я там никогда не была, дядя Ник.

— В Вену!—медленно повторил мистер Треффри.—Не берите там гида; они все мошенники.

— Ни за что, дядя Ник,— торжественно пообещала Грета.

— Отдерни шторы, милая, дай взглянуть на тебя. Смотри ты, какая щеголиха!

— Да,— сказала Грета со вздохом, трогая пальцем пуговицы на своей пелеринке,— это потому, что я еду в Вену; но мне очень не хочется уезжать от вас, дядя Ник.

— Правда?

— Но с вами остается Крис, а вы любите Крис больше, чем меня, дядя Ник.

— Я просто дольше с ней знаком.

— Может быть, когда мы будем знакомы так же долго, вы и меня будете так же любить.

— Может быть... когда мы будем знакомы так же долго.

— Пока меня не будет, дядя Ник, вам надо поправиться. Знаете, вы не совсем здоровы.

— С чего это ты взяла?

— Если бы вы были здоровы, вы бы курили сигару... сейчас как раз три часа. Это поцелуй от меня, это за Скрафа, а это за мисс Нейлор.

Она выпрямилась, вид у нее был серьезный, и только глаза и губы выдавали радость, клокотавшую в ней.

— До свиданья, милая, береги себя и не бери гида, они мошенники.

— Хорошо, дядя Ник. Экипаж уже подали! В Вену, дядя Ник!

Матовое золото ее волос сверкнуло в дверях. Мистер Треффри приподнялся на локте.

— Поцелуемся еще раз, на счастье!

Грета прибежала обратно.

— Я вас очень люблю!— сказала она и, поцеловав его, медленно попятилась, потом повернулась и выпорхнула, как птичка.

Мистер Треффри остановил взгляд на закрывшейся двери.

Много дней стояла жаркая и тихая погода, а потом подул ветер, поднимавший пыль на пересохших дорогах. Листья трепетали, как крохотные крылышки. Вокруг виллы Рубейн беспокойно ворковали голуби, а другие птицы молчали. Под вечер Кристиан вышла на веранду и стала читать письмо.

«Дорогая Крис, прошло уже шесть дней, как мы здесь. Вена очень большой город, и в нем много церквей. И потому мы в первую очередь побывали в очень многих церквях, но самой красивой из них оказался не собор святого Стефана, а другой, только я забыла, как он называется. Папа по вечерам почти не бывает дома; он говорит, что приехал отдыхать, и потому не может ходить с нами по церквям, но я не думаю, чтобы он слишком много отдыхал. Позавчера мы, то есть папа, я и мисс Нейлор, поехали на выставку картин. Она была вполне красивая и интересная (мисс Нейлор говорит, что нельзя сказать «вполне красивая», но я не знаю, каким словом заменить «вполне», потому что мне надо написать «вполне», а не «очень», и не «совсем»). Ой, Крис! Там была одна картина, которую написал он. На ней какой-то корабль без мачт (мисс Нейлор говорит, что это баржа, но я не знаю, что такое баржа), он весь горит и плывет по реке в тумане. Я думаю, что картина очень красивая. Мисс Нейлор говорит, что она очень импрессионистская. (Что это такое?) А папа сказал «фу», но он не знал, что картину нарисовал герр Гарц, а я не сказала ему об этом.

В нашей гостинице также остановился тот самый граф Сарелли, который как-то обедал у нас, но теперь он уже уехал. Он сидел по целым дням в зимнем саду и читал, а по вечерам уходил с папой. Мисс Нейлор говорит, что он несчастный, а я думаю, что он просто мало гуляет на свежем воздухе, и, Крис, однажды он сказал мне: «Мадмуазель, это ведь ваша сестра — девушка в белом платье? Она всегда носит белые платья?» — а я сказала ему: «Она не всегда в белом платье, на картине она в зеленом, потому что картина называется «Весна». Но я не стала говорить ему, какого цвета платья у тебя есть еще,

потому что у него был очень усталый вид. Потом он сказал мне: «Она очаровательна». Я тебе рассказываю это, Крис, потому, что, думаю, тебе это интересно знать. У Скрафа распух палец, потому что он объелся мясом.

Я по тебе очень соскучилась, Крис. Мисс Нейлор говорит, что я здесь пополняю свое образование, но я думаю, что я его не очень пополняю, потому что я больше всего люблю вечера, когда зажигаются огни в витринах и мимо проезжают экипажи, и тогда мне хочется танцевать. В первый вечер папа сказал, что возьмет меня в театр, а вчера он сказал, что в театр мне ходить вредно; может, завтра он снова подумает, что это полезно.

Вчера мы были в Пратере¹ и видели много людей и некоторых папиных знакомых, а потом началось самое интересное: мы сидели под деревьями, потому что целых два часа шел дождь, а мы не могли найти экипажа, и я очень радовалась.

Здесь есть одна молодая дама, только теперь она уже не очень молодая, которая знала папу, когда он был еще мальчиком. Мне она очень нравится, скоро она будет знать обо мне все-все, и она очень добрая.

Больному мужу кухни Терезы, которая ездила с нами в Меран и потеряла свой зонтик, и тогда еще доктор Дони очень огорчился из-за этого, стало еще хуже, и поэтому она не здесь, а в Бадене. Я написала ей, но не получила ответа, и я не знаю, жив ли он еще или нет, во всяком случае, он так скоро не мог поправиться (и я думаю, никогда не поправится). Так как погода очень теплая, то я думаю, что вы с дядей Ником много времени проводите на воздухе. Посылаю тебе подарки в деревянном ящике, он крепко завинчен, так что тебе придется опять воспользоваться большой отверткой Фрица. Посылаю тете Констанс фотографии, дяде Нику — зеленую птицу на подставке с дыркой в спине, чтобы стряхивать туда пепел; она красивого зеленого цвета и недарагая, пожалуйста, скажи ему, потому что он не любит дорогих подарков (мисс Нейлор говорит, что у птицы в глазах любопытство — это попугай); тебе маленькую брошку из бирюзы, потому что бирюза мне нравится больше всех; доктору Эдмунду — весы для лекарства, потому

¹ Парк в Вене.

что он сказал, что не может купить хорошие весы в Боцене; а эти очень хорошие, мне так сказал хозяин магазина, и самые дарагие из всех подарков — вот и все мои деньги, только два гульдена осталось. Если папа даст мне еще, я куплю мисс Нейлор зонтик, потому что он полезный, а у ее зонтика ручка «разболталась» (это словечко доктора Эдмунда, и мне оно нравится).

Пока все, до свиданья, целую, Грета.

Р. S. Мисс Нейлор прочла все это письмо (кроме того места, где написано про зонтик), и в нем есть несколько мест, которые, как она считает, мне не надо было писать, поэтому я переписала письмо без этих мест, но потом оставила себе то, что переписала, поэтому письмо такое грязное и некоторые слова написаны с ошибками, но зато здесь есть все места».

Читая письмо, Кристиан улыбалась, но, кончив читать, помрачнела, словно потеряла любимый талисман. Внезапный порыв ветра взметнул ее волосы, а из дома донесся кашель мистера Трефри, потонувший в шуме листвы. Небо быстро темнело. Она вошла в дом, взяла перо и стала писать.

«Друг мой, почему вы не пишете? Когда ждешь, время тянется очень долго. Дядя говорит, что вы в Италии,— как ужасно, что я не знаю этого наверняка. Думаю, вы написали бы, если бы могли; и невольно в голову приходят всякие страшные мысли. Мне очень тяжело сейчас. Дядя Ник болен; он не признается в этом, такой уж он человек; но он очень болен. Быть может, вы никогда не увидите этого письма, но мне все равно надо записать свои мысли. Временами я чувствую, что я совсем бездушна, если все время думаю о вас, строю планы, как нам снова увидаться, когда он так опасно болен. Он всегда был очень добр ко мне; как это ужасно, что любовь причиняет такие терзания. Ведь любовь должна быть красивой и спокойной, а не вызывать злые, дурные мысли. Я люблю вас... и я люблю его; у меня такое чувство, будто меня разорвали на две части. Разве так должно быть? Почему начало новой жизни должно означать конец прежней, новая любовь — смерть прежней? Не понимаю. Моя любовь к нему похожа на мою

любовь к вам — то же взаимное понимание, то же доверие... и все же иногда из-за любви к вам я чувствую себя преступницей. Вы знаете его мнение... он глубоко честен и, конечно, не утаил его от вас. Он разговаривал со мной; пожалуй, вы ему нравитесь но, по его словам, вы чужой, мы с вами живем в разных мирах. «Тебе нужен не такой муж!» Вот его слова. А теперь он не говорит со мной, но когда я в комнате, он только смотрит на меня, и это хуже в тысячу раз; когда он говорит, во мне сразу возникает дух противоречия... Когда же я вижу только его глаза, я сразу становлюсь трусихой; я чувствую, что сделаю все, абсолютно все, лишь бы не причинять ему боли. Почему он не может понять? Не потому ли, что он стар, а мы молоды? Он может уступить, но он никогда, никогда не поймет; это будет всегда причинять ему боль.

Я хочу сказать вам все; у меня были и более дурные мысли, чем эти: иногда мне приходит в голову, что у меня не хватит мужества принять участие в той борьбе, которую приходится вести вам. И тогда я чувствую себя надломленной, у меня появляется такое ощущение, будто что-то оборвалось во мне. Потом я начинаю думать о вас, и все проходит; но такие минуты бывают, и мне стыдно... я же говорила вам, что я трусиха. Словно надо уйти от теплого очага в ночь, в бурю, но только она грозит не телу, а душе... и от этого еще хуже. Надо было рассказать вам все; но не тревожьтесь: я непременно переборю себя и постараюсь забыть эти мысли навсегда. Но дядя Ник... Как мне быть? Я ненавижу себя за то, что я молода, а он стар и слаб... иногда мне даже кажется, что я ненавижу его. Я все думаю... и под конец всегда, словно черный провал на пути, появляется мысль, что мне следует порвать с вами. Должна ли я? Скажите мне. Я хочу знать, я не хочу поступать дурно; да, я по-прежнему не хочу этого, хотя временами мне кажется, что во мне не осталось ничего хорошего.

Помните, как однажды в разговоре вы сказали: «Природа всегда дает ответ на любой вопрос; ни законы, ни обычаи, ни теории, ни слова не дают ответа — его можно найти только у Природы. Скажите, должна ли я быть с вами, несмотря ни на что? Согласно ли это с Природой, и, следовательно, так и нужно поступить? Наверно, вы скажете, что нужно. Но разве может Природа требовать,

чтобы я причиняла жестокие страдания тому, кого я люблю и кто любит меня? Если это так, то Природа жестока. Может быть, это один из «уроков жизни»? Может быть, именно это подразумевает тетя Констанс, когда говорит: «Если бы жизнь не была парадоксом, жить было бы невозможно»? Я начинаю понимать, что у всего есть своя обратная сторона; прежде я в это не верила.

Дядю Ника страшит, что я столкнусь с жизнью; он не понимает, как можно жить без денег (и как ему это понять? У него всегда были деньги). Это ужасно, что из-за случайности, давшей деньги нам, а не вам, наши жизни сложились так по-разному. Иногда я сама боюсь, и поэтому не могу побороть страха в нем; он видит, что я заражаюсь этим страхом... глаза его, кажется, читают в моей душе все; самое печальное на свете — это глаза стариков. Я пишу, как жалкая трусиха, но я думаю, что вы никогда не увидите этого письма, так что все равно; но если вы прочтете его, а я всем сердцем хочу этого, то вот: если вы любите во мне только лучшее, значит, я недостойна вашей любви. Я хочу, чтобы вы знали все, что во мне есть плохого... только вы, и больше никто.

С отчимом у меня все складывается совсем не так, как с дядей Ником; его противодействие только приводит меня в неистовство, вызывает злобу, готовность пойти на все, а вот с дядей Ником это все так тяжело, так мучительно... Он сказал: «Дело не в деньгах, потому что деньги у меня всегда найдутся». Я бы никогда не смогла сделать то, что ему не по душе, а после этого взять его деньги, да и вы не позволили бы мне. Мы так мало знаем о жизни, пока не приходит беда. Вот так же с цветами и деревьями: ранней весной они кажутся такими спокойными и сдержанными, а потом вдруг преображаются... мне кажется, что с сердцем происходит то же самое. Прежде я думала, что знаю все и понимаю все причины и следствия; я думала, что сохранить самообладание и рассудочность очень легко; теперь же я не понимаю ничего. И мне ни до чего нет дела, лишь бы видеть вас и не чувствовать на себе взгляда дяди Ника. Еще три месяца тому назад я не знала вас, а теперь пишу такое письмо. Что бы я ни видела, я на все

стараюсь смотреть вашими глазами; я знаю (и теперь даже больше, чем тогда, когда вы были со мной), о чем бы вы подумали, как бы вы отнеслись к тому или иному. Некоторые вещи, сказанные вами, кажется, навсегда остались в памяти моей, как огоньки...»

Нескончаемый косой дождь с неприятным шипеньем хлестал по черепице веранды. Кристиан закрыла окно и пошла в комнату дяди.

Он лежал с закрытыми глазами и ворчал на Доминика, который бесшумно двигался по комнате, прибирая ее на ночь. Потом он с поклоном удалился, бросив со-страдательный взгляд на мистера Треффри, который открыл глаза и сказал:

— Своим мерзким снадобьем доктор доводит меня до белого каления. Как выпью, не могу не браниться. Ну и пакость! Как смех вульгарной женщины, а мерзостней нет ничего на свете!

— Я получила письмо от Греты, дядя Ник. Прочешь его?

Мистер Треффри кивнул, и Кристиан прочла письмо, опустив упоминание о Гарце и по какой-то неосознанной причине ту часть, в которой говорилось о Сарелли.

— Да! — сказал мистер Треффри со слабым смешком. — Финансов у Греты маловато! Пошли ей, Кристиан. Хотел бы я снова стать мальчишкой, но только, как говорится в одной из подлейших пословиц, всякому овощу свое время. Поехать бы снова порыбачить на западное побережье. Хорошо нам жилось, когда мы были мальчишками. Нынешние уже не умеют так развлекаться. Редко когда рыбацьи лодки выходили в море без нас. Мы наблюдали за их огнями из окна спальни; только начнут покачиваться, а мы уже тут как тут у причала. Рыбаки всегда дожидались нас, но больше всех они любили твоего дядю Дэна, считали, что он приносит удачу. Когда я встану на ноги, может, мы с тобой съездим туда, а? Ненадолго, только поглядеть? Ну как, моя девочка?

Взгляды их встретились.

— Мне бы хотелось поглядеть на огоньки рыбацких лодок, выходящих в море темной ночью; жаль, что ты у меня моряк никуда не годный, а то бы мы могли от-

правиться с ними. Это пошло бы тебе на пользу! Что-то ты у меня, милая, выглядишь не совсем, как надо.

Голос его тоскливо замер, а взгляд, скользнув по лицу Кристиан, остановился на руках, теребивших письмо Греты. Помолчав минуты две, он вдруг снова заговорил неожиданно громко:

— Твоя тетка непременно захочет прийти и посидеть со мной после обеда; не пускай ее, Крис, я этого не выношу. Скажи, что я сплю. Сейчас будет доктор, попроси его придумать какую-нибудь отговорку — он, наверно, на это мастак, недаром он врач.

От внезапного приступа острой боли у него перехватило дыхание. Когда боль прошла, он махнул Кристиан рукой, чтобы она оставила его одного. Кристиан пошла в другую комнату, где лежало ее письмо, и прежде чем раздался гонг, звавший ее обедать, приписала:

«Я как лист на ветру; только я протягиваю к чему-нибудь руку, как ее схватывают, скручивают и отбрасывают. Вы нужны мне... нужны сейчас же, если бы мы были вместе, мне кажется, я знала бы, как быть...»

XXII

Ливень неистовствовал все пуще. Ночь была очень темная. Николас Треффри погрузился в беспокойный сон. Ночник у его кровати бросал на противоположную стену пятно света, изрезанное по краям тенью абажура. Кристиан склонилась над больным. В этот момент сердце ее принадлежало ему, такому жалкому, такому беспомощному. Боясь разбудить его, она тихонько вышла в гостиную. За дверью, прижавшись лицом к стеклу, стоял человек. Сердце ее глухо забилося, она подошла и отперла дверь. Это был Гарц. С него капала дождевая вода. Он сбросил плащ и шляпу.

— Вы! — сказала она, трогая его за рукав. — Вы! Вы!

Он насквозь промок, лицо у него было осунувшееся, усталое, темная поросль бороды покрыла подбородок и щеки.

— Где ваш дядя? — спросил он. — Я хочу его видеть.

Она приложила палец к его губам, а он схватил ее руку и покрыл поцелуями.

— Он спит... болен... говорите потише!

— Я пришел к нему первому,— пробормотал он.

Кристиан зажгла лампу, и он молча пожирал ее глазами.

— Больше так жить невозможно; я пришел, чтобы сказать это вашему дяде. Он настоящий человек. До того, другого, мне нет никакого дела. Я вернулся пешком через горы, Кристиан, я больше не могу...

Она протянула ему свое письмо. Вытирая со лба капли дождя, он поднес его к свету. Прочитав письмо, он вернул его и прошептал:

— Ты должна быть со мной!

Губы ее шевелились, но она ничего не сказала.

— В таком состоянии я не могу работать; я ничего не могу делать. Но я не могу... не хочу рисковать своим творчеством ради этого; если так пойдет и дальше, то пусть лучше все кончится. Чего мы ждем? Рано или поздно мы придем к этому. Мне очень жаль, что он болен. Но это ничего не меняет. Ожидание связывает меня по рукам и ногам... я начинаю бояться! Страх губит человека! Он погубит вас! Он губит творческую энергию, а я должен работать, я не могу понапрасну терять время... я не буду его терять! Я скорее откажусь от вас! — Он положил руки на плечи Кристиан.— Я люблю вас! Я хочу, чтобы вы были моей. Поглядите мне в глаза и поймите, что ждать больше нельзя!

Он стискивал своими сильными руками ее плечи, а она стояла неподвижно. Лицо ее было смертельно бледным. И вдруг он стал целовать это бледное, застывшее лицо, целовать глаза и губы, целовать подбородок, щеки, лоб, но оно оставалось бледным, как белый цветок... как белый цветок, чей стебелек согнули пальцы.

В стену постучали, слышался тихий голос мистера Треффри. Кристиан отстранилась от Гарца.

— До завтра,— прошептал он ей, подобрав шляпу и плащ, ушел в дождь.

XXIII

Только под утро Кристиан забылась тревожным сном. Во сне ее звал чей-то голос, ее сковал невыразимый ужас, какой бывает только во сне.

Когда она проснулась, в окна уже вливались потоки света. Было воскресенье, и звонили соборные колокола. Ее первая мысль была о Гарце. Один шаг, один смелый шаг! Почему она не сказала дяде? Если бы только он спросил ее! Но почему... почему она должна говорить ему? Когда все кончится и она уедет, он поймет, что все к лучшему.

Взгляд ее упал на пустую кровать Греты. Она вскочила и, наклонившись, поцеловала подушку. «Сначала она будет переживать, но ведь она еще совсем девочка! Кроме дяди Ника, я никому не нужна по-настоящему!» Она долго стояла у окна без движения. Одевшись, она позвала горничную:

— Принесите мне молока, Барби; я хочу пойти в церковь.

— Ach, gnädiges Fräulein, вы не будете завтрак иметь?

— Нет, спасибо, Барби.

— Liebes Fräulein, какое красивое утро после дождя стало! Как прохладно! Для цвета лица полезно, теперь ваши щеки расцветут опять!

И Барби погладила собственные румяные щеки.

Доминик, гревшийся на солнце, с салфеткой, перекинутой через руку, поклонился Кристиан и приветливо улыбнулся.

— Сегодня утром ему лучше, мадмуазель. Мы выправ... мы поправляемся. От хорошей новости и у вас на душе будет спокойней.

Кристиан подумала: «Какие сегодня все милые!»

Казалось, даже вилла, освещенная косыми лучами солнца, приветствовала ее, даже деревья, трепещущие и проливающие золотые слезы. В соборе служба еще не начиналась, но кое-где уже были видны коленопреклоненные фигуры; а в воздухе держался застоявшийся тошнотворный запах ладана; в глубине собора бесшумно двигался священник. Кристиан опустилась на колени, и когда она наконец встала, служба уже началась. С первыми же звуками речитатива на нее снизошла умиротворенность — умиротворенность принятого решения. На счастье ли, на горе, но она знала: судьба ее решена.

Кристиан вышла из церкви, лицо ее было безмятежно счастливым. Она пошла домой по дамбе. Возле ма-

стерской Гарца она присела на скамью. Теперь... это ее собственное, как и все, что принадлежит ему, все, что имеет хоть какое-нибудь отношение к нему.

Тихо приблизился старый нищий, давно следивший за ней.

— Милостивая госпожа! — сказал он, заглядывая ей в глаза. — Сегодня у вас счастливый день, а я потерял свое счастье.

Кристиан открыла кошелек, но там была только одна монета — золотой. Глаза нищего заблестели.

И вдруг она подумала: «Это уже не мое; надо уже экономить», — но при взгляде на старика ей стало стыдно.

— Простите, — сказала она, — вчера я отдала бы вам это, но... теперь эти деньги уже не мои.

Он был такой старый и бедный, а что она могла ему дать? Она отстегнула маленькую серебряную брошь.

— Вам что-нибудь дадут за нее, — сказала она, — это все же лучше, чем ничего. Мне вас очень жаль, вы такой старый и бедный.

Нищий перекрестился.

— Милостивая госпожа, — пробормотал он, — дай бог вам никогда не знать нужды!

Кристиан поспешила отойти, последние слова его потонули в шорохе листьев. Идти домой не хотелось, и она, перейдя через мост, стала взбираться на холм. Дул легкий ветерок, гнавший облака по небу. По стенам сновали ящерки, увидев ее, они скрывались в щелях.

Солнечные лучи, пробиваясь сквозь кроны деревьев, сверкали в потоке. Земля благоухала, сверкали зеленую виноградники вокруг белых домиков; казалось, все радовалось и плясало от избытка жизненных сил, словно была весна, а не середина лета. Кристиан все шла вперед, не понимая, почему она чувствует себя такой счастливой.

«Неужели я бессердечна? — думала она. — Я собираюсь оставить его... я вступаю в жизнь. Теперь мне придется бороться и нельзя будет оглядываться назад!»

Тропинка запетляла вниз, к ручью, и оборвалась; на другом берегу она появилась снова и затерялась среди деревьев. В лесу было сыро, и Кристиан поспешила домой.

У себя в комнате она стала укладываться, просматривать и рвать старые письма. «Важно только одно,— думала она,— твердая решимость: надо иметь цель и стремиться к ней изо всех сил».

Она подняла голову и увидела Барби, которая с испуганным лицом стояла перед ней, держа в руках полотенце.

— Вы уезжаете, gnädiges Fräulein?

— Я выхожу замуж, Барби,— сказала Кристиан.— Пожалуйста, не говорите об этом никому.

Барби прижала полотенце к лифу своего голубого ситцевого платья.

— Нет, нет! Я не скажу. Но, дорогая фрейлейн, это очень важное дело; вы все хорошо обдумали?

— Обдумала, Барби? Я ли не думала!

— Дорогая фрейлейн, а вы будете богатой?

— Нет, я буду такой же бедной, как ты.

— Господи! Это очень плохо. Катрина, моя сестра, замужем; она мне рассказывает про свою жизнь; она говорит, что жить очень трудно, и если бы она до замужества не накопила денег, было бы еще трудней. Дорогая фрейлейн, подумайте еще раз! А он хороший? Иногда мужчины оказываются нехорошими.

— Он хороший,— вставая, сказала Кристиан.— Все решено!

И она поцеловала Барби в щеку.

— Вы плачете, liebes Fräulein! Подумайте хорошенько, может быть, еще не совсем все решено. Не может быть, чтобы для девушки не оставалось никакого другого выхода!

Кристиан улыбнулась.

— У меня все иначе, Барби.

Барби повесила полотенце на крючок и перекрестилась.

XXIV

Взгляд мистера Трефри был прикован к коричневому мотыльку, метавшемуся под потолком. Он следил за насекомым, как зачарованный: быстрые движения всегда завораживают тех, кто сам не в силах двигаться. Тихо вошла Кристиан.

— Не могу больше валяться, Крис,— сказал он с ви-

новатым видом.—Невыносимо жарко. Доктор из себя выходит вот из-за этого.—Он показал на кувшин с крюшоном из красного вина и трубку, лежавшую на столе у его локтя.—А я только смотрел на них.

Кристиан присела рядом и взяла веер.

— Если бы не эта жара...—сказал он и закрыл глаза.

«Я должна сказать ему,—думала Кристиан.—Я не могу уехать тайком».

— Налей мне немного этой штуки, Крис.

Она потянулась за кувшином. Да! Она должна сказать ему! У нее упало сердце.

Мистер Трефри сделал основательный глоток.

— Нарушаю обещание. Не все ли равно... вреда никому не будет, кроме меня.

Он взял трубку и набил ее табаком.

— Лежишь тут, боль адская, и покурить даже нельзя! Если б я от проповедей получал хоть половину того удовольствия, которое мне доставляет эта трубка! — Он откинулся на спинку кресла, погружаясь в блаженство. А затем продолжал, словно размышляя вслух: — Многое изменилось с тех пор, как я был молодым. В те годы молодому человеку приходилось добывать себе еду и кров и заботиться о своем будущем. Хорошо это получалось у него или нет — все зависело от того, из какого материала он скроен. А нынче... куда там! Нынче у него голова всякой дурью набита — воображает, что он уже тот, кем еще только собирается стать.

— Вы несправедливы,—сказала Кристиан.

— Гм! Терпеть не могу покупать кота в мешке,—про-ворчал мистер Трефри.—Если я даю человеку деньги взаймы, то хочу знать, собирается ли он вернуть их; мне, может быть, не жаль денег, но я просто хочу знать. И во всем так. Мне все равно, богат ли человек... хотя имей в виду, Крис, это не плохое правило—судить о людях по их счету в банке. Но когда дело доходит до женитьбы, то есть одно очень простое правило: там, где не хватает на одного, не хватит и на двоих. Сколько ни трать слов — черное белым не станет, а разговорами сыт не будешь. Ты знаешь, Крис, я не люблю говорить о себе, но все же скажу тебе вот что... Когда я приехал в Лондон, я хотел жениться, но денег не было, и приш-

лось ждать. А когда у меня появились деньги... ну, это уже к делу не относится! — Он нахмурился и стал перебирать пальцами трубку. — Я не делал ей предложения, Крис, считал, что поступаю порядочно; теперь это вышло из моды!

Щеки Кристиан горели.

— Лежу я тут и все думаю, — продолжал мистер Треффри. — Ничего не поделаешь. Только скажи мне вот что. Ты хорошо знаешь, чего тебе надо? Что ты знаешь о жизни? Хочешь не хочешь, а жизнь не такая совсем, как ты себе ее представляешь. В жизни всяко бывает, но главное — не ошибаться вначале.

Кристиан думала: «Неужели он никогда не поймет?»

— Я поправляюсь с каждым днем, — продолжал мистер Треффри, — но все равно долго я не протяну. Не очень-то приятно лежать и думать, что, когда ты умрешь, некому будет притормаживать!

— Дядя, не говорите так! — пробормотала Кристиан.

— Что толку закрывать глаза на факты, Крис. Я пожил немало на этом свете; я знаю жизнь такой, какая она есть на самом деле; кроме тебя, мне теперь не о ком больше и думать.

— Но, дядя, если бы вы любили его так, как я люблю, вы бы не стали меня запугивать! Ведь страх — подлое, малодушное чувство. Вы, наверно, забыли об этом.

Мистер Треффри закрыл глаза.

— Да, — сказал он. — Я стар.

Кристиан уронила веер себе на колени; он лежал на ее белом платье, как большой алый лист; она не сводила с него глаз.

Мистер Треффри взглянул на нее.

— От него не было известий? — спросил он, вдруг что-то почувствовав.

— Вчера вечером, в той комнате, когда вы думали, что я разговариваю с Домиником...

Он уронил трубку.

— Что! — с трудом произнес он. — Вернулся?

Не поднимая головы, Кристиан сказала:

— Да, он вернулся; я нужна ему... я должна быть с ним, дядя.

Они долго молчали.

— Ты должна быть с ним? — повторил он.

Ей хотелось броситься перед ним на колени, но он сидел так тихо, что всякое движение казалось немислимым, и она, сложа руки, молчала.

— Ты дай мне знать, когда будешь... уезжать,— проговорил мистер Трефри. — Спокойной ночи!

Кристиан тихо вышла в коридор. Бисерный занавес шелестел на сквозняке. До нее донеслись голоса.

— Для меня это дело чести, в противном случае я отказался бы лечить его.

— Бедный Николас — очень трудный человек! У него всегда была эта склонность к противоречию, и он сотни раз попадал из-за нее в беду. Дух противоречия у нас в крови. Это наша семейная черта. Мой старший брат погиб из-за такого же упрямства; у моей бедной сестры, которая была кротка, как овечка, это приняло несколько иную форму: она поступала, как должно, да только не к месту. Видите ли, это дело темперамента. Запаситесь терпением.

— Терпением, терпением,— повторил голос Дони, — но есть еще чувство ответственности. Последние две ночи я не смыкал глаз.

Послышался тихий свистящий шелест шелка.

— Ему так плохо?

Кристиан затаила дыхание. Наконец послышался ответ:

— Он составил завещание? Скажу вам откровенно, миссис Дисси, еще один приступ, и у него почти не останется шансов на спасение.

Кристиан заткнула уши и выбежала в сад. Так, значит... она хотела бросить умирающего!

XXV

На следующий день Гарца пригласили в виллу. Мистер Трефри только что встал и облачился в теплый халат, старый, потертый, но сохранивший остатки былого великолепия. Морщинистые щеки его были чисто выбриты.

— Надеюсь, я вижу вас в добром здравии,— величественно произнес он. При воспоминании о их поездке и прощании у вьючной тропы Гарцу стало больно и стыдно. Вдруг в комнату вошла Кристиан; она постояла немного, глядя на него, и села.

— Крис! — сказал с укоризной мистер Треффри.

Она покачала головой; скорбный и вместе с тем смелый взгляд ее глаз, казалось, говорил о каком-то принятом решении.

— Я не вправе упрекать вас, мистер Гарц, — сказал мистер Треффри, — тем более, что, по словам Крис, вы намеревались поговорить со мной, чего я от вас и ожидал; но вам не следовало возвращаться.

— Сэр, я вернулся, потому что чувствовал себя обязанным сделать это. Позвольте все объяснить.

— С удовольствием выслушаю вас, — ответил мистер Треффри.

Гарц опять посмотрел на Кристиан, но она по-прежнему сидела, подперев руками подбородок.

— Я вернулся за ней, — сказал он. — Я могу зарабатывать на жизнь... хватит на нас обоих. Но я не могу ждать.

— Почему?

Гарц не ответил.

— Почему? — снова загремел мистер Треффри. — Разве она не достойна того, чтобы ее ждали? Разве не надо сперва заслужить ее?

— Боюсь, что вы не поймете, — сказал художник. — Мое творчество и есть моя жизнь. Вы думаете, в противном случае я бы когда-нибудь покинул родную деревню и прошел бы через все, что мне пришлось пройти, чтобы стать хотя бы тем, чем я стал сейчас? Вы говорите, чтобы я подождал. Как же я могу работать, если мои мысли и воля несвободны? От меня не будет никакого толку. Вы просите меня вернуться в Англию... быть от нее за тысячу миль и знать, что она здесь, среди тех, кто ненавидит меня. Я буду знать, что она жестоко мучается, что здесь против меня ведется отчаянная борьба... и вы думаете, я смогу работать в таком состоянии? Другие... может быть, а я нет. Вот вам чистая правда. Если бы я меньше любил ее...

Наступило молчание, потом мистер Треффри сказал:

— Непорядочно возвращаться сюда и просить того, что просите вы. Вы не знаете, что вас ждет в будущем, вы не знаете, сможете ли вы содержать жену. Не говоря уж о том, что у себя на родине вы принуждены прятаться, как преступник.

Гарц побелел.

— А! Вы опять об этом! — вырвалось у него. — Семь лет тому назад я был совсем мальчишкой и голодал; будь вы на моем месте, вы бы сделали то же самое. Мне моя родина так же дорога, как и вам ваша. Семь лет я пробыл в изгнании и, наверно, останусь изгнанником до конца жизни... я уже достаточно наказан; но если вы считаете меня негодяем, я сейчас же пойду и отдамся в руки полиции.

Он повернулся.

— Пойдите! Я прошу извинения! Я никак не хотел вас обидеть. Мне нелегко извиняться, — грустно сказал мистер Трефри. — Пусть это тоже зачтется.

Он протянул руку.

Гарц без колебаний вернулся и пожал ее. Кристиан не сводила с него глаз; казалось, она стремилась запечатлеть его образ в своей памяти. Свет, врывавшийся через полуоткрытые ставни, придавал ее глазам какой-то странный, очень яркий блеск и горел на складках ее белого платья, словно на оперении птицы.

Мистер Трефри беспокойно оглянулся.

— Видит бог, я хотел ей только счастья, — сказал он. — Если бы вы даже убили свою мать — что мне до того? Я думаю лишь о Кристиан.

— Откуда вам знать, в чем ее счастье? У вас о нем собственное представление... это не ее представление, не мое. Вы не посмеете помешать нам, сэр!

— Не посмею? — переспросил мистер Трефри. — Ее отец оставил ее на мое попечение, когда она была еще совсем крошкой; вся жизнь ее прошла на моих глазах... Я... я люблю ее... а вы приходите сюда и говорите, что я «не посмею».

Он потянул себя за бороду дрожащей рукой.

На лице Кристиан появилось выражение ужаса.

— Успокойся, Крис! Я не прошу пощады и не даю ее!

Гарц в отчаянии махнул рукой.

— Я поступил с вами честно, сэр, — продолжал мистер Трефри, — и требую того же от вас. Я прошу вас подождать и вернуться сюда тогда, когда вы, как порядочный человек, сможете сказать: «Я знаю, что меня ждет. Я ей даю то-то и то-то». Чем отличается творчество, о котором вы говорили, от любого другого призвания? Оно не

меняет законов жизни и не дает вам никаких привилегий по сравнению с другими. Оно не делает ваш характер тверже, не уберегает от некрасивых поступков, не дает никаких доказательств, что дважды два — пять.

— Вы знаете об искусстве ровно столько же, сколько я о деньгах,— резко ответил Гарц.— Нам и за тысячу лет не понять друг друга. Я делаю то, что считаю лучшим для нас обоих.

Мистер Трефри взял художника за рукав.

— Вот мое предложение, — сказал он. — Дайте слово год не видеть ее и не писать ей! А там, будет у вас положение или нет, будут у вас деньги или нет, если она захочет стать вашей женой, я обеспечу вас.

— Я не возьму ваших денег.

Казалось, мистера Трефри вдруг охватило чувство отчаяния. Он выпрямился во весь свой огромный рост.

— Всю жизнь я...— сказал он, но в горле у него что-то булькнуло, и он упал в кресло.

— Уходите! — прошептала Кристиан. — Уходите!

Но к мистеру Трефри снова вернулся голос.

— Пусть девочка сама решает. Говори, Крис!

Кристиан молчала.

Заговорил Гарц. Он показал рукой на мистера Трефри.

— Вы знаете, что я не могу предложить вам уехать со мной, когда здесь такое... Почему вы послали за мной?

И, повернувшись, он вышел.

Кристиан опустилась на колени, закрыв лицо руками. Мистер Трефри украдкой прижал платок ко рту. Платок стал алым — такова была цена его победы.

XXVI

Герра Пауля вызвали из Вены телеграммой. Он тотчас отправился в путь, отложив до более благоприятного случая оплату нескольких счетов и среди них счет от аптекаря за чудодейственное шарлатанское лекарство, которого он захватил с собой целых шесть бутылок.

Когда он вышел из комнаты мистера Трефри, по щекам его текли слезы.

— Бедный Николас! — приговаривал он. — Бедный Николас! Il n'a pas de chance! ¹

Но его излияний никто не слушал. Миссис Дисси и Кристиан хранили тревожное молчание, ожидая распоряжений, которые время от времени передавались шепотом через приоткрытую дверь из комнаты мистера Треффри. Герр Пауль был не в состоянии молчать и полчаса разговаривал со своим слугой, пока Фрица не послали за чем-то в город. Тогда герр Пауль в отчаянии пошел к себе в комнату. Как тяжело, когда тебе не дают помочь... как тягостно ждать! Когда болит душа, становится страшно! Он обернулся и, посмотрев по сторонам, украдкой закурил сигару. Да, все там будут... рано или поздно; и что такое смерть, о которой все говорят? Неужели она хуже жизни? Жизни, которую люди сами же превращают черт знает во что! Бедняга Николас! В конечном счете ему повезло!

Глаза его наполнились слезами, и, достав из кармана перочинный нож, он стал втыкать его в обивку кресла. Скраф, следивший за полоской света под дверью, обернулся, прищурился и стал легонько постукивать ладонью по полу.

Эта неизвестность невыносима... нельзя же так — быть рядом и ничего не знать!

Герр Пауль направился в дальний угол. Собака, было последовавшая за ним, вздернула морду в черных отметинах, заворчала и вернулась к двери: ее хозяин держал в руке бутылку шампанского.

Бедняга Николас! Это его покупка. Герр Пауль осушил стакан.

Бедняга Николас! Великолепнейший человек, а помочь ему не дают. Его не пускают к Николасу!

Взгляд герра Пауля упал на терьера.

— А! Дорогой мой, — сказал он, — только нас с тобой не пускают туда!

Он осушил второй стакан.

— Что есть наша жизнь? Пена, вроде этой!

Он выпил залпом третий стакан. Забыться! Если нельзя помочь, то лучше забыться!

Герр Пауль надел шляпу. Да. Здесь ему нет места! Здесь он лишний! Он допил бутылку и вышел в коридор.

¹ Он безнадежен! (франц.)

Скраф выбежал за ним и лег у двери мистера Треффри. Герр Пауль посмотрел на него.

— Ах ты, неблагодарная собака,— сказал он, постучав себя по груди, и, открыв входную дверь, на цыпочках вышел...

Под вечер того же дня Грета бродила без шляпки меж кустов сирени; после бессонной ночи в дороге у нее был усталый вид, и она присела отдохнуть на стул, стоявший в пестрой тени липы.

«Дом стал какой-то другой,— подумала она.— Я такая несчастная. Даже птицы молчат. Но это, наверно, потому, что очень жарко. Никогда мне не было так грустно... Это потому, что сегодня мне грустно не понарошке. А в сердце так, словно ветер гудит в лесу, и пусто, пусто. И если все несчастные чувствуют себя так же, то мне жаль их; никогда еще мне не было так грустно».

На траву упала тень; Грета подняла голову и увидела Дони.

— Доктор Эдмунд! — прошептала она.

Дони подошел к ней; между бровями у него залегла глубокая складка. В близко посаженных глазах застыла боль.

— Доктор Эдмунд, — шептала Грета, — это правда? Он взял ее руку и накрыл своей ладонью.

— Быть может,— сказал он,— а быть может, и нет. Будем надеяться.

Грета в страхе посмотрела на него.

— Говорят, он умирает.

— Мы послали за лучшим венским врачом.

Грета покачала головой.

— Вы сами очень хороший врач, доктор Эдмунд, но вы же боитесь.

— Он мужественный человек,— сказал Дони.— Мы все должны мужаться. Вы тоже!

— Мужаться? — повторила Грета.— Что значит мужаться? Если не плакать и не жаловаться, то это я могу. Но если сделать так, чтобы не было грустно здесь,— она дотронулась до груди,— то это я не могу, как бы я ни старалась.

— Мужаться — значит надеяться; не переставайте надеяться...

— Хорошо, — сказала Грета, обводя пальцем солнечный блик на своей юбке. — Но мне кажется, что, когда мы надеемся, мы совсем не мужаемся, потому что ждем исполнения своего желания. Крис говорит, что надеяться — значит молиться, а если это молитва, то, значит, все время, пока мы надеемся, мы просим чего-то. А разве просить — это мужество?

Дони улыбнулся.

— Продолжайте в том же духе, философ! — сказал он. — Мужайтесь на свой лад, и это у вас получится не хуже, чем у других.

— А что делаете вы, чтобы мужаться, доктор Эдмунд?

— Я? Борюсь! Если бы ему скинуть лет пять!

Грета посмотрела ему вслед.

— Я никогда не научусь мужеству, — сказала она с грустью. — Мне всегда будет хотеться счастья.

И, встав на колени, она принялась освобождать муху, запутавшуюся в паутине. У самых ног в высокой траве она увидела болиголов. «Уже сорняки!» — подумала она с огорчением.

Это еще больше расстроило ее.

«Но он очень красивый, — подумала она, — цветы у него, как звезды. Я не буду его вырывать. Оставляю его; наверно, он разрастется по всему саду; ну и пусть, мне все равно, потому что теперь все не так, как прежде, и прежние времена, наверно, уже никогда не вернутся».

XXVII

Шли дни, те длинные жаркие дни, когда с десяти часов утра над землей струится раскаленное марево, которое, как только солнце зайдет за горные вершины, сливается с золотыми небесами, зажигающими по всей земле дрожащие искорки.

При свете звезд эти искры гаснут, исчезают одна за другой со склонов; вечер спускается в долины, и под его прохладными крылами на землю нисходит покой. Но вот наступает ночь, и оживают сотни ночных голосков.

Подходила уже горячая пора сбора винограда, и все продолжалась — день за днем, ночь за ночью — борьба за жизнь Николаса Трефри. Проблески надежды сменя-

лись минутами отчаяния. Приезжали врачи, но мистер Треффри первого еще пустил к себе, а остальных отказался видеть.

— Незачем бросать деньги на ветер,— сказал он Дони,—если я и выкарабкаюсь, то уж, во всяком случае, не благодаря им.

Порой он несколько дней подряд не разрешал находиться в своей комнате никому, кроме Дони, Доминика и платной сиделки.

— Я лучше справляюсь со своей хворью,— сказал он Кристиан,—когда не вижу никого из вас. Не ходи сюда, девчурка моя, уж я как-нибудь сам ее одолею!

Если бы она могла помочь ему, то это бы ослабило нервное напряжение и боль ее сердца. По просьбе мистера Треффри его кровать переставили в угол, чтобы можно было отвернуться к стене. Так он лежал часами, не разговаривая ни с кем, и только просил пить.

Иногда Кристиан незаметно пробиралась в комнату и долго смотрела на него, прижимая руки к груди. По ночам, когда Грета спала, она беспокойно ворочалась с боку на бок, лихорадочно бормоча молитвы. Она часами просиживала за своим столиком в классной комнате и писала Гарцу письма, которые так и оставались неотправленными. Однажды она написала: «Я самое мерзкое существо на свете... я даже желала ему смерти!» Несколько минут спустя вошла мисс Нейлор и увидела, что она сидит, закрыв лицо руками. Кристиан вскочила; по щекам ее текли слезы. «Оставьте меня!» — закричала она и выбежала из комнаты. Позже она пробралась в комнату дяди и опустилась на пол у его кровати. Весь вечер она тихо сидела там, но больной ее не заметил. Наступила ночь, и ее едва уговорили уйти из комнаты.

Однажды мистер Треффри выразил желание видеть герра Пауля; и тот долго собирался с мужеством, прежде чем войти.

— У меня на лондонской квартире осталось несколько дюжин гордоновского хереса, Пауль,—сказал мистер Треффри.—Я буду рад, если ты его выпьешь. И вот еще... мой слуга Доминик. Я его не забыл в завещании, но ты присмотри за ним; для иностранца он малый неплохой, и возраст у него не дыплячий, но рано или



«ВИЛЛА РУБЕЙН».



«ОСТРОВ ФАРИСЕЕВ».

поздно женщины приберут его к рукам. Вот и все, что я хотел сказать тебе. Пришли ко мне Кристиан.

Герр Пауль молча стоял у постели. Вдруг он сказал сквозь слезы:

— Дорогой мой! Мужайся! Все мы смертны! Ты поправишься!

Все утро он бродил по дому совершенно расстроенный:

— На него было страшно смотреть, понимаете, страшно! И железный человек не выдержал бы.

Когда Кристиан вошла, мистер Трефри приподнялся и долго смотрел на нее.

У него был грустный вид, и она чувствовала себя виноватой. Но в тот же день из комнаты больного сообщили, что ему стало лучше и боль уже несколько часов как утихла.

Теперь у всех в глазах пряталась улыбка, готовая при первом слове расцвести на губах. На кухне Барби расплакалась и, забыв про сковородку, сожгла жаркое. Доминик на радостях пропустил стаканчик кианти и последние капли выплеснул «на счастье». Слуги получили распоряжение накрыть стол для чая в саду под акациями, где всегда царила прохлада; и у всех было праздничное настроение. Даже герр Пауль не отлучался из дому. Но Кристиан не вышла к чаю. О болезни никто не говорил, словно боясь накликать беду.

Мисс Нейлор пошла за чем-то в дом и, вернувшись, сказала:

— За углом дома стоит какой-то незнакомый человек.

— Что вы говорите! — воскликнула миссис Дисси. — Что ему нужно?

Мисс Нейлор покраснела.

— Я не спрашивала его. Я... я не знаю... порядочный ли он человек. Сюртук у него застегнут наглухо и, по-видимому, он без... воротничка.

— Пойди, деточка, спроси, что ему надо, — сказала Грете миссис Дисси.

— Не знаю... я, право, не знаю, стоит ли Грете... — начала мисс Нейлор. — На нем высокие... сапоги...

Но Грета уже была возле незнакомца и, заложив руки за спину, внимательно рассматривала его.

— Что вам угодно? — спросила она, подойдя к нему. Незнакомец сорвал с головы шапку.

— В этом доме нет звонка, — сказал он, гнусавя, — просто теряешься...

— Нет, звонок есть, — серьезно возразила Грета, — только он теперь не звонит, потому что мой дядя очень болен.

— Мне очень прискорбно слышать это. Я незнаком со здешними обитателями, но мне очень прискорбно слышать это. Мне бы хотелось поговорить с вашей сестрой, если та девушка, которая мне нужна, ваша сестра.

И лицо незнакомца залила краска.

— А вы не друг ли герра Гарца? — спросила Грета. — Если вы его друг, то, пожалуйста, пойдите со мной и попейте чаю, а пока вы будете пить чай, я поищу Кристиан.

На лбу незнакомца выступили капли пота.

— Чай? Простите, я не пью чая.

— Есть и кофе, — сказала Грета.

Незнакомец так медленно шел к беседке, что Грета намного опередила его.

— Это друг герра Гарца, — прошептала она. — Он будет пить кофе. Я пойду за Крис.

— Грета! — воскликнула мисс Нейлор.

Миссис Диси подняла руку.

— Если это так, — сказала она, — то ради Кристиан мы должны быть любезны с ним.

Выражение лица мисс Нейлор смягчилось.

— О да! — сказала она. — Конечно.

— Ба! — проворчал герр Пауль. — Опять начинается.

— Пауль! — прошептала миссис Диси. — Ты неблагоразумен.

Герр Пауль бросал на приближающегося незнакомца свирепые взгляды.

Миссис Диси встала и с улыбкой протянула руку.

— Мы очень рады познакомиться с вами; вы, по-видимому, тоже художник? Я очень интересуюсь искусством и особенно той школой, к которой принадлежит мистер Гарц.

Незнакомец улыбнулся.

— Он художник, без подделки, сударыня, — сказал

незнакомец, — он не принадлежит ни к одной школе. Он из тех, на чьих костях возникают новые школы.

— Вы, наверно, американец? — проговорила миссис Дисси. — Очень приятно. Садитесь, пожалуйста. Моя племянница сейчас будет.

Грета прибежала обратно.

— Пожалуйста, пойдите со мной, — сказала она. — Крис ждет вас.

Проглотив кофе, незнакомец сделал общий поклон и последовал за Гретой.

— Ach! — сказал герр Пауль. — Garçon très chic, celui là! ¹.

Кристиан стояла у своего маленького стола.

— Я отправляю вещи мистера Гарца в Англию, — сказал незнакомец. — Здесь есть несколько его картин. Он был бы рад получить их.

Алая краска залила лицо Кристиан.

— Я пошлю их в Лондон, — повторил незнакомец. — Не могли бы вы отдать мне их сегодня?

— Пожалуйста. Моя сестра проводит вас.

Взгляд ее, казалось, проникал ему в самую душу.

— А мне он ничего не просил передать? — вырвалось у нее.

Незнакомец посмотрел на нее с любопытством.

— Нет, — произнес он в замешательстве, — нет! Пожалуй, нет. Он чувствует себя хорошо... Жаль...

Он замолчал; на ее бледном лице, казалось, одновременно отразились презрение, отчаяние и мольба. И, повернувшись, она вышла из комнаты.

XXVIII

Когда в тот же вечер Кристиан вошла в комнату дяди, он сидел на постели и сразу заговорил.

— Крис, — сказал он. — Это медленное умирание не по мне. Посмотрю-ка я, не поможет ли мне путешествие... Хочу вернуться на родину. Доктор уж обещал. Не все еще расстреляны заряды! Я верю в этого юношу, он борется за мою жизнь как настоящий мужчина... Во вторник твой день рождения, милая девочка, и тебе

¹ Весьма элегантный юноша! (франц.)

исполнится двадцать лет. Семнадцать лет прошло с тех пор, как умер твой отец. Ты для меня была самым близким существом.... Сегодня приходил священник. Это плохой признак. Он полагал, что это его долг! Какая любезность! Но я его не принял. Если даже в словах священников и есть доля правды, я все равно не собираюсь каяться, когда мне пришлось плохо. Есть еще одно дело, которое не идет у меня из головы. Эта моя беспомощность поставила мистера Гарца в невыгодное положение. Ты имеешь право глядеть на меня так, как глядела на меня иногда, считая, что я сплю. Если бы я не был болен, он бы никогда не оставил тебя. Я не виню тебя, Крис, несколько не виню! Ты меня любишь? Я знаю это, моя девочка. Но когда дело доходит до самого серьезного, приходится оставаться одному. Не плачь! Мозги наши устроены не по прописям из учебников для воскресных школ; ты начинаешь это понимать, вот и все!

Он вздохнул и отвернулся.

По дому разнесся скрип открываемых жалюзи. Девушку охватил страх: он лежал тихо, но каждый вдох давался ему с трудом. Если бы только она могла взять на себя его страдания! Она подошла и склонилась над ним.

— И тебе и мне трудно дышать! — пробормотал он.

Кристиан сделала сиделке знак рукой и вышла из комнаты.

По дороге шел полк; Кристиан смотрела на солдат из-за кустов сирени. Над ее головой безжизненно поникли почти черные листья тополя; пыль, поднятая солдатскими сапогами, повисла в воздухе; казалось, весь мир задышался, всюду замерла жизнь. Топот ног замер вдали. Вдруг на расстоянии протянутой руки от нее появился человек, державший на плече палку, как саблю. Он приподнял шляпу.

— Добрый вечер! Вы меня не помните? Сарелли. Извините! Я подумал, что это привидение в кустах. Как плохо марширует эта деревенщина! Видите ли, мы всё не можем забыть своей профессии и критикуем; только на это мы и годимся.

Взгляд его черных глаз, беспокойных и злых, как у лебедя, впивался ей в лицо.

— Прекрасный вечер! Но слишком жарко. Будет гро-

за, вы чувствуете? Томительно ждать грозу, но зато после грозы, моя дорогая мисс Деворелл, приходят мир и тишина.

Он улыбнулся, на этот раз приветливо, и, снова приподняв шляпу, скрылся из виду в тени деревьев.

В этом человеке Кристиан вдруг почудилась какая-то скрытая угроза. Она вытянула вперед руки, словно защищаясь от нее.

Что пользы: угроза была в ней самой, от себя не защитишься! Она пошла в комнату миссис Дисси, где та тихо разговаривала с мисс Нейлор. Звучание их голосов вернуло ее в мир повседневности, который не имел никакого отношения к ощущениям, вселявшим в нее такой ужас.

Дони теперь ночевал на вилле. Глубокой ночью он проснулся от яркого света. Над ним стояла Кристиан, лицо ее было бледным и искаженным от ужаса, волосы темными волнами падали на плечи.

— Спасите его! Спасите! — кричала она. — Быстрее! У него кровотечение!

Он увидел, как она закрыла лицо белыми рукавами, и, выхватив у нее свечу, вскочил с постели и бросился к больному.

Снова произошло внутреннее кровоизлияние, и Николас Трефри был на волосок от смерти. Когда кровоизлияние прекратилось, он впал в забытие. Часам к шести он пришел в сознание; по глазам его было видно, что его что-то томит. Наконец, он поманил Кристиан.

— Я проиграл, Крис, — прошептал он. — Дай ему знать, я хочу его видеть.

Голос его немного окреп.

— Я думал, что смогу продержаться... и вот конец.

Он чуть приподнял и бессильно уронил руку. Когда немного погодя ему сказали, что Гарцу послана телеграмма, в глазах его появилось удовлетворение.

Герр Пауль сошел вниз в полном неведении о событиях ночи. Он остановился перед барометром и постучал по нему, сказав мисс Нейлор:

— Барометр падает, погода будет прохладная... ему станет еще лучше.

Когда он увидел ее искаженное жалостью и тревогой

смуглое лицо и слышал, что жить мистеру Грэффри осталось считанные часы, герр Пауль сначала побагровел, потом побледнел и сел, потому что его всего трясло.

— Не могу поверить! — почти сердито воскликнул он. — Еще вчера он чувствовал себя очень хорошо! Не могу поверить! Бедняга Николас! Еще вчера он разговаривал со мной!

Он сжал руку мисс Нейлор.

— Ах! — закричал он, вдруг отпустив руку мисс Нейлор и ударив себя по лбу. — Как это ужасно! Еще вчера он говорил со мной о хересе. Но неужели никто не может помочь ему?

— Только бог, — тихо ответила мисс Нейлор.

— Бог? — переспросил испуганно герр Пауль.

— Нам... остается... только... молиться всевышнему, — пробормотала мисс Нейлор; щеки ее пошли пятнами. — Я хочу помолиться... сейчас же.

Герр Пауль взял ее руку и поцеловал.

— Вы будете молиться? — сказал он. — Хорошо! Я тоже.

Он прошел к себе в кабинет, осторожно закрыл за собой дверь и зачем-то подпер ее спиной. Фу! Смерть! Она ждет всех! Когда-нибудь придет и его очередь. Она может прийти завтра! Надо молиться!

День тащился к концу. В небе собирались тучи, они громоздились друг на друга, заволакивали солнце — мягкие, бледно-серые, будто перышки на груди у голубя. К вечеру время от времени стали ощущаться легкие толчки, словно отголоски далекого землетрясения.

В ту ночь никто не ложился. Но и наутро ничего не изменилось. «Больной без сознания, ему осталось жить всего несколько часов», — сообщил Дони. Только раз он пришел в сознание и спросил о Гарце. От Гарца пришла телеграмма, он был в пути. Часам к семи вечера долгожданная гроза расколола чернильное небо. Словно невидимая рука проливала бокалы светлого вина на долины и горные хребты и размахивала лезвием молнии над деревьями, крышами, шпильями, горными вершинами, вонзая его в самый небосвод, который отвечал на каждый удар громовым раскатом. Над самой верандой Грета увидела светлячка, которого можно было принять за осколок упавшей молнии. Вскоре все закрыл

дивень. Порой сноп света вырывал из тьмы массивные горные вершины, как бы нависавшие над домом, но и они затем исчезали за стеной дождя и трепещущих листьев. Каждый вздох, исторгнутый грозой, был как звон тысячи литавр, но мистер Трефри в своей комнате не слышал ее неистовства.

Грета незаметно прокралась в комнату больного, уселась в уголке со Скрафом на руках и стала его тихонько покачивать. Когда мимо проходила Кристиан, она поймала ее за юбку и прошептала:

— Сегодня твой день рождения, Крис!

Мистер Трефри шевельнулся.

— Что это? Гром? Стало прохладней. Где я? Крис!

Дони сделал знак Кристиан встать на его место.

— Крис! — сказал мистер Трефри. — Теперь уже скоро.

Она склонилась над ним, и ее слезы закапали ему на лоб.

— Простите меня! — шептала она. — Любите меня, как прежде!

Он дотронулся пальцем до ее щеки.

Больше часа он ничего не говорил, только раза два застонал и слегка сжал ей руку. Гроза прошла, но где-то очень далеко еще рокотал гром.

Глаза его открылись еще раз, взгляд их остановился на Кристиан, а потом ушел в небытие, в пропасть, отделяющую юность от старости, убеждение от убеждения, жизнь от смерти.

У кровати, закрыв лицо руками, стоял Дони; позади него на коленях Доминик, воздев руки к небу; в тишине слышалось ровное дыхание уснувшей Греты.

XXIX

Однажды в марте, более чем через три года после смерти мистера Трефри, у окна мастерской на Сент-Джонс-Вуд сидела Кристиан. Небо было покрыто пушистыми облаками, между которыми проглядывали кусочки голубого неба. Время от времени светлый дождичек окроплял деревья, которые каждой веткой тянулись вверх, словно ожидая, когда их уберут молодой листвой. Кристиан казалось, что почки набухают на глазах. На

ветках собралось бесчисленное множество пронзительно чирикавших воробьев. В дальнем углу комнаты работал над картиной Гарц.

Лицо Кристиан освещала спокойная улыбка, улыбка женщины, которая знает, что стоит ей обернуться, и она увидит то, что хочет видеть, улыбка женщины, которая знает, что ее собственность находится в сохранности здесь, под рукой. И она посмотрела на Гарца с этой улыбкой собственницы. Но тут, словно тревожный сон, привидевшийся человеку, который нежился в постели и вдруг задремал, в ее памяти неожиданно всплыл давний рассвет, когда Гарц застал ее на коленях у тела мистера Треффри. Вот она снова видит лицо покойника, такое торжественное, спокойное, помолодевшее. Видит, как ее возлюбленный и она сама идут по дамбе, на которой они впервые встретились, как они молча сидят под тополем, где весной все было усыпано тельцами майских жуков. Видит, как деревья из черных превращаются в серые, из серых в зеленые, а в темном небе длинные белые полосы облаков пролетают на юг, как птицы, и очень далекие розоватые вершины гор наблюдают за пробуждением земли. И теперь вот снова, через несколько лет, он представился ей таким же чужим и далеким, каким он был тогда, когда ей казалось, что она ненавидит себя. Она вспомнила свои слова: «У меня больше нет сердца. Вы его разорвали, поделив между собой. Любовь заставляет думать только о себе... я хотела его смерти». Она вспомнила еще дождевые капельки, которые сверкали на виноградных листьях, как миллионы крошечных лампочек, и дрозда, который запел. Потом, как сны, которые уходят в блаженное небытие, ушли воспоминания, и на губах ее снова появилась улыбка.

Кристиан достала письмо.

«...О Крис! Мы в самом деле едем к вам; я без конца повторяю себе это и втолковываю Скрафу, но ему все равно, потому что он стареет. Мисс Нейлор говорит, что мы приедем к завтраку и что мы будем голодные, но, может быть, она не будет очень голодна, если море будет бурным. Папа сказал мне: «Je serai inconsolable,

mais inconsolable!»¹ Но я думаю, что не очень, потому что он собирается в Вену. Когда мы уедем, на вилле Рубейн никого не останется; тетя Констанс еще две недели тому назад уехала во Флоренцию. В ее отеле живет молодой человек, из которого, по ее словам, выйдет один из величайших драматургов Англии. Она прислала мне почитать его пьесу; про любовь там совсем мало, мне она не очень понравилась... О Крис! Я, наверно, расплачусь, когда увижу тебя. Так как я уже совсем взрослая, мисс Нейлор со мной уже не вернется; иногда у нее грустное настроение, но она будет очень рада увидеть тебя, Крис. По-видимому, весной она всегда грустит. Сегодня я гуляла по дамбе, на тополях уже видны зеленые пушистые шарики, и сегодня я видела первого майского жука; скоро уже зацветет вишня; мне и грустно и весело одновременно, а однажды у меня было такое ощущение, словно у меня выросли крылья, и я могу взлететь над долиной и полететь в Меран... но крыльев не было, и я села на ту самую скамейку, на которой мы сидели, когда забирали картины, и все думала, думала, но ничего не могла придумать. Мне и приятно и грустно, а в голове так тихонько гудит, словно там майский жук. Я чувствую себя очень усталой, а кровь во мне так и кипит. Но я не обращаю на это внимания, так как знаю, что это весна во всем виновата.

На днях к нам приходил Доминик; он живет очень хорошо, и ему принадлежит теперь половина гостиницы «Адлер» в Меране. Он совсем не изменился и все спрашивает про тебя и Алоиза. (Знаешь, Крис, про себя я зову его герром Гарцем, но после того, как я увижу его на этот раз, я буду и в мыслях называть его Алоизом.)

Я получила письмо от доктора Эдмунда; он в Лондоне, так что ты, наверно, видела его. У него очень много пациентов, и некоторых из них он «надеется вскоре прикончить!», особенно одну старую даму, потому что она всегда капризничает, а он не может перечить ей— вот он и недолюбливает ее. Он говорит, что стареет. Когда я кончу писать это письмо, я ему тоже напишу и скажу, что, наверно, мы скоро увидимся, и я думаю, что

¹ Я буду безутешен! (франц.)

его это очень огорчит. Теперь уже пришла весна и можно носить больше цветов на могилу дяди Ника. Когда я уеду, Барби будет каждый день носить цветы, чтобы он не скучал по тебе, Крис, потому что все цветы я кладу на могилу за тебя.

Для своей племянницы я купила некрашенных игрушек.

О Крис! Это будет мой самый первый знакомый младенец.

Мне разрешили побыть с тобой только три недели, но я думаю, что раз уж я приеду, то побуду с тобой подольше. Целую свою племянницу, передай привет герру Гарцу (последний раз зову его герром Гарцем) и тебя целую, Крис, крепко, крепко. Твоя любящая

Грета».

Кристиан встала, медленно повернулась и, облокотившись на спинку стула, посмотрела на мужа.

В ее внимательном, светлом, немного улыбчивом взгляде была какая-то грустинка, словно этот усердный человек, склонившийся над холстом, на какое-то мгновение перестал быть для нее самым близким, самым дорогим на свете.

— Устала? — спросил Гарц, касаясь губами ее руки.

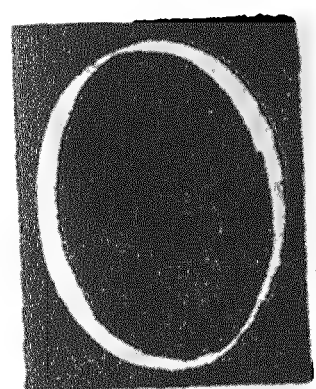
— Нет, вот только Грета напомнила о весне; весна заставляет желать больше того, что имеешь.

Тихонько высвободив руку, она вернулась к окну. Гарц посмотрел ей вслед, потом, взяв палитру, снова стал писать.

За окном высоко в небе пролетали пушистые облака; деревья наливались соком, и лопались почки.

А Кристиан думала: «Неужели мы никогда не будем довольны?»

1900 г.



СТРОВ ФАРИСЕЕВ

Перевод
Т. Кудрявцевой.

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

В СТОЛИЦЕ

ГЛАВА I

ОБЩЕСТВО

Так в обществе высоком повелось...
Шекспир, Король Джон.

Хорошо одетый мужчина с загорелым лицом и светлой бородкой скромно остановился у книжного киоска на Дуврском вокзале. Его звали Шелтон. Он направлялся в Лондон и занял место в углу вагона третьего класса, положив туда свой саквояж. После долгих странствий по чужим краям ему казались приятными и заунывный голос продавца, предлагавшего последнюю литературную новинку, и независимый тон бородатого кондуктора, и чинное прощание мужа с женой. Проворные носильщики, пробегавшие мимо со своими тележками, мрачное здание вокзала, добротный крепкий юмор, чувствовавшийся в людях, в звуке их голосов, в самом воздухе,— все говорило ему, что он дома. Он стоял в нерешительности у прилавка, не зная, купить ли книгу под названием «Харборо», которую он уже читал и, наверное, с удовольствием прочтет еще раз, или же «Французскую революцию» Карлейля, которую он не читал и вряд ли будет читать с удовольствием; он чувствовал, что следовало бы купить вторую книгу, но не в силах был отказаться от первой. Пока он мешкал, не зная, на что решиться, его купе стало наполняться народом; то-

гда, быстро купив обе книги, он поспешил в вагон, намереваясь отстаивать свои права на занятое место.

«Нигде так не узнаешь людей, как в дороге», — подумал он.

Почти все места были уже заняты; он положил саквояж в багажную сетку и сел. В самую последнюю минуту в купе втиснулся еще один пассажир — молоденькая девушка с бледным лицом.

«Сглупил я, что поехал третьим классом», — подумал Шелтон, загородившись газетой и украдкой рассматривая своих соседей.

Пассажиров было семеро. В дальнем углу расположился немолодой сельский житель. Из рта его, точно ручка трости, торчала погасшая трубка, повернутая чубуком книзу, а на лице запечатлелось сознание собственного ничтожества, свойственное тем, чья жизнь проходит лишь среди повседневных житейских забот. Рядом с ним краснощекий, широкоплечий человек и его сосед — седой мужчина с острым лицом хорька — беседовали о своих садах; Шелтон стал наблюдать за ними, и его поразило странное выражение их глаз: в них было настороженное дружелюбие и вместе с тем дружелюбное недоверие, а в оживленной, даже сердечной беседе все время звучали опасливые нотки. Взгляд Шелтона скользнул дальше и чуть не споткнулся о надутое и на редкость самодовольное лицо полной дамы с римским профилем, одетой в черный с белым костюм; она читала «Стрэнд мэгэзин», придерживая его одной рукой, а другая рука, с которой она сняла черную перчатку, лежала у нее на коленях, гладкая и пухлая, украшенная толстым золотым браслетом с часами. Сидевшая рядом с ней женщина помоложе, застенчивая, с ярким румянцем на щеках, разглядывала бледную девушку, которая только что вошла в купе.

«Что-то им не нравится в ней», — подумал Шелтон. В карих глазах девушки, несомненно, таился испуг; по крою платья видно было, что она иностранка. И вдруг Шелтон встретился взглядом с другой парой глаз: молодой человек с тонким искривленным носом тотчас же отвернулся, но Шелтон успел заметить в этих голубых навывкате глазах тень насмешки. Ему показалось, что незнакомец оценивает его и смеется над ним, хочет по-

нравиться и словно привлекает на свою сторону. Шелтон не отвел глаз: это насмешливое, живое лицо с двухдневной рыжеватою щетиной, длинным носом и толстыми губами озадачивало его.

«Физиономия циника», — мелькнула у него мысль. «Но человек чуткий», — мелькнула другая, и вновь первая мысль: «Однако слишком уж циничный».

Странный молодой человек сидел, широко раздвинув колени и скрестив под скамьею ноги в изношенных брюках и пыльных башмаках; пожелтевшие кончики его пальцев были сжаты, словно скручивали невидимую папиросу. Печать отчужденности лежала на этом человеке в потрепанной одежде; в сетке над его головой не было и намека на какой-либо багаж.

Испуганная девушка сидела рядом с этим непонятным субъектом. Возможно, более чем скромный костюм соседа побудил ее обратиться именно к нему.

— Простите, мосье, не говорите ли вы по-французски? — спросила она.

— Конечно, говорю.

— Тогда скажите, пожалуйста, где берут билеты?

Молодой человек покачал головой.

— Не знаю, — сказал он. — Я иностранец.

Девушка тяжело вздохнула.

— Но что с вами, мадмуазель?

Девушка не ответила и только крепче сжала руки на старой сумке, которая лежала у нее на коленях. В купе воцарилась тишина — так затихают животные, почуяв приближение опасности; взоры всех пассажиров были устремлены на чужестранцев.

— М-да, — прервал молчание краснощекий человек, — он был немножко навеселе в тот вечер, наш старый Том.

— Угу, — заметил его сосед, — это с ним бывает.

Как видно, что-то положило конец их взаимному недоверию. Пухлая, гладкая рука дамы с римским профилем судорожно сжалась, и это движение отвечало тревожному чувству, наполнившему сердце Шелтона. Казалось, и ее рука и его сердце боятся, как бы к ним не обратились с какой-нибудь просьбой.

— Мосье, — сказала девушка дрожащим голосом, — я очень несчастна. Посоветуйте, как мне быть. У меня нет денег на билет.

В лице молодого иностранца что-то дрогнуло.

— Да? — произнес он. — Это, конечно, с кем угодно может случиться.

— Что мне за это будет? — проговорила девушка со вздохом.

— Не падайте духом, мадмуазель. — Молодой человек обвел глазами пассажиров, и взгляд его остановился на Шелтоне. — Впрочем, пока что ваше положение кажется мне безвыходным.

— Ах, мосье, — вздохнула девушка, и хотя было ясно, что никто, кроме Шелтона, не понимает, о чем они говорят, в купе все же почувствовался холодок.

— Я был бы рад помочь вам, — сказал молодой иностранец, — но, к сожалению... — Он пожал плечами и снова перевел взгляд на Шелтона.

Тот сунул руку в карман.

— Могу я быть чем-нибудь полезен? — спросил он по-английски.

— Конечно, сэр. Вы могли бы оказать величайшую услугу этой молодой леди, одолжив ей денег на билет.

Шелтон вытащил кошелечек. Молодой человек взял его и, передавая девушке, воскликнул:

— Тысяча благодарностей! *Voila une belle action!*¹

Тут на Шелтона напали сомнения, всегда сопутствующие случайной благотворительности; ему было стыдно, что у него возникли подобные сомнения, и было бы стыдно, если бы они не возникли; он украдкой посматривал на иностранца, который говорил теперь с девушкой на неизвестном Шелтону языке. Иностранец этот выглядел настоящим оборванцем, но выражение его лица говорило о тонком, остром уме и силе воли, какие редко можно обнаружить на лице заурядного человека; переведя взгляд на других пассажиров, Шелтон уловил на их лицах своеобразное сочетание презрительного возмущения и любопытства. Откинувшись назад и полужакрыв глаза, он попытался определить то новое, что появилось в атмосфере их купе. Ни в выражении лиц, ни в поведении его соседей не было ничего такого, к чему можно было бы придраться и что можно было бы втайне осудить, и это озадачивало его. Они продолжали бе-

¹ Вот благородный поступок! (франц.)

седовать с удивительным, чуть нарочитым бесстрашием, и все же Шелтон твердо знал, словно услышал по секрету от каждого, что этот подозрительный эпизод вывел их из состояния покоя. Случилось нечто противоречащее их понятиям о благопристойности, нечто опасное, мешающее им благодушествовать, и потому непростительное. Каждый по-своему проявлял неудовольствие: одни — с юмором, другие философски или презрительно, с раздражением или с насмешкой. Внезапно, словно прозрев, Шелтон понял, что и у него в глубине души притаились те же чувства. И он рассердился на своих соседей и на себя за то, что разделяет их неудовольствие. Он взглянул на пухлую, гладкую руку дамы с римским профилем. От этой холеной, белой руки веяло необычайным самодовольством и обособленностью; какая-то уверенная праведность в ее изгибе, чопорная жеманность отставленного толстого мизинца — все это приобрело совершенно необъяснимую значимость, словно олицетворение приговора, который вынесли его спутники по купе, приговора Общества, ибо Шелтон знал, что любые восемь человек, собравшиеся хотя бы в купе третьего класса, представляют собой зародыш Общества, даже если они и внушают отвращение благовоспитанному человеку.

Однако Шелтон был влюблен и недавно помолвлен, а потому у него были все основания не поддаваться чувству какого бы то ни было недовольства; перед его мысленным взором вновь возникло бесстрастное красивое лицо, быстрые движения и ослепительная улыбка той, чей образ не покидал его во все время добровольного изгнания; он достал последнее письмо своей невесты, но голос молодого иностранца, обратившегося к нему скороговоркой по-французски, заставил его поспешно спрятать конверт.

— Судя по тому, что она мне рассказала, сэр,— начал незнакомец, наклоняясь к Шелтону, чтобы девушка не могла расслышать его слов,— положение ее весьма печально. Я был бы рад помочь ей, но, как видите...— Он сделал жест, и Шелтон понял, что ему пришлось расстаться с жилетом.— Я не Ротшильд! Она приехала в Дувр с человеком, который обещал на ней жениться, а потом бросил ее. Посмотрите,— он быстрым взглядом указал на их спутниц, отодвинувшихся подальше от

француженки,— как они стараются, чтобы их одежда не коснулась ее! Это добродетельные женщины, сэр. И какая же чудесная вещь — добродетель! А еще чудеснее сознавать, что обладаешь ею, особенно когда нечего бояться искушений!

Шелтон не мог удержаться от улыбки, а когда он улыбался, выражение его лица тотчас смягчалось.

— Замечали ли вы,— продолжал молодой иностранец,— что люди, которым по складу их характера и условиям жизни меньше всего подобает судить других, как раз и выступают обычно в роли судей? Суждения Общества всегда бывают детски наивными, потому что оно состоит в основном из людей, которым никогда не приходилось солоно. И потом те, у кого есть деньги, рискуют лишиться своих капиталов, если они перестанут считать неимущих мошенниками и идиотами.

Шелтона поразило это стремление бедно одетого юноши поделиться с ним, человеком совсем незнакомым, своими умозаключениями, поразило и то, что этот юноша так оригинально выразил его собственные затаенные мысли. Поддавшись странному обаянию незнакомца, Шелтон перестал раздумывать над необычностью создавшегося положения.

— Вы, вероятно, приезжий? — спросил он.

— Я уже семь месяцев в Англии, но до сих пор еще не бывал в Лондоне,— ответил тот.— Я рассчитываю найти себе там полезное применение — давно пора! — На секунду губы его тронула горькая и вместе с тем жалостная улыбка.— Не я буду виноват, если мне не повезет. Вы англичанин, сэр?

Шелтон кивнул.

— Простите, что я спрашиваю вас об этом. В вашем тоне я не слышу того, что замечал почти у всех англичан: особого...— *comment cela s'appelle?*¹ — апломба, в котором проявляется одно из величайших достоинств вашей нации.

— Какое же это? — с улыбкой спросил Шелтон.

— Самодовольство,— ответил молодой иностранец.

— Самодовольство! — повторил Шелтон.— И вы называете это великим достоинством?

¹ Как это называется? (франц.)

— Вернее, мосье, я назвал бы это серьезным недостатком народа, который всегда был великим. Вы, несомненно, самая культурная нация на земле, и это обстоятельство вас несколько испортило. Будь я английским проповедником, я стремился бы прежде всего доказать вам всю никчемность вашего самодовольства.

Шелтон откинулся на спинку скамьи и стал обдумывать это дерзкое замечание.

— Гм,— проговорил он наконец,— ваши проповеди едва ли пользовались бы успехом. Не думаю, чтобы мы были самоувереннее какой-либо другой нации.

Иностранец вздохнул, как бы соглашаясь с этим мнением.

— Это действительно довольно распространенная болезнь,— сказал он.— Посмотрите на них.— И он быстрым взглядом указал на сидевших в купе пассажиров, обычных, заурядных людей.— Что дает им право кичиться своей добродетелью и отворачивать нос от тех, кто живет иначе, чем они? Впрочем, вон тот старик земледелец, пожалуй, не такой: он вообще никогда не думает; зато посмотрите на эту пару: как они увлеклись своей глупой болтовней о ценах на хмель, о видах на урожай картофеля, о проделках какого-то Джорджа и о тысяче подобных мелочей! Взгляните на их лица! Я ведь сам из буржуа, и я вас спрашиваю: проявили ли эти люди хоть раз такие качества, которые давали бы им право гладить себя по головке? Куда там! Они знают только, как растить картошку; и все непонятное внушает им ужас и презрение. А таких миллионы! *Voilà la société!*¹ Этим людям свойственно одно: трусость! Я воспитывался у иезуитов,— заметил он в заключение,— они научили меня, как надо думать.

При обычных обстоятельствах Шелтон, следуя правилам хорошего тона, произнес бы: «Ах, вот как!» — и уткнулся бы носом в спасительные страницы «Дейли телеграф». Но сейчас, повинувшись непонятному побуждению, он взглянул на молодого человека и спросил:

— Почему вы говорите все это именно мне?

Бродяга — ибо, если судить по его башмакам, он

¹ Вот каково общество! (франц.)

вряд ли мог быть кем-либо иным — минуту помедлил и затем, словно решившись говорить правду, ответил:

— Когда вот так постраниствуешь по свету, как я, появляется особый инстинкт, который подсказывает, кого следует выбирать в собеседники и каким тоном с ним разговаривать. Все в жизни диктуется необходимостью, и, если хочешь жить, нужно научиться всем этим премудростям, иначе пропадешь.

Шелтон, который и сам обладал довольно гибким умом, не мог не заметить, что под этими словами скрыт тонкий комплимент. Молодой человек словно хотел сказать ему: «Я уверен, что вы не поймете меня превратно и не сочтете бездельником только потому, что я изучаю человеческую природу».

— Но разве ничего нельзя сделать для этой бедной девушки?

Новый знакомый Шелтона пожал плечами.

— Разбитая чашка,— сказал он.— Ее теперь уже не склеишь. Она едет к своей кухне в Лондон и надеется, что та ей поможет. Вы дали ей денег, чтобы добраться до Лондона, и это все, что вы можете для нее сделать. Что ждет ее в дальнейшем, слишком хорошо известно.

— Но это же ужасно!— с искренним возмущением проговорил Шелтон.— Разве нельзя убедить ее вернуться домой? Я бы с радостью...

Молодой человек покачал головой.

— *Mon cher monsieur*,— сказал он,— вы, видимо, до сих пор не имели случая узнать, что такое семья. Семья не любит подпорченного товара: у нее не найдется доброго слова для сына, который запустил руку в кассу, или для дочери, которую нельзя уже выдать замуж. На что она им, черт возьми, такая? Уж лучше привязать ей камень на шею и сразу утопить. Все мы христиане, но быть христианином далеко не то же, что быть добрым самаритянином.

Шелтон взглянул на девушку, которая сидела неподвижно, сложив руки на сумке, и в душе его поднялось возмущение против несправедливости жизни.

— Да,— заметил иностранец, словно угадывая его мысли,— то, что мы называем добродетелью, почти всегда не более как удача.— И он обвел взглядом своих соседей, как бы говоря: «Ну, конечно, сила условностей! По-

жалуйста, придумывайте себе условности, только не кичитесь, как павлины, тем, что вы их придерживаетесь: все в мире только трусость и удача, друзья мои, только трусость и удача!»

— Послушайте,— сказал Шелтон,— я дам ей мой адрес, и если она захочет вернуться домой, пусть напишет мне.

— Она никогда не вернется домой: у нее не хватит на это мужества.

Шелтон поймал подобострастный взгляд девушки; в ее слегка отвисшей нижней губе было что-то чувственное, и Шелтон понял, что молодой человек прав.

«Лучше им, пожалуй, не давать моего домашнего адреса»,— подумал он, взглянув на лица сидевших напротив него молодых людей, и написал следующее: «Контора Парамора и Херринга, Линкольнс-Инн-Филдс, для Ричарда Парамора Шелтона».

— Вы очень добры, сэр. Меня зовут Луи Ферран. Адреса пока не имеется. Я постараюсь растолковать ей, в чем дело: сейчас она невменяема.

Шелтон снова уткнулся в газету, но он был слишком взволнован, чтобы читать: слова молодого незнакомца продолжали звучать у него в ушах. Он поднял глаза. Пухлая рука дамы с римским профилем по-прежнему лежала у нее на коленях, только теперь она была втиснута в черную перчатку с толстым белым швом. В хмуром взгляде дамы, устремленном на него, сквозило недоверие, словно он оскорбил ее чувство приличия.

— Он не получил с меня ни гроша,— громко сказал краснощекий мужчина в заключение разговора о сборщиках налогов.

Раздался громкий свисток паровоза, и Шелтон снова взялся за газету. Он скрестил ноги, твердо решив на сей раз насладиться чтением репортажа о последнем убийстве, и снова поймал себя на том, что разглядывает насмешливое лицо длинноносого незнакомца.

«Этот парень много видел и много перечувствовал,— подумал он,— раз в десять больше, чем я, хотя он моложе меня лет на десять».

Чтобы отвлечься от этих мыслей, Шелтон стал смотреть на пробегающий мимо пейзаж с ровными рядами изгородей и родными его сердцу рощицами, на апрель-

ские облака. Но странные мысли не оставляли его в покое, и он досадовал на себя: этот молодой иностранец и разговор с ним вывели его из равновесия. Он словно вступил на неведомый ему дотоле путь размышлений и познаний.

ГЛАВА II

АНТОНИЯ

За пять лет до описанного выше путешествия, в конце летних состязаний по гребле, Шелтон стоял на пристани, принадлежащей колледжу, в котором он раньше учился. Он уже несколько лет как вышел из стен университета, но гребные гонки по-прежнему привлекали его в Оксфорд.

Лодки как раз проходили мимо пристани; все устремились к перилам, и в эту минуту плечо Шелтона коснулось мягкого девичьего плеча. Он увидел рядом девушку с белокурыми волосами, перехваченными лентой; лицо ее разгорелось от возбуждения. Изящная линия подбородка, тонкая шея, пушистые волосы, быстрые движения и спокойная сила, дремлющая в серо-голубых глазах, мгновенно поразили воображение Шелтона.

— Но мы должны догнать их! — прошептала она.

— Ты не знаком с моей семьей, Шелтон? — раздался голос у него за спиной, и вслед за тем девушка подарила его быстрым и застенчивым прикосновением руки, потом он коснулся теплых пальцев дамы с добрыми глазами зайчихи и почувствовал крепкое пожатие джентльмена с тонким орлиным носом на загорелом насмешливом лице.

— Это вы и есть тот самый мистер Шелтон, который играл на барабане в Итоне? — спросила дама. — Мы так много слышали о вас от Бернарда. Вы ведь были его идеалом! Как мне жаль этих бедных юношей в лодках!

— Но это для них удовольствие, мама! — воскликнула девушка.

— Антонии надо бы самой заняться греблей, — заметил ее отец. Его фамилия была Деннант.

Шелтон пошел проводить их до отеля, где они остановились, и, шагая рядом с Антонией по лужайкам кол-

леджа Крайстчерч, рассказывал ей эпизоды из своей университетской жизни. В тот вечер он обедал вместе с ними и, уходя, чувствовал себя так, словно выпил бокал шампанского.

Деннанты жили в шести милях от Оксфорда, в своем имении Холм-Окс; два дня спустя Шелтон побывал у них с визитом. И с тех пор, где бы он ни был: готовился ли к адвокатури, играл ли в крикет, участвовал ли в гонках или охотился, стоило ему почувствовать в воздухе свежее дуновение — запах сена, жимолости, клевера, — как перед ним вставал образ Антонии, нежные краски ее лица и прямой, открытый взгляд холодных глаз. Но прошло два года, прежде чем он вновь увидел ее. Он приехал тогда к Деннантам по приглашению Бернарда — играть в крикет с владельцами Холм-Окса против владельцев соседнего имения; вечером устроили танцы на лужайке. Белокурые волосы Антонии были теперь зачесаны кверху, но глаза остались прежними. Шелтон и Антония словно всю жизнь танцевали вместе: они кружились по скользкой траве дольше всех остальных пар. Это, видимо, и заставило Антонию проникнуться к нему уважением. Шелтон был строен, немного выше ее ростом, и, должно быть, говорил о том, что интересовало ее. Он узнал, что ей семнадцать лет; она же узнала, что ему двадцать девять. В последующие два года Шелтон приезжал в Холм-Окс всякий раз, как его туда приглашали; эти годы были для него полны очарования: игры, охота на лисят, любительские спектакли и доносящиеся издали звуки музыкальных упражнений. В глазах Антонии с каждым разом появлялось все больше теплоты и любопытства, а в его собственных — все больше застенчивости, сдержанности и затаенного огня. Затем смерть его отца, кругосветное путешествие и, наконец, это странное смешение самых противоречивых чувств, когда однажды утром, в марте, он сошел с парохода в Марселе и сел на поезд, отправлявшийся в Йер.

Антония жила в одном из тех первоклассных отелей, окруженных соснами, куда съезжаются сливки английского общества вкупе с праздными американцами, русскими княгинями и богатыми евреями; Шелтон не был бы шокирован, если бы она жила где-либо в другом месте, но это удивило бы его. Быстрым, вниматель-

ным взглядом голубых глаз она окинула его загорелое лицо и недавно отращенную бородку, которой он почему-то бесконечно гордился и за которую теперь, казалось, извинялся всем своим видом, и в глазах ее промелькнуло очень дружелюбное и вместе с тем вовсе не дружелюбное выражение. Глаза эти как будто говорили: «Ну вот, вы снова с нами. Как я рада! Но... что же дальше?»

Он был милостиво допущен к их отдельному, священному и неприкосновенному столику в ресторане отеля. Продолговатый, накрытый белоснежной скатертью, столик этот стоял в глубине просторной ниши; тут дважды в день, наслаждаясь созданной ими особой атмосферой, восседали высокородная миссис Деннант, мисс Деннант и высокородная Шарлотта Пенгвин — чахоточная старая дева, доводившаяся Антонии теткой.

Шелтону стало немного не по себе, когда он впервые увидел их за завтраком. Почему от них веяло такой странной обособленностью?

Миссис Деннант склонилась над фотографическим аппаратом.

— Вы знаете, боюсь, что недодержка, — промолвила она.

— Какая жалость! Котенок был такой милый!

Старая дева положила свое вязанье — красный шелковый галстук — рядом с тарелкой и устремила на Шелтона проникновенный благовоспитанный взор.

— Смотрите, тетушка: опять этот забавный человечек! — быстро проговорила Антония своим звонким голосом.

— О, — произнесла старая дева и при этом улыбнулась, обнажив верхние зубы; глазами она искала забавного человечка (который не был англичанином), — он такой милый!

Шелтон не стал искать глазами забавного человечка; украдкой он бросил взгляд на Антонию — только на ее чистый лоб, слегка взлетающие кверху брови, волосы, еще растрепанные после прогулки на ветру. С этого мгновения он стал ее рабом.

— Мистер Шелтон, вы что-нибудь понимаете в этих стереоскопических аппаратах? — донесся до него голос миссис Деннант. — Ими так удобно снимать здания, но

все здания такие неинтересные! Главное — это интересный человеческий материал, не так ли?

И взгляд ее рассеянно скользнул мимо Шелтона в поисках интересного человеческого материала.

— Мама, вы не записали, какие сделали снимки!

Миссис Деннант достала маленькую кожаную книжечку из маленькой кожаной сумочки.

— Так легко забыть, что снимаешь, — проронила она. — Вот ведь досада!

Обособленность Деннантов перестала вызывать в Шелтоне чувство неловкости: ни сами они, ни дела их уже не возмущали его. Было что-то прямо бесподобное в том, как они выходили из столовой, не замечая, какими смешными кажутся всем тем, кого сами находили смешными, когда сидели за столом; и он выходил вслед за ними из зала, неестественно выпрямившись и чувствуя себя полнейшим дураком.

В последующие две недели он не раз сиживал напротив Антонии в экипаже, когда она выезжала на прогулку в сопровождении своей тетушки, ибо миссис Деннант не любила кататься; он играл с Антонией в теннис; но лишь по вечерам, в долгие вечерние часы, которые они проводили, сидя в плетеных креслах возможно дальше от отопления, он, казалось, по-настоящему ощущал присутствие Антонии. Это уединение сближало их. Тут он превращался из товарища в друга, которому она могла поведать о всех своих надеждах и мечтах. В такие часы, даже когда она сидела молча, безмятежно и старательно делая наброски в альбоме, который никогда ему не показывала, самая поза девушки, исходившая от нее нежная свежесть, быстрые взгляды, которые она с чувством оскорбленного достоинства бросала на окружающих, казалось, говорили, что он ей нужен. Но Шелтон даже не сознавал этого; словно замороженный, он не мог ни размышлять, ни наблюдать, и даже недостатки Антонии очаровывали его. Крошечные веснушки на носу, худощавая девичья фигура, узкие бедра и плечи, изгиб тонкой шеи — все лишь увеличивало ее обаяние. В ней было что-то, напоминавшее о ветре и дожде, какой-то аромат родины, и на прогулках по залитым солнцем дорогам, испещренным черными тенями пальм, она казалась олицетворением туманного английского дня.

Однажды Шелтон пошел с нею играть в теннис к знакомым, а потом они решили прогуляться по ее любимым местам. Сады и пригорки, окаймлявшие дорогу в Тулон, тонули в оранжевой дымке; в воздухе веяло вечерней прохладой; вместе с жарой исчезло и оцепенение, сковывавшее тело, и кровь быстрее побежала по жилам. Справа от дороги какой-то француз играл в шары. Он привел в восхищение Шелтона: огромный, деловитый и довольный, он умилительно трусил рысцой по площадке, не сгибая могучего тела. А на лице Антонии, бросившей мельком взгляд на гиганта, отразилось отвращение. Вдали показались развалины старинной башни, и Антония вдруг побежала к ним.

Шелтон не старался нагнать девушку: он смотрел, как она прыгает с камня на камень; по временам она оборачивалась, и во взгляде ее сквозил вызов. Она достигла вершины холма, и он остановился, любуясь ею. Она, как статуя, возвышалась над простиравшимся далеко внизу прекрасным миром. Щеки ее разрумянились, глаза блестели, юная грудь дышала взволнованно и глубоко, длинные рукава платья ниспадали широкими свободными складками,—казалось, что она парит в воздухе.

Шелтон одним прыжком очутился возле нее; сердце его так билось, что он задыхался и был бледен, как мертвец.

— Антония,— прошептал он,— я люблю вас!

Она вздрогнула, словно эти слова, ворвавшись в мир ее грез, вернули ее на землю; но лицо Шелтона, должно быть, дышало такой страстью, что промелькнувшая в глазах девушки досада тотчас исчезла.

Несколько минут они стояли молча, потом повернулись и пошли домой. Шелтон мучительно старался догадаться, что означает румянец, заливший ее лицо. Неужели он может надеяться? Неужели... А вечером некий инстинкт, ниспосылаемый порою влюбленным взамен рассудка, заставил его уложить чемодан и отправиться в Канны.

Через два дня Шелтон вернулся; войдя в зимний сад, он увидел группу, сидевшую посреди комнаты, и услышал голос тетушки, читавшей вслух статью из «Морнинг пост».

— Не правда ли, как мило! — донеслось до Шелтона, и тут она увидела его. — А, вот и вы! Очень мило, что вы вернулись.

Шелтон опустился в плетеное кресло. Антония, оторвавшись от своего альбома, быстро подняла на него глаза и протянула руку, но не сказала ни слова.

Шелтон смотрел на ее склоненную головку, и постепенно радость его испарялась, уступая место унынию. Целых пять томительных минут он с вымученным оживлением отвечал на расспросы тетушки, интересовавшейся, где он был и что делал. Но вот старая дева снова принялась за чтение «Морнинг пост».

Легкое прикосновение к рукаву заставило его вздрогнуть.

— Хотите взглянуть на мои наброски? — спросила Антония, наклонившись к нему; матовая белизна ее шеи резко подчеркивала яркий румянец, разлитый по щекам.

Почтенная старая дева продолжала читать почтенную газету, и звук ее монотонного голоса казался Шелтону, склонившемуся над альбомом с рисунками, самой сладостной музыкой на свете...

— Милый Дик, — сказала миссис Деннант Шелтону две недели спустя, — мы хотели бы, чтобы вы, после того как уедете отсюда, до июля не встречались с Антонией. Я, конечно, знаю, что вы уже считаете себя женихом и получили по этому поводу немало поздравительных писем. Но Алджи полагает, что вы должны дать друг другу время обдумать ваше решение. Молодежь не всегда знает, чего она хочет. Да и ждать придется недолго.

— Три месяца! — ахнул Шелтон.

Ему пришлось проглотить эту горькую пилюлю, и он старался по возможности не показывать своего разочарования. Выбора не было. Антония торжественно и даже с каким-то странным удовольствием повиновалась матери, словно ожидая, что отсрочка пойдет ей на пользу.

— По крайней мере, нам будет чего ждать, Дик, — сказала она.

Шелтон как можно дольше откладывал свой отъезд и уехал в Англию только в конце апреля. Антония провожала его одна. Моросил дождь, но она, казалось, была

равнодушна к непогоде, и ее высокая тонкая фигура в плаще резко выделялась среди дрожавших от холода местных жителей. Шелтон с тоскою пожал ее руку, ощущая теплоту кожи сквозь мокрую перчатку; ее улыбка была до того ослепительна, что казалась бессердечной.

— Вы ведь будете мне писать? — прошептал он.

— Ну, конечно! Не надо быть таким глупым, Дик, милый!

Поезд тронулся, она побежала рядом, и, перекрывая стук колес, до него донеслось ее «до свидания» — пронзительное и звонкое. Он видел, как она вскинула руку, махая зонтиком, а потом все слилось вдали в одну сплошную массу, из которой выделялось лишь яркое пятно ее пунцового берета.

ГЛАВА III

ЗВЕРИНЕЦ

В Лондоне, когда Шелтон получал на вокзале багаж, мимо него прошла молодая иностранка — его соседка по вагону, — и хотя Шелтону хотелось сказать ей несколько ободряющих слов, он ничего не сумел придумать и лишь виновато улыбнулся. Девушка скоро исчезла из виду, смешавшись с толпой; тут Шелтон обнаружил, что один из его чемоданов еще не доставлен, и это обстоятельство заставило его забыть о ней. Но кэб, отвозивший его домой, обогнал молодого иностранца, который шел враскачку, большими шагами по направлению к Пэл-Мэлу, — во всей его фигуре чувствовались сосредоточенное внимание и разочарованность.

Прошли первые дни суматохи после приезда, и время потянулось для Шелтона мучительно долго. Июль казался таким далеким, словно до него было еще сто лет; перед Шелтоном вставали глаза Антонии, в них был безнадежный, робкий призыв. Ведь она и в Англию-то вернется не раньше чем через месяц!

«В поезде по дороге из Дувра я встретил одного молодого иностранца, — писал он Антонии. — Престранный тип! Разговор с ним подействовал на меня, точно яд. Все окружающее представляется мне теперь таким плос-

ким и бессмысленным; только Ваши письма и приносят отраду... Вчера со мной обедал Джон Нобл; бедняга пытался убедить меня выставить свою кандидатуру в парламент. Но есть ли у меня основания считать, что я могу издавать законы для несчастных, которых мы во множестве встречаем на улицах? Если по выражению лица можно судить, счастлив ли человек, то мне не хотелось бы нести никакой ответственности за то...»

И действительно, улицы Лондона, которые Шелтон теперь вновь увидел после долгого пребывания на Востоке, давали немалую пищу для размышлений: удивительное самодовольство на лицах прохожих; нескончаемая суета; ужасающие контрасты — жалкие измученные женщины и рядом с ними упитанные мужчины с похотливым, тупым взглядом бычьих глаз, — Шелтон видел их повсюду: в окнах клубов, на уличных перекрестках, на козлах, у входов в отели — всюду, где они исполняли свои повседневные обязанности; крикливо одетые женщины с жестким, алчным взглядом и бледные мужчины с глазами затравленного животного; блестящие дамы в роскошных экипажах и оборванные нищие в измятых кепках — все то же самое, и никому ни до кого нет дела!

Как-то в мае Шелтон получил письмо, написанное по-французски:

«3, Блэнк-Роу,
Вестминстер.

Дорогой сэр,

Простите, что я осмеливаюсь напомнить Вам о том, что Вы любезно предложили мне свою помощь в тот день, когда мы ехали в одном вагоне из Дувра в Лондон и мне посчастливилось познакомиться с таким человеком, как Вы. Я обегал весь город, готовый взяться за любую работу; деньги мои подходят к концу, состояние духа самое подавленное, — вот я и решился воспользоваться Вашим разрешением и, зная Ваше доброе сердце, обратиться к Вам. Со времени нашей встречи я пережил бездну всевозможных несчастий, и, кажется, не осталось ни одной двери, в которую бы я не постучал! Я заходил в контору, которую Вы мне указали, но там отказались сообщить Ваш адрес, ибо я, к сожалению,

очень оборван. Не правда ли, как это характерно для англичан? Мне предложили написать Вам письмо и обещали его переслать. Вы — моя единственная надежда, и, какое бы решение Вы ни приняли, я останусь по-прежнему

преданный Вам Луи Ферран».

Шелтон еще раз взглянул на письмо и увидел, что оно написано неделю тому назад. Перед ним возникло лицо молодого человека — выразительное, живое, насмешливое, в ушах зазвучал его быстрый французский говор, и по какой-то странной ассоциации одновременно, с поразительной ясностью, возник образ Антонии. Ведь он встретил француза в конце своего путешествия из Йера в Лондон, и это как бы давало молодому человеку право рассчитывать на его помощь.

Шелтон надел шляпу и поспешил на Блэнк-Роу. Он отпустил кэб на углу Виктория-стрит и с трудом нашел нужный номер дома. Это была ночлежка, а потому подъезд отсутствовал: прямо от входа начинался коридор, выложенный каменными плитами. Шелтон постучал в опускающееся окошечко, какие бывают в кассах, чтобы привлечь внимание неряшливой женщины с хлопьями мыльной пены на руках; она сообщила ему, что молодой человек, о котором он спрашивает, уехал, не оставив адреса.

— А нельзя ли у кого-нибудь узнать о нем? — спросил Шелтон.

— Как же, тут есть один француз.

Она приоткрыла дверь, ведущую внутрь дома, и, рывком: «Эй, француз! Зовут», — исчезла.

На ее зов вышел маленький, весь высохший человек с желтым лицом, таким опустошенным и потрепанным, словно жизнь провела по нему паровым катком; он остановился, как будто обнюхивая Шелтона, и тот подумал, что он странно похож на зверька в клетке.

— Он уехал отсюда дней десять тому назад вместе с одним мулатом. Могу я полюбопытствовать, зачем он вам нужен? — Желтое лицо француза недоверчиво сморщилось.

Шелтон вынул письмо.

— А, так я знаю вас. — Бледная улыбка резче обозначила морщинки у глаз. — Он говорил о вас. «Если

только я сумею найти его,— говорил он,— я спасен». Мне нравился этот молодой человек: у него был живой ум.

— Нельзя ли найти его через вашего консула?

Француз покачал головой.

— Это все равно, что искать алмазы на дне моря,— сказал он.

— А не может он сюда вернуться, как вы думаете? Впрочем, вы тогда и сами вряд ли будете здесь.

Француз иронически усмехнулся, блеснув зубами.

— Я? Ну нет, сэр! Было время, я тешил себя надеждой, что всплыву когда-нибудь на поверхность, но теперь я больше себя не обманываю. Я брею здешнюю публику, чтобы заработать себе кусок хлеба, и буду этим заниматься до судного дня. Но вы все-таки оставьте у меня письмо: Ферран вернется. У него тут заложено пальто,— он получил за него немного денег, а оно стоит куда больше. Да, конечно, он вернется: это принципиальный юноша. Оставьте у меня письмо, я всегда здесь.

Шелтон колебался, но последние слова француз — «Я всегда здесь» — тронули его своей простотой. Ничего более страшного этот человек не мог бы сказать.

— В таком случае принесите мне, пожалуйста, листок бумаги,— попросил Шелтон.— Сдачу оставьте себе за труды.

— Благодарю вас,— просто ответил француз.— Ферран говорил мне, что у вас доброе сердце. Если вы не возражаете, я провожу вас на кухню, там вы сможете спокойно написать письмо.

На кухне, тоже выложенной каменными плитами, Шелтон присел к столу и стал писать; в комнате, кроме него, сидел высохший старик, который без конца бормотал что-то себе под нос, и Шелтон, подозревая, что он пьян, старался не привлекать его внимания. Однако, когда Шелтон уже собрался уходить, старик вдруг обратился к нему с вопросом.

— Скажите, мистер, бывали вы когда-нибудь у зубного врача? — с легким ирландским акцентом спросил он, стараясь иссохшими пальцами выдернуть шатающийся зуб.— Я вот как-то пошел к врачу, который утверждал, что пломбирует зубы без боли; мошенник и впрямь запломбировал мне зубы без боли, да только разве эти пломбы удержались? Как бы не так, все вылетели, не ус-

пел я и глазом моргнуть. Ну, скажите на милость, разве это можно назвать лечением зубов? — И, устремив взгляд на воротничок Шелтона, который, как на грех, был высокий и чистый, он продолжал с пьяной злобой: — И все так в этой фарисейской стране! Одни разговоры о высокой нравственности, об англосаксонской цивилизации! Никогда еще мир не падал так низко! А какая здесь, к черту, нравственность? Высокая нравственность лавочников! В каком состоянии находится искусство в этой стране?! Какие идиоты кривляются на сцене! Какие картины и книги находят тут сбыт! Я-то знаю, что говорю, хоть я и человек-реклама! А в чем секрет? В том, что эта страна — большая лавка, мой милый. Невыгодно добираться до сути вещей! Пощекотать — пожалуйста, но ударить ножом — нет! Мы не выносим вида крови. Верно я говорю?

Шелтон стоял растерянный, не зная, отвечать или нет, а старик помолчал немного, поджав губы, и продолжал:

— Видите ли, сэр, в этой отравленной туманами стране не существует крайностей. Как, по-вашему, такая мразь, как я, должна существовать? Почему же буржуа не уничтожают нас? Все полумеры да полумеры, а почему? Потому что они против крайностей. Взгляните на женщин: ведь здешние улицы — позор на весь свет! Буржуа не признают, что все это существует; они так задрали носы, что и знать ничего не хотят! Они закрывают глаза на то, что творится в этой торгашеской стране. Это им выгодно, мой милый, — сообщил он Шелтону, понизив голос. — Вы говорите: почему бы им так не поступать? — заметил он, хотя Шелтон за все время не проронил ни слова. — Ну, что ж, пусть себе, на здоровье! Только не уверяйте меня тогда, что это высокая нравственность, что это цивилизация! Чего же можно ждать от страны, где живым страстям никогда и никак не дозволено проявляться! Ну, и что получается? Получается мой милый, сплошное суюсюканье — такая желтая штука с голубыми разводами, вроде плесени или стилтонского сыра. Пойдите в театр и посмотрите, что они там играют! Разве это пища для взрослых людей? Это сладкая каша для детей и приказчиков! Я сам был актером, черт подери!

Слова старого актера и забавляли и страшили Шелтона; он слушал его до тех пор, пока старик не умолк, сгорбившись на своем табурете у стола.

— Вы, наверно, никогда не напиваетесь,— внезапно заметил тот,— как видно, в вас слишком силен английский дух.

— Да, я пью очень редко,— сказал Шелтон.

— Жаль! Вы себе и представить не можете, как много удовольствия в забвении! Я вот напиваюсь каждый вечер.

— Сколько же вы протянете, если будете так пить?

— Вот в вас и заговорил англичанин! Стоит ли отказываться от единственного наслаждения, чтобы продлить столь жалкую жизнь, как моя? Если у человека еще есть, ради чего быть трезвым,— пусть будет трезвым, пожалуйста; а если нет, то чем скорее напьешься, тем лучше,— ясно, как день.

В коридоре Шелтон спросил у француза, кто этот старик.

— Какой-то англичанин. Да, да, из Белфаста. Пьяница невероятный. Все вы, англичане, пьяницы.— И он махнул рукой.— Вот этот уж больше и есть не может: все утро у него сгорело. Очень жаль: он человек с умом... Кстати, мосье, если вы никогда не видели подобных дворцов, я с удовольствием покажу вам наши покои.

Шелтон достал портсигар.

— Да, да,— продолжал француз,— я-то уж привык к здешнему воздуху.— Он поморщился и взял предложенную Шелтоном папиросу.— А вот вы разумно поступаете, что курите: тут у нас далеко не гарем.

И Шелтон устыдился своей брезгливости.

Француз провел его наверх и открыл дверь.

— Вот полюбуйтесь на эти апартаменты,— сказал он.— Такие здесь отводятся принцам крови.

В комнате стояли четыре железные кровати; француз с видом заправского гида подошел к одной из них и откинул край грязного ватного одеяла.

— Жильцы уходят утром,— продолжал он,— зарабатывают ровно столько, чтобы напиться, потом заваливаются спать, и на следующее утро все начинается сначала. Так и проходит их жизнь. Есть люди, которые считают, что таких субъектов следует перевоспитать, но,

mon cher monsieur, нужно все-таки немножко считаться с действительностью, даже здесь, в Англии. Было бы куда лучше, если бы эти субъекты занялись перевоспитанием высшего общества. Ведь именно высшее общество порождает их — что посеешь, то и пожнешь. Selon moi¹, — продолжал он, опустив край одеяла и пуская дым через нос, — между вашим высшим обществом и вот этими субъектами нет большой разницы: как те, так и другие жаждут удовольствий, как те, так и другие думают только о себе, и это вполне естественно. Одним повезло, ну, а другим — сами видите! — И он пожал плечами. — Компания тут скверная. Меня уже обкрадывали раз пять. Если у вас новые башмаки, хороший пиджак или пальто, вам мало одной пары глаз... А насекомые тут!.. Попробуйте лечь на чужую постель, и вы определенно не будете спать в одиночестве. V'la ma clientèle!² Половина мне даже не платит! — Он щелкнул желтыми костлявыми пальцами. — Бритье — пенни, стрижка — два. Quelle vie!³ Вот здесь, — продолжал он, останавливаясь у одной из кроватей, — ночует джентльмен, который должен мне пять пенсов. А вот тут спит бывший солдат. Это конченный человек! Все они затравленные, ни у одного не осталось и капли мужества. Но, видите ли, мосье, — проговорил он, открывая другую дверь, — уж если человек опустился до жизни в таких домах, у него непременно должен быть какой-то порок: здесь он так же необходим, как воздух для легких. Неважно, какой у вас порок, но вы должны иметь его, чтоб было хоть маленькое облегчение — un peu de soulagement. Так вот, прежде чем осуждать этих свиней, поразмыслите немного о том, что такое жизнь. Я-то испытал все это; и, знаете, мосье, не очень приятно себя чувствуешь, когда не знаешь, будет ли у тебя сегодня обед. Сытые джентльмены, у которых достаточно денег в карманах и которые знают, что завтра у них опять будут деньги, никогда не думают о подобных вещах, pas de danger!⁴ Все клетки тут одинаковые. Пойдемте вниз — вы посмотрите нашу буфетную.

¹ Я считаю (франц.).

² Вот вам мои клиенты! (франц.)

³ Ну и жизнь! (франц.)

⁴ Будьте спокойны! (франц.)

Через кухню, которая, видимо, заменяла в этом заведении гостиную, он провел Шелтона в чулан, заваленный грязными ножами, чашками, блюдами и тарелками. Тут тоже был камин, в котором горел огонь.

— У нас всегда есть горячая вода,— пояснил француз,— а три раза в неделю топят вон ту печь,— и он указал на подвальное помещение,— чтобы наши клиенты пропаривали своих вшей. Ничего не скажешь, полный комфорт!

Шелтон вернулся на кухню и тут же распростился с маленьким французом, а тот, желая подольше удержать Шелтона, чтобы снискать его расположение и, быть может, превратить в своего покровителя, сказал:

— Будьте спокойны, мосье, если только этот молодой человек вернется, он тут же получит ваше письмо. Моя фамилия Каролан, Жюль Каролан, и я всегда к вашим услугам.

ГЛАВА IV

В ТЕАТРЕ

Шелтон вышел на улицу с таким ощущением, словно он только что очнулся от тяжелого кошмара. «Этот старик актер просто пьян,— думал он,— и, конечно, он ирландец, но все же в его словах есть доля правды. Я фарисей, как и все те, кто не на дне. Моя порядочность — не более как счастливая случайность. Неизвестно, чем бы я стал, родился я в таких условиях, как этот актер». Шелтон всматривался в человеческий поток, выливавшийся из магазинов, стараясь угадать, что скрывается под невозмутимым самодовольством, написанным на лицах. Что, если бы все эти леди и джентльмены очутились там, на дне, куда он только что заглянул? Сумел бы хоть один из них выбраться оттуда? Но Шелтон был не в силах представить себе их на дне: слишком уж это казалось невероятным, нелепым и невероятным.

Среди грязи, грохота и суеты мрачных, уродливых, бесшабашно веселых улиц его внимание привлекла одна пара — красивый крупный мужчина с женой, высту-

павшие рядышком в чинном молчании; видимо, они купили что-то и были очень довольны покупкой. В их манере держаться не было ничего оскорбительного, они, казалось, просто не замечали проходящей мимо толпы. От фигуры мужчины, широкоплечей и плотной, веяло непоколебимой самоуверенностью, присущей тем, у кого есть лошади, охотничьи ружья и несессеры. Его жена, уютно уткнувшись подбородком в мех, шла рядом, не отрывая серых глаз от земли; когда же она заговорила, ее ровный, невозмутимо спокойный голос долетел до уха Шелтона, несмотря на грохот улицы. Он звучал размеренно и неторопливо, словно его обладательница никогда и ничего не говорила сгоряча, словно в нем никогда не прорывались ни усталость, ни страсть, ни страх. Разговор их, как и разговор многих десятков других благопристойных пар, прибывших из своих поместий и наводнявших в эту пору Лондон, вертелся вокруг того, где пообедать, в какой театр пойти, кого навестить, что купить. И Шелтон знал, что целый день, с утра и до вечера, и даже в постели, то будут единственные темы их разговора. Это были чрезвычайно благовоспитанные люди, каких он встречал в поместьях своих друзей и чье существование принимал как должное, хотя неясные сомнения и шевелились порою в его душе. Дом Антонии, например, был всегда полон ими. Это были чрезвычайно благовоспитанные люди, которые занимаются благотворительностью, знают всех и каждого, обо всем судят уверенно и спокойно и относятся нетерпимо к поведению, считающемуся, на их взгляд, «невозможным», — ко всякого рода преступлениям против морали, таким, как промахи в соблюдении этикета или же бесчестные поступки, проявления страсти или сочувствия. В строго определенных случаях последнее, конечно, допускалось: например, в связи с законной печалью, когда кто-нибудь умирал в их семье или в их кругу. Каким благополучием веет от них!.. Воспоминание о ночлежке, словно яд, разъедало мозг Шелтона. Он сознавал, что хороший костюм и сдержанная уверенность походки делают его похожим на ту пару, которая привлекла его внимание. «До чего же мы пошлы в своей утонченности», — подумал он. Но он сам едва ли верил в искренность своего негодования. Эти люди такие благопристойные, у них

такие хорошие манеры, они так хорошо держатся, что, право, непонятно, чем они, собственно, раздражают его. Что в них такого неладного? Они выполняют свои обязанности, у них хороший аппетит, чистая совесть — все, что необходимо примерному гражданину; они лишены только органов чувств,— Шелтон читал где-то, что они атрофируются у растений и животных, которые потеряли необходимость в них. Некий редкий, присущий всей нации дар видеть лишь то, что бросается в глаза и что представляет конкретную, осязаемую ценность, лишил этих людей способности улавливать краски и запахи, проносящиеся справа или слева от них.

Дама взглянула на мужа. В ее безмятежных серых глазах сквозила спокойная привязанность собственницы, и отблеск этого законного чувства освещал ее лицо, слегка покрасневшее от ветра. Муж тоже посмотрел на нее спокойным, деловитым, покровительственным взглядом. Как они похожи друг на друга! Он выглядит, конечно, так же, когда подходит к ней вечером в белоснежной рубашке и просит поправить ему белый галстук; так же выглядит и она, стоя перед трюмо и застегивая на шее подаренное им кольцо. Спокойные, благодушные собственники! Шелтон обогнал их и пошел следом за другой, менее изысканной парой, все поведение которой говорило о взаимной неприязни, столь же несомненной и естественной, как и безмятежное согласие и любовь первой пары. Впрочем, неприязнь эта тоже была вполне благопристойным чувством и вызвала в Шелтоне примерно такие же ощущения. Словом, замкнутый круг: пара за парой, и все одинаковые,— казалось, что стучишься в наглухо заколоченную дверь. Толпа была безлика — все гладко и плоско, как картон. Люди погрязли в житейской трясине: ни одна нога не торчит из этой топи, ни одна голая мокрая рука не тянется к небесам; лавочники, аристократы, рабочие, чиновники — все выглядят одинаково респектабельно. Да и у самого Шелтона вид не менее респектабельный, чем у любого из них.

В таком подавленном настроении Шелтон вернулся к себе и, поддавшись минутному порыву, как это бывало с ним всякий раз, когда он собирался совершить что-либо неразумное, схватил перо, чтобы поделиться с Антонией хотя бы частью своих дум.

«...Какие все мы мелочные, дорогая! Да, вот то слово, которое может служить нам характеристикой: все мы убоги — и герцоги и мусорщики — убоги, как черви! Оградить свою собственность и свой покой от всяких посягательств, проявлять сочувствие умеренно, лишь настолько, чтобы это не повредило нам самим, — вот предел наших стремлений! В людях есть что-то крайне отталкивающее, и чем они высоконравственнее, тем более отталкивающими они мне кажутся...»

Он на минуту задумался, покусывая перо. Пожалуй, любой из его знакомых, увидев эти строки, посоветовал бы ему сходить к врачу. Ну, разве земля может вертеться, разве общество может существовать без здравого смысла, практицизма и душевной черствости?

Шелтон взглянул в открытое окно. Внизу, на улице, стояла коляска, и лакей прикрывал пледом колени сидевшей в ней дамы, — их лица, которые отчетливо видны были Шелтону, своей чинной неподвижностью напоминали части хорошо смазанной машины.

Он встал и начал ходить взад и вперед по комнате. Он жил на небольшой площади, примыкавшей к Белгрэви¹, в квартире, где ничто не менялось со смерти его отца, сделавшей Шелтона состоятельным человеком. Шелтон выбрал ее в свое время из-за удачного местоположения. Комнаты были обставлены крайне разнообразно; они не казались голыми, но при более внимательном осмотре обнаруживалось, что в каждом предмете обстановки есть какой-нибудь изъян и что ни один из них, по-видимому, не пользуется особой любовью владельца. Все его вещи были подарками или случайными приобретениями — первым, что в минуту крайней необходимости попадалось ему в магазине. В комнате, конечно, не было грязно, но на всем лежал легкий слой пыли, как обычно бывает в квартирах людей, которые никогда не выговаривают прислуге. А самое главное — ничто не указывало на пристрастие их владельца к чему бы то ни было.

Через три дня Шелтон получил ответ от Антонии:

¹ Аристократический квартал Лондона.

«...Вы пишете: «...чем люди высоконравственнее, тем более отталкивающими они мне кажутся». Я не вполне понимаю, что Вы хотите этим сказать. Разве не нравственность делает человека совершенным? Я не признаю безнравственных людей. Прочитав Ваше письмо, я почувствовала себя такой несчастной,— пришлось для утешения сесть за противный рояль. Последнее время великолепно поиграла в теннис, наконец-то стал получаться удар слева. Урра!»

С той же почтой Шелтон получил записку, написанную твердым почерком:

«Здравствуй, Грач! (Так звали Шелтона в университете.)

Жена на несколько дней уехала к своим, и я остался *en garçon*¹. Если тебе нечего делать, заходи часов в семь, пообедаем, а потом пойдем в театр. Я не видел тебя целую вечность.

Искренне твой Б. М. Хэлидом».

Шелтон сразу решил, что ему нечего делать, ибо очень любил обеды, которые с редким умением устраивал его друг Хэлидом. И вот в семь часов он отправился на Честер-сквер. Шелтон застал своего друга в кабинете: при свете электрической лампы Хэлидом читал Мэтью Арнольда. Стены комнаты были увешаны дорогими гравюрами; подбор их говорил об устойчивом и безошибочном вкусе хозяина; во всем — начиная с резьбы на камине и кончая переплетами книг, начиная с изумительно раскрашенных пенковых трубок и кончая филигранными ручками каминных щипцов,— во всем чувствовались роскошь без претензий, порядок и какая-то утонченность, все указывало на продуманный, строго размеренный уклад жизни. Все в этой комнате было тщательно подобрано. Хозяин поднялся навстречу Шелтону. Это был представительный брюнет, гладко выбритый, с орлиным носом и красивыми глазами; держался

¹ Холостяком (франц.).

он внушительно, с сознанием собственного достоинства, проистекавшего из уверенности в своей правоте.

Взяв Шелтона за лацкан фрака, он притянул его поближе к лампе и, слегка улыбаясь, оглядел его.

— Рад тебя видеть, старина! А знаешь, ты мне даже нравишься с бородой,— заявил он с грубоватой прямолинейностью. Эта фраза наглядно доказывала его способность всегда и обо всем иметь собственные суждения, способность, неизменно восхищавшую Шелтона.

Хэлидом не извинился за скромность обеда, который состоял из восьми блюд и вин трех сортов, подавался дворецким совместно с лакеем и был столь же изысканным, как и вся обстановка; впрочем, Хэлидом никогда и ни в чем не извинялся, а если и делал это, то с той же веселой грубоватостью, которая была куда хуже самого проступка. Он высказывал свое одобрение или неодобрение мягко, но неоспоримо и веско, и эта его манера казалась Шелтону смешной и одновременно унижающей собеседника, но то ли потому, что эгоизм его друга был таким человеческим, здоровым и глубоко укоренившимся, то ли просто потому, что они долго не виделись, Шелтона не раздражала смесь противоречивых чувств, которые возбуждал в нем Хэлидом.

— Кстати, поздравляю тебя, старина,— сказал Хэлидом, когда они ехали в театр: он никогда не поздравлял с вульгарной торопливостью, она не была ему свойственна.— Деннанты — очень приятные люди.

Шелтону показалось, что к его выбору приложили печать.

— Где вы намерены поселиться? Вам следовало бы обосноваться в городе и жить где-нибудь поблизости от нас. Тут можно купить великолепнейший особняк. Вообще район тут великолепный. Ты бросил адвокатуру? Но ведь что-то нужно же делать. Безделье погубит тебя. Вот что, Грач: ты должен выставить свою кандидатуру в совет графства.

Шелтон ничего не успел ответить, так как в эту минуту они подъехали к театру и с великим трудом пробрались к своим местам в партере. До начала спектакля еще оставалось время, и Шелтон успел оглядеть своих соседей. Рядом с ним оказалась дама, с отменной щедростью выставлявшая напоказ полные, пышущие здоровьем

ем плечи; дальше сидел ее муж — краснощекий, лысый, с обвисшими бурыми усами, а за ним — двое мужчин, которых Шелтон знал по Итону. Один из них был темно-волосый, с гладко выбритым обветренным лицом; маленький рот с выпирающей вперед верхней губой и насто-роженные глаза, прикрытые тяжелыми веками, придава-ли его лицу решительное и насмешливое выражение. Все в нем, казалось, говорило: «Эге, дружище, я держу тебя за хвост!» — как если бы он всю жизнь только и де-лал, что охотился на лисиц. Рачьи глаза другого были устремлены на Шелтона с какой-то раздражающей ус-мешкой; густые волосы, расчесанные на прямой пробор и приглаженные мокрой щеткой, аккуратно подстрижен-ные усы и восхитительный жилет — все говорило о том, что это денди, презирающий женщин. Со своих школь-ных товарищей Шелтон перевел взгляд на Хэлидома, который откашлялся и теперь сидел, глядя прямо перед собой, на занавес. И Шелтон вспомнил слова Антонии: «Я не признаю безнравственных людей». Что ж, эти лю-ди были бесспорно высоконравственны: они словно бро-сали вызов природе, отказываясь принять от нее что-либо, кроме нравственности. В эту минуту занавес взвился.

Постепенно и нехотя Шелтон, человек по природе до-верчивый, вынужден был признать, что разыгрываемая на сцене пьеса принадлежит к числу шедевров совре-менной драмы, где автор, создавая свои персонажи, исходит из принципа, что не моральные устои выдуманы людьми, а, наоборот, люди существуют для моральных устоев. И Шелтон стал следить за развитием этой дра-мы, отмечая, как тщательно соблюдается в ней чередова-ние серьезного с веселым.

Замужняя женщина жаждет избавиться от своего мужа — такова суть пьесы; и вот перед Шелтоном раз-вертывается ряд искусно сделанных сцен, в ходе которых приводится сотня доводов, доказывающих всю неправо-мерность и безрассудность подобного желания. Большую часть этих доводов изрекает хорошо сохранившийся по-жилой джентльмен, призванный, видимо, играть роль не-коего поставщика морали.

Шелтон повернулся к Хэлидому и шепнул:
— Этот старый ханжа просто невыносим!..

— Какой старый ханжа? — спросил Хэлидом, удивленно посмотрев на приятеля своими красивыми глазами.

— Да этот старый осел со своими банальностями!

На лице Хэлидома появилось холодное, немного оскорбленное выражение: казалось, ему нанесли личную обиду.

— Ты говоришь о Пэрбрайте? — спросил он. — Помоему, он великолепен.

Получив этот щелчок по носу, Шелтон снова устремил глаза на сцену, ему было не по себе сидеть в кресле, за которое заплатил приятель, и проявить такую невоспитанность! И он принялся следить за развитием действия еще более критически, чем до сих пор. Ему снова пришли на память слова Антонии: «Я не терплю безнравственных людей», — сейчас они словно пролили яркий свет на всю пьесу: да, вот это вещь вполне нравственная!

Наступил кульминационный момент.

Сцена изображала гостиную, освещенную мягким светом электрических ламп; на коврике спала кошка (Шелтон никак не мог понять, настоящая она или нет).

Муж, плотный, высоконравственный мужчина во фраке, пил чистое виски. Наконец он поставил стакан и неторопливо чиркнул спичкой; потом еще более неторопливо зажег сигарету с золотым ободком...

Шелтон был достаточно опытным зрителем. Он уселся поудобнее, чувствуя, что предстоит нечто важное, и, когда спичка полетела в камин, даже наклонился вперед.

Муж налил себе еще виски, залпом осушил стакан и направился было к двери, но внезапно обернулся к зрителям, словно желая открыть им тайну некоего знаменательного решения, и пустил в зал кольца дыма. Он вышел из комнаты, потом вернулся и снова наполнил стакан.

Тут вошла бледнолицая и темноокая дама — его жена. Муж пересек сцену и остановился у камина, широко расставив ноги, — Шелтон почему-то был уверен, что он примет именно такую позу. Муж произнес: «Идите сюда и закройте за собой дверь».

Внезапно Шелтон понял, что перед ним один из тех немых поединков, какие происходят между двумя людьми, испытывающими жгучую ненависть друг к другу, —

ненависть, порожденную физической близостью двух не подходящих друг другу существ. И ему вдруг пришла на память сцена, которую он видел однажды в ресторане. Он вспомнил все до малейших подробностей: мужа и жену, сидевших друг против друга, — их разделяла лишь узкая полоска белой скатерти, а на ней свеча под дешевым абажуром и тонкая зеленая ваза с желтыми цветами. Он вспомнил, какое презрение и гнев чувствовались в их разговоре, хотя они и говорили вполголоса, так что до Шелтона долетали лишь отдельные слова. Он вспомнил холодное отвращение, сквозившее в их взглядах. И самое главное — он вспомнил собственные мысли: впечатление у него было такое, что подобные сцены происходят и будут происходить между ними каждый день. Расплатившись по счету и надевая пальто, он тогда спросил себя: «Чего ради эти люди продолжают жить вместе?» И теперь, прислушиваясь к голосам актеров, обменивавшихся на сцене колкостями, он подумал: «К чему весь этот разговор? Тут словами не поможешь».

Занавес опустился, и Шелтон взглянул на сидевшую рядом даму. Она пожала плечами в ответ на замечание мужа, чье лицо, отмеченное печатью высокой нравственности, выражало возмущение.

— Терпеть не могу безнравственных женщин, — говорил он, но, заметив взгляд Шелтона, вдруг резко повернулся в кресле и насмешливо фыркнул.

Лицо однокашника Шелтона по-прежнему выражало спокойную иронию; на нем была маска легкого любопытства, смешанного с презрением, словно он присутствовал при чем-то крайне неприятном. Его сосед с рачьими глазами зевал.

— Неужели тебе нравится эта пьеса? — спросил Шелтон Хэлидома.

— Не нравится; в последней сцене, по-моему, уж слишком разгорелись страсти.

Шелтон так и подскочил: он хотел сказать, что в последней сцене не чувствовалось никаких страстей.

— Держу пари, что я правильно отгадаю, как все пойдет дальше, — сказал он. — Этот старый осел — как его там зовут? — подкрепитя котлетами и шампанским, перед тем как прочесть лекцию заблудшей жене. Вот увидишь, он докажет ей, как безнравственны ее чувст-

ва, затем возьмет ее за руку и изречет: «Скажите, дорогая, что в этом несчастном мире важнее доброго мнения общества?» — при этом он сделает вид, будто смеется над собственными словами, но совершенно ясно, что этот ханжа именно так и думает. Потом он обрисует положение, в которое она попала, — причем будет изображать все совсем не так, как это было в действительности, а как, по его мнению, должно было бы быть, — и докажет, что для нее единственный путь к спасению — поцеловать своего мужа. — И Шелтон усмехнулся. — Во всяком случае, держу пари, что он возьмет ее за руку и изречет: «Скажите, дорогая!..»

Хэлидом неодобрительно посмотрел на него и повторил:

— По-моему, Пэрбрайт великолепен!

А дальше под громкие аплодисменты публики все произошло именно так, как предсказал Шелтон.

ГЛАВА V

ПРИМЕРНЫЙ ГРАЖДАНИН

Прежде чем покинуть театр, приятели постояли немного в вестибюле, надевая пальто; поток белоснежных манишек несколько задерживался у дверей, образуя водовороты, словно каждому на мгновение становилось страшно выйти из этого рассадника фальшивых чувств и морали на мокрые, пронизанные ветром улицы, где под суровым, бесстрастным небом расцветают и чахнут человеческие цветы, прорастают и гибнут человеческие сорняки. Свет фонарей падал на множество спесивых лиц, сверкал на бесчисленных драгоценностях и шелке цилиндров, струился по мокрым от дождя плитам тротуара, озаряя неровными бликами лошадей, физиономии кучеров и фигуры случайно здесь оказавшихся жалких созданий — тех, что обычно прячутся подальше в тень.

— Пойдем пешком, — предложил Хэлидом.

— Ты замечал, что в современных пьесах непременно выводится «хор сплетников», который выступает в роли чуть ли не бога? — спросил вместо ответа Шелтон.

— Ты чертовски привередлив,— сказал, многозначительно покашливая, Хэлидом.

— Я не склонен смешивать две разные вещи,— продолжал Шелтон.— Конец этой пьесы вызывает тошноту.

— Почему? — удивился Хэлидом.— Какой же тут мог быть другой конец? Не хочешь же ты, чтобы после пьесы оставался дурной привкус во рту?

— Как раз эта пьеса и оставляет такой привкус.

Хэлидом, который шел широким шагом, ибо и в ходьбе, как и во всем остальном, считал необходимым быть всегда впереди, еще больше ускорил шаг.

— Что ты хочешь этим сказать? — вежливо осведомился он.— По-твоему, было бы лучше, если б эта женщина совершила неблаговидный поступок?

— Я имею в виду мужчину.

— Какого мужчину?

— Мужа.

— А что в нем особенного? Правда, он немного невоспитан.

— Не понимаю мужчину, который требует, чтобы женщина жила с ним, когда она этого не хочет.

В тоне Шелтона прозвучал вызов, и это, скорее чем высказанная им мысль, заставило его приятеля с достоинством ответить:

— По этому поводу говорится много всякого вздора. А на самом деле женщинам все равно, просто они наслушались всякой чепухи.

— Ну, с тем же успехом можно сказать голодному: «На самом деле ты ничего не хочешь, просто наслушался всякой чепухи!» Таким способом ничего не докажешь, милый мой.

Ничто не могло больнее уколоть Хэлидома, чем это обвинение в нелогичности, ибо он гордился своей железной логикой.

— Глупости,— сказал он.

— Ничего подобного, старина. В данном случае перед нами женщина, которая жаждет свободы, а ты вдруг утверждаешь, что она ее вовсе не жаждет.

— Такие женщины не заслуживают внимания, они совершенно невозможны, поэтому не будем о них говорить.

Взвесив в уме слова приятеля, Шелтон вдруг улыб-

нулся: он вспомнил, как один его знакомый, когда от него ушла жена, распустил слух, что она сумасшедшая, — теперь это показалось Шелтону крайне забавным. Но тут же у него мелькнула мысль: «Да ведь он, бедняга, вынужден был назвать ее сумасшедшей! Не сделать этого — значило бы признать, что он внушает отвращение, а такого признания от человека трудно ожидать, как бы оно ни было справедливо». Взглянув на Хэлидома, Шелтон понял, что при подобных обстоятельствах и этот тоже может объявить свою жену сумасшедшей.

— Но послушай, — заметил он, — мужчина обязан быть джентльменом даже по отношению к собственной жене.

— В том случае, если она ведет себя, как леди.

— Ах вот как? Я не вижу, какая тут связь.

Хэлидом на минуту перестал возиться с ключом от входной двери; в его красивых глазах сверкнула злая усмешка.

— Знаешь, дорогой мой, — сказал он, — ты слишком сентиментален.

Слово «сентиментален» уязвило Шелтона.

— Либо человек — джентльмен, либо он не джентльмен, и это вовсе не зависит от поведения других людей.

Хэлидом повернул ключ в замке и распахнул дверь в переднюю; свет камина падал на столик с графинами и огромные кресла, придвинутые к огню.

— Ну, нет, Грач, — сказал Хэлидом, вновь обретая всю свою вежливость и закладывая руки за фалды фрака, — разговоры разговорами, но подожди, пока ты сам женишься. Мужчина должен быть в своем доме хозяином и должен дать это почувствовать.

Шелтону пришла в голову забавная мысль.

— Послушай, Хэл, — сказал он, — а как бы ты поступил, если бы твоей жене надоело жить с тобой?

Эта мысль, видимо, показалась Хэлидому нелепой и даже не заслуживающей внимания.

— Я, конечно, не думаю, что это может с тобой случиться, но попробуй представить себя в таком положении.

Хэлидом вынул зубочистку, резким движением ковырнул ею в зубах и потом ответил:

— Я бы не потерпел никаких глупостей! Увез бы ее путешествовать, развлек: она бы живо образумилась.

— Но если бы она и в самом деле чувствовала к тебе отвращение?

Хэлидом прочистил горло. Такая мысль была явно неприличной: как мог кто-либо чувствовать к нему отвращение? Однако он не потерял самообладания и, глядя на Шелтона, как на дерзкого, но забавного ребенка, ответил:

— В таких случаях приходится очень многое принимать во внимание.

— Мне кажется,— сказал Шелтон,— что тут все дело просто в самолюбии. Как можно требовать от женщины того, чего она не хочет?

— Мужчина не должен страдать из-за женских истерик,— наставительным тоном произнес Хэлидом, разглядывая свой стакан.— Нельзя забывать о существовании общества, детей, дома, всяких денежных обстоятельств и тысячи других вещей. Все это хорошо на словах... Тебе нравится это виски?

— Вот вам главное свойство примерного гражданина,— сказал Шелтон,— инстинкт самосохранения!

— Нет, здравый смысл,— возразил Хэлидом.— Я так считаю: прежде всего — справедливость, а уж потом всякие чувства.— Он выпил виски и, затянувшись, пустил дым прямо в лицо Шелтону.— К тому же для многих брак связан с религиозными убеждениями.

— Мне всегда казалось странным,— заметил Шелтон,— что люди, которые называют себя христианами, утверждают, будто брак дает им право поступать по принципу «око за око, зуб за зуб». Что побуждает людей отстаивать свои права, как не уязвленное самолюбие и желание оградить себя от всяких неудобств?.. Пусть люди выставляют какие угодно причины, но мы-то с тобой знаем, что это — сплошное притворство!

— Я так не считаю,— заявил Хэлидом, становившийся тем вышемернее, чем больше горячился Шелтон.— Отстаивая свои права, ты поступаешь так не только ради себя, но и ради всего общества. Если ты стоишь за отмену брака, почему бы не сказать об этом прямо?

— Да нет же! — сказал Шелтон.— С чего ты взял? Ведь я...— И он запнулся: слова «сам собираюсь жениться» чуть не сорвались у него с языка, но ему

вдруг показалось, что это был бы далеко не самый веский и возвышенный довод.— Я могу лишь сказать,— продолжал он более спокойным тоном,— что нельзя насильно заставлять лошадь пить. Великодушие — самый верный путь к сердцам тех людей, в которых есть хоть капля порядочности, а что до остальных — так нужно прежде всего воспрепятствовать их размножению.

Хэлидом усмехнулся.

— Странный ты человек,— сказал он.

Шелтон бросил папиросу в огонь.

— Я тебе вот что скажу.— По ночам его пронизательность обострялась.— Все наши разговоры о том, что мы руководствуемся в своих поступках интересами общества,— сплошное ханжество. Нам важно самим удержаться на поверхности.

Но Хэлидома трудно было вывести из равновесия.

— Прекрасно,— заметил он,— называй это как тебе угодно. Но мне неясно, почему именно я должен идти на дно? Ведь от этого никому не станет легче.

— Следовательно, ты согласен,— сказал Шелтон,— что в основе всей нашей морали лежит присущий каждому инстинкт самосохранения?

Хэлидом потянулся всем своим великолепным телом и зевнул.

— Не знаю, право, так ли это,— начал он,— но...

И вдруг Шелтону показались смешными и упрямо самодовольный взгляд красивых глаз Хэлидома, и эта его поза, исполненная достоинства, и его здоровое тело, и высокомерно узкий лоб, и налет культуры, который, несмотря на врожденную грубость, придает ему вид человека вполне гуманного.

— Да ну тебя, Хэл! — воскликнул он, вскакивая со стула.— Вот ведь старый лицемер! Я пошел домой.

— Нет, постой,— сказал Хэлидом, взяв Шелтона за лацкан; на лице его появилась легкая тень сомнения.— Ты неправ...

— Вполне возможно. Доброй ночи, старина!

Шелтон шел домой, вдыхая полной грудью весенний воздух. Была суббота, и ему повстречалось по дороге немало молчаливых парочек. Повсюду, где только был хоть кусочек тени, он различал очертания двух фигур, которые стояли или сидели, тесно прижавшись друг к

другу; и в их присутствии, казалось, ни одно слово не смело нарушить тишину. Ветер шелестел в распускающейся листве; звезды то вспыхивали, как брильянты, то снова гасли. В кварталах победнее было много пьяных, но это отнюдь не смущало Шелтона. Все, что происходило на этих мрачных улицах, казалось ему лучше, чем только что виденная драма, чем холеные мужчины, невозмутимые женщины и правоверные взгляды,— лучше, чем нерушимо прочное благосостояние его приятеля.

«Итак, значит,— размышлял он,— со всех точек зрения — и с социальной, и с религиозной, и с житейской — позволительно навязывать свое общество тем, кому оно противно. Да, в браке есть несомненные преимущества: приятно чувствовать себя уважаемым человеком, хоть ты и поступаешь так, что, будь это не жена, а кто-нибудь другой, тебя бы стали презирать за такие поступки. Если б старина Хэлидом дал мне понять, что я ему надоел, а я продолжал бы у него бывать, он счел бы меня скотиной; но если бы его жена сказала ему, что он стал ей противен, а он продолжал бы навязывать ей свое общество, это отнюдь не мешало бы ему считать себя безупречным джентльменом. И у него еще хватает наглости ссылаться на религию... на религию, которая учит: «Как хочешь, чтоб с тобой поступали люди, так и ты поступай с ними».

Но в отношении Хэлидома Шелтон был неправ: он забыл, что тот не в силах представить себе, как это женщина может питать к нему отвращение.

Шелтон добрался до своего дома и, прежде чем войти, постоял с минуту, наслаждаясь ярким светом фонарей, легким дуновением ветерка, замирающим шумом улицы.

«Неужели, женившись, я стану такой же скотиной, как этот тип в пьесе? — подумал он.— Впрочем, что тут удивительного. Каждый хочет получить за свои деньги все, что ему причитается — свой фунт мяса! И зачем только мы употребляем эти прекрасные слова: общество, религия, мораль! Сплошное ханжество!»

Он вошел к себе, распахнул окно и долго стоял, засунув руки в карманы, опустив голову и задумчиво хмурясь; силуэт его отчетливо вырисовывался в светлом квадрате окна над темной площадью. Полупьяный старик

сборванец, полисмен и какой-то субъект в соломенной шляпе остановились внизу, переговариваясь о чем-то.

— Ну да,— говорил оборванец,— я мразь и бездельник, но вот что я вам скажу: ежели все мы были бы на один манер, что стало бы с миром?

И они пошли дальше, а перед взором Шелтона возникло невозмутимо спокойное лицо Антонии, лицо Хэли-дома — олицетворение благопристойности и чувства собственного достоинства, голова человека с рачьими глазами и прилизанными волосами, разделенными посредине ровной ниточкой пробора. Казалось, некий луч света упал на них, осветив их существование, как лампа с зеленым абажуром освещала страницы Мэтью Арнольда, и перед Шелтоном во всей своей безмятежности предстал этот элизиум, где люди не ведают страстей и не впадают в крайности,— мир деспотичный, самодовольный, властолюбивый и такой же приглаженный, как пейзаж в Средней Англии. Здоровые, богатые, мудрые! У них одно стремление — к совершенствованию, к самосохранению: ведь выживают только наиболее приспособленные! «Вот они, примерные граждане,— подумал Шелтон.— Да, если б все мы были на один манер, так что стало бы с миром!»

ГЛАВА VI

БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ

«Дорогой Ричард,— писал Шелтону на другой день его дядя,— я был бы рад видеть тебя завтра, в три часа дня, чтобы побеседовать о твоём брачном контракте...»

И вот в назначенный час Шелтон направился в Линкольнс-Инн-Филдс, где на каменной стене у входа жирные черные буквы гласили: «Парамор и Херринг (адвокаты)». Волнуясь, поднялся он по массивным ступеням и следом за невысоким рыжеволосым юнцом прошел в заднюю комнату на втором этаже. Здесь за столом сидел и писал джентльмен с гладко выбритым лицом, напоминавшим мопса; стол был поставлен как раз посредине, словно затем, чтобы ему удобнее было держать под наблюдением свой маленький мирок.

— А, мистер Ричард! — сказал он.— Рад вас ви-

деть, сэр. Присядьте. Ваш дядюшка сейчас освободится.— При упоминании о хозяине в тоне его слышалось ироническое одобрение, появляющееся со временем у старых и верных слуг.— Все хочет сам делать,— добавил клерк, хитро сощурив честные зеленоватые глазки,— а ведь не мальчик.

При взгляде на клерка своего дядюшки Шелтона всякий раз поражало все возрастающее довольство и преуспевание, которыми так и дышали его черты. На лице этого старого друга их семьи не было заметно и следа изнеможения, появляющегося у большинства людей после пятидесяти лет,— наоборот, лицо его, словно из солидарности со всей нацией, с течением времени все более расплывалось, становясь чуть благодущнее, чуть жирнее, чуть грубее. Сквозь эту внешнюю оболочку все отчетливее проступали презрительно-терпимое отношение к людям, которые ничего не добились в жизни, и глубокая убежденность в собственной непогрешимости.

— Надеюсь, вы хорошо себя чувствуете, сэр? — продолжал он.— Для вас особенно важно быть в добром здоровье именно сейчас, когда вы собираетесь...— И он невольно подмигнул, обдумывая, как бы поделикатнее выразить свою мысль: — ...обзавестись семейством. Мы узнали об этом из газет. Жена говорит мне как-то утром за завтраком: «Послушай, Боб! Тут какой-то мистер Ричард Парамор Шелтон собирается жениться. Это не родственник ли твоего мистера Шелтона?» А я говорю: «Как же, как же, моя дорогая, он самый».

Оказывается, старый друг их семьи отнюдь не проводит всю жизнь, сидя за письменным столом посреди комнаты, а где-то (тут перед взором Шелтона возникли ряды маленьких серых домиков) живет совсем иною жизнью, и там кто-то зовет его «Боб»,— это открытие даже взволновало Шелтона. Боб! Вот это новость! Боб!.. Ну, конечно, только так и могли его звать.

Зазвенел колокольчик.

— Это ваш дядюшка.— И снова в голосе старшего клерка прозвучала ирония.— Будьте здоровы, сэр.

И словно выключив разговор, как выключают свет, он принялся писать, а рыжеволосый юнец провел Шелтона в огромную комнату окнами на улицу, где его ждал дядя.

Эдмунду Парамору было семьдесят лет. Среднего роста, с бронзовым, гладко выбритым лицом, он держался очень прямо; его седые шелковистые волосы были зачесаны набок и взбиты в виде кока над красивым, высоким лбом. Он стоял спиной к камину; в его манере держаться угадывались подвижность и легкость, свойственные людям, которые до старости не полнеют. В глазах его порою вспыхивал юношеский задор, хоть и видно было, что он немало пережил, а уголки рта неожиданно кривила улыбка. Комната была под стать хозяину — просторная, отнюдь не казенная и почти без мебели; вдоль стен не стояли несгораемые сейфы, на столе не высились груды бумаг; в единственном шкафу хранился полный комплект судебных отчетов, а на своде законов, в стакане с водой, красовалась одна-единственная пунцовая роза. Казалось, что владелец этой комнаты — человек рассудительно-великодушный, не мелочный, умеющий вникать в самую суть вещей; человек, перед улыбкой которого не могли выстоять мелкое шарлатанство и обман.

— А, Дик! Как здоровье матушки? — спросил он.

Шелтон ответил, что она вполне здорова.

— Скажи ей, что я все же решил продать ее восточные акции и вложить деньги в медь. Можешь передать, что это дело солидное.

Шелтон скорчил гримасу.

— Мама считает, что на свете нет несолидных дел, — сказал он.

Дядя устремил на него пытливый, пронизывающий взгляд своих страдальческих глаз, и легкая улыбка искривила его губы.

— Она неподражаема! — произнес он.

— Да, — повторил Шелтон, — она неподражаема.

Впрочем, перепродажа акций вовсе не интересовала его, дядя решал подобные дела так быстро и разумно, что Шелтону и в голову не пришло бы усомниться в его суждениях.

— Ну-с, займемся твоим контрактом.

Мистер Парамор трижды позвонил в колокольчик и в ожидании принялся ходить взад и вперед по кабинету.

— Принесите мне проект брачного контракта мисте-

ра Ричарда,— сказал он вошедшему рослому клерку, и тот через минуту вернулся, неся требуемый документ.

— Итак, Дик,— начал мистер Парамор,— насколько я понимаю, за невестой не значится никакого приданого. Почему?

— Я отказался от него,— ответил Шелтон, невольно смутившись.

Губы мистера Парамора дрогнули в легкой усмешке; он придвинул к себе бумагу, взял синий карандаш и, сжав руку Шелтона повыше локтя, принялся читать контракт пункт за пунктом. Шелтон, едва успевавший следить за быстрыми объяснениями старика, с облегчением вздохнул, когда тот внезапно остановился.

— Если ты умрешь и она снова выйдет замуж,— сказал мистер Парамор,— она лишается права пользоваться доходом с твоего капитала, понятно?

— Вот как? — сказал Шелтон.— Одну минуту, дядя Тэд!

Мистер Парамор умолк и стал ждать, покусывая карандаш; на губах его промелькнула улыбка, которую он тут же тактично подавил. Теперь уже Шелтон принялся ходить по комнате.

«Если она снова выйдет замуж»,— повторил он про себя.

Мистер Парамор, страстный рыболов, следил за племянником, словно тот был рыбой, которую он только что вытащил на берег.

— Это обычное условие,— заметил он.

Шелтон сделал еще один круг по комнате.

«Она лишается права...— думал он.— Да, конечно».

Это единственный способ удержать при себе жену даже после своей смерти. Да, конечно!

Мистер Парамор не сводил проницательных глаз с лица племянника. И взгляд его, казалось, говорил: «Ну, дурачок, в чем же дело?»

Да, конечно! Почему она должна пользоваться его деньгами, вторично выйдя замуж? Она лишится их. Какая утешительная мысль! Шелтон вернулся к столу и еще раз внимательно перечел соответствующий пункт контракта: ему хотелось подойти к этому вопросу чисто по-деловому и скрыть то, что в действительности занимало его ум.

— Если я умру и она снова выйдет замуж, — повторил он вслух, — она лишается права пользоваться доходом с моего капитала.

Может ли существовать более мудрое законоположение для человека, страстно влюбленного?

Дядюшка наконец отвел от него взгляд: чувство сострадания побудило его отвернуться, чтобы не видеть последних судорог пойманной рыбы.

— Я не хочу привязывать ее к себе, — внезапно заявил Шелтон.

Легкая усмешка приподняла уголки губ мистера Парамора.

— Ты хочешь вычеркнуть этот пункт? — спросил он.

Кровь бросилась в лицо Шелтону: он почувствовал, что дядя уличил его в излишней сентиментальности.

— Д-да, — с запинкой произнес он.

— В самом деле?

— Конечно!

Ответ прозвучал несколько угрюмо.

Карандаш дядюшки опустился на обреченный параграф, и мистер Парамор вновь принялся за чтение проекта; но Шелтон уже не мог следить за содержанием: его слишком занимали мысли о том, что именно так позабавило мистера Парамора, и, чтобы решить этот вопрос, он, не отрываясь, смотрел на старика. Грубоватые, но приятные черты лица, быстрые, но не суетливые движения, волосы не прямые и не вьющиеся, не короткие и не длинные; печальные глаза и улыбающийся рот, костюм — не поношенный и не щеголеватый, ловкие красивые руки, а главное — размеренное скольжение по бумаге синего карандаша, — все создавало впечатление полной гармонии между головой и сердцем, чувством и разумом, теорией и противоположностью.

— «... на время замужества», — прочел мистер Парамор и снова остановился. — Ты, конечно, понимаешь, что, если вы не уживетесь и разъедетесь, она по-прежнему будет пользоваться твоими деньгами.

Если они не уживутся!.. Шелтон улыбнулся. Но мистер Парамор не улыбался, и Шелтон снова почувствовал, что столкнулся с чем-то внешне мягким, но непреклонным. И он с раздражением заметил:

— Если мы не будем жить вместе, тем больше оснований сохранить за ней это право.

На сей раз дядюшка улыбнулся. Но Шелтон не мог сердиться за эту ироническую усмешку, которая так же внезапно исчезала, как и появлялась: она не могла вызвать раздражение, ибо не относилась непосредственно к собеседнику, и за ней скрывалось такое глубокое знание человеческой природы!

— Если... гм... Ну, а в другом случае,— сказал мистер Парамор,— брачный контракт теряет силу, во всяком случае, для нее. Понимаешь, дружок, мы обязаны все предусмотреть.

Шелтон еще отчетливо помнил содержание пьесы и свой разговор с Хэлидомом. Сам он вполне способен был допустить — теоретически,— что жена может изменить ему.

— Хорошо, дядя Тэд,— сказал он.

На мгновение у него мелькнула безумная мысль: предусмотреть в брачном контракте возможность развода. Ведь сделать женщину независимой, предоставить ей свободу полюбить другого, не терзаясь мыслью о денежных затруднениях,— разве это не долг всякого благородного мужчины? Для этого нужно было лишь вычеркнуть слова «на время замужества».

Шелтон почти с тревогой посмотрел на дядюшку. На этом мудром челе под высоким зачесом волос нельзя было прочесть и тени мелочности, но и одобрения на нем не было. Лицо дядюшки, казалось, говорило: «Дон-кихотство, конечно, имеет свои достоинства, но...» Да и сама эта необъятная комната с высокими окнами обескураживала Шелтона: казалось, здесь совершается лишь то, что диктует здравый смысл. Должно быть, бесконечное множество мужчин, хорошо воспитанных и придерживающихся самых разумных правил, покупали себе здесь жен. Воздух был пропитан мудростью и запахом юридических книг в кожаных переплетах. Здесь безраздельно царил прецедент¹. Шелтон склонил перед

¹ Прецедент — случай или поступок, служащий оправданием или примером для последующих случаев подобного рода. В частности, решение суда, ставшее образцом при решении подобных дел. В Англии право и судебная практика в большой мере опираются на прецедент.

ним свое копье и снова присел к столу, чтобы закончить сделку с покупкой жены.

— Не понимаю, почему ты так спешишь с этим? Ведь ваша свадьба будет не раньше осени,— сказал мистер Парамор, окончив наконец чтение контракта. Он положил синий карандаш рядом с чернильницей, вынул красную розу из стакана с водой и понюхал ее.— Хочешь пройтись со мной до Пэл-Мэла? Я решил сегодня устроить себе отдых, но для стадиона сейчас, пожалуй, холодновато.

Они вышли на Стрэнд.

— Вы не видели новой пьесы Борогрова? — спросил Шелтон, когда они проходили мимо театра, где он был с Хэлидомом.

— Я никогда не смотрю современных пьес,— ответил мистер Парамор.— Уж слишком они мрачны.

Шелтон взглянул на него: дядя шел, немного сдвинув цилиндр на затылок, держа зонтик на плече; его печальный взгляд был устремлен куда-то вдаль.

— Психология вас не интересует, дядя Тэд?

— Психология? Это когда выражают словами то, что нельзя ими выразить?

— Французам это удастся,— возразил Шелтон.— И русским тоже. Почему бы и нам не попробовать?

Мистер Парамор остановился, намереваясь заглянуть в рыбный магазин.

— То, что годится для французов и русских, Дик,— сказал он,— не подходит для нас. Мы, когда хотим быть настоящими, только становимся более фальшивыми... Взгляни! Правда, неплохо было бы поймать такого? Давай пошлем его твоей матушке.

Он зашел в магазин и купил лосося.

— А теперь скажи мне на милость,— продолжал он, когда они пошли дальше,— разве это пристойно, чтобы мужчины и женщины извивались на сцене, словно угри? Разве жизнь и без того не достаточно сложна?

Внезапно у Шелтона мелькнула мысль, что, несмотря на всю свою улыбчивость, лицо дядюшки отмечено печатью глубокого страдания. Возможно, впрочем, что это ему только почудилось при более ярком освещении, когда они вышли на простор Трафальгарской площади.

— Вот уж не знаю,— ответил Шелтон.— Я, пожалуй, предпочитаю правду.

— Плохой конец и все прочее? — спросил мистер Парамор, остановившись перед одним из львов, сторожащих памятник Нельсону, и взял Шелтона за пуговицу.— Правда — величайшее зло!

Он стоял очень прямо, глядя на племянника своими печальными глазами. Шелтон подумал, что его оптимизм — это трогательная смесь нежности и нетерпимости, личной правдивости и понятий, заимствованных у других. Подобно возвышавшемуся над ним льву, мистер Парамор словно говорил жизни: «Как ни старайся, а я не буду смотреть тебе в лицо».

— Да, дружок,— заметил он, протягивая шестипенсовую монету метельщику,— чувства—это змеи, которых надо держать в банках с притертыми пробками. Ты не зайдешь со мной в клуб? В таком случае до свидания, мой милый. Поклонись матушке, когда увидишь ее.

И он зашагал через площадь, а Шелтон пошел дальше, в свой собственный клуб, и ощущение у него было такое, словно он распростился не только с дядюшкой, но и со всей нацией, к которой они оба принадлежали по своему рождению и воспитанию.

ГЛАВА VII

В КЛУБЕ

Шелтон зашел в библиотеку клуба и взял «Книгу пэров» Бэрка. Когда его дядюшка узнал о помолвке, его первые слова были: «Деннант? Это те Деннанты, что живут в Холм-Оксе? Его жена — урожденная Пенгвин».

Никому из знакомых Парамора и в голову не приходило считать его снобом, но тогда в тоне его ясно прозвучало: «Вот это хорошо, такая семья нам под стать».

Шелтон принялся искать Балтиморов. Он прочел: «Чарлз Пенгвин, пятый барон Балтимор. Потомство: Алиса, род. 184—, вышла замуж в 186 — за Алджернона Деннанта, эсквайра, Холм-Окс, Крос Итон, Оксфордшир». Он отложил «Книгу пэров» и взял «Календарь дворян-землевладельцев». Там значилось: «Деннант, Алджернон Кафф, старший сын покойного Алджернона

Каффа Деннанта, эсквайра, мирового судьи, и Айрин, 2-й дочери высокород. Филиппа и леди Лилиан Марч Мэллоу. Образование: Итон и колледж Крайстчерч, Оксфорд; мировой судья графства Оксфордшир. Проживает: Холм-Окс» и т. д. и т. д. Отложив «Календарь», Шелтон взял томик сказок «1001 ночь», который кто-то из членов клуба оставил на прикрепленном к креслу пюпитре, но читать не стал, а принялся рассматривать тех, кто находился в комнате. Почти все места были заняты: тут сидели и читали или дремали джентльмены, каждый из которых счел бы одну из Пенгвинов вполне подходящей для себя партией. Шелтону впервые бросилась в глаза та величаявая неторопливость, с какою они переворачивали страницы, поигрывали чайными ложечками или похрапывали в своих креслах. А ведь здесь не было и двух человек, похожих друг на друга: один был высокий, темноусый, с розовыми пухлыми щеками и густой шевелюрой; другой — лысый и сутулый; там, дальше, — дородный старый щеголь с седой бородкой клинышком, в необъятном белом жилете; гладко выбритый пожилой франт с птичьим профилем; высокий, болезненного вида мизантроп и сангвиник, уснувший сном младенца. Спали они или бодрствовали, читали или храпели, были толстыми или тощими, густоволосыми или лысыми — на всех лицах, и красных и бледных, лежала печать полнейшей обособленности. Все они были отлично воспитаны. И так — то разглядывая своих соседей, то вновь углубляясь в чтение «1001 ночи» — Шелтон провел время до обеда.

Не успел он усесться в ресторане клуба, как в зал вошел его дальний родственник и сел за соседний столик.

— А, Шелтон! Уже вернулись? Мне кто-то говорил, что вы путешествуете вокруг света. — Он вставил в глаз монокль и принялся изучать меню. — Бульон!.. Читали речь Джеллаби? Презанятно он разделался со всей этой компанией. Лучший оратор в парламенте, честное слово.

Шелтон на мгновение перестал жевать спаржу: он, бывало, тоже восхищался Джеллаби, а теперь это казалось ему странным. Красное, гладко выбритое лицо его соседа, оттененное ослепительной белизною крахмальной манишки, расплылось в благодушной улыбке: его

жесткие, ничем не примечательные глазки словно уже видели заказываемые блюда.

«Успех! — внезапно пришло в голову Шелтону. — Именно умение преуспевать и восхищает нас в Джеллаби. Все мы хотим добиться успеха».

— Да, — согласился он вслух, — удачливый тип.

— Ах, я и забыл, — сказал его сосед. — Вы ведь из числа его противников?

— Да нет. Откуда вы это взяли?

— Мне почему-то так казалось, — произнес тот, окинув небрежным взглядом комнату; и Шелтону слышалось в его словах: «В вас есть что-то не совсем высоко- нравственное».

— Что вас так восхищает в Джеллаби? — спросил Шелтон.

— Он знает, чего хочет, — ответил его сосед. — А вот про других этого не скажешь... Рыба никуда не годится, ее и кошка не стала бы есть... Да, умная голова этот Джеллаби! Серьезный малый! Вы когда-нибудь слышали, как он говорит? Преинтересно бывает, когда он разносит оппозицию! А они — ну и жалкие же людишки! — И он расхохотался: то ли мысль о Джеллаби, разносящем крохотную кучку «меньшинства», так развеселила его, то ли пузырьки шампанского в бокале.

— На меньшинство всегда грустно смотреть, — сухо заметил Шелтон.

— То есть как это?

— Я говорю, неприятно смотреть на людей, у которых нет шансов на успех, которые всегда проваливаются, на всех этих фанатиков и им подобных.

Сосед с любопытством взглянул на него.

— М-да, несомненно, — сказал он. — Вы не любите мятный соус? Я всегда считал, что это — самое приятное в бараньем жарком.

Огромный зал с бесчисленным множеством столиков, расставленных с таким расчетом, чтобы каждый из обедающих имел возможность покрасоваться на фоне золотых стен, вновь завладел вниманием Шелтона. Сколько раз, бывало, он сидел здесь, старательно раскланиваясь со знакомыми, и был счастлив, если находил свое привычное место незанятым, мог почитать газету с отчетом о последних скачках и, испытывая легкое

опьянение от выпитого вина, болтать с кем-нибудь из людей своего круга. Счастлив! Да, счастлив, как лошадь, которая никогда не покидает своего стойла.

— Бедняга этот Бинг: пыхтит, точно паровоз,— сказал сосед Шелтона, указывая на иссохшего, сгорбленного официанта.— У него жуткая астма, даже с улицы слышно, как он хрипит.

По-видимому, его это забавляло.

— А как вы думаете, существует моральная астма?— спросил Шелтон.

Его сосед выронил из глаза монокль.

— Послушайте, заберите это обратно: мясо совсем пережарено,— сказал он лакею.— Принесите мне порцию баранины.

Шелтон отодвинул стул от столика.

— Всего хорошего! — сказал он.— Стилтонский сыр здесь превосходен.

Его сосед поднял брови и снова уставился в тарелку.

Проходя через холл, Шелтон по привычке встал на весы. «Семьдесят килограммов! Опять прибавил»,— подумал он и, срезав кончик у сигары, направился в курительную и сел читать роман.

Почитав с полчаса, он бросил книгу: уж очень она была пустая, несмотря на захватывающий сюжет и уйму родовитых персонажей. Но автор, видимо, и не хотел ничего сказать своей книгой. Шелтон посмотрел, кто же автор,— все весьма похвально отзывались о романе. И глубоко задумался, пристально глядя на огонь в камине...

Кто-то наклонился над ним, и, подняв глаза, он увидел одного из братьев Антонии, служившего в стрелковом полку; на лице его играла ленивая улыбка, багровый румянец указывал на то, что он навеселе.

— Поздравляю, старина! — воскликнул он.— По какому поводу вы отрастили такую страшную бородищу?

Шелтон усмехнулся.

— «Пилюли герцогини»,— прочитал младший Деннант, взяв книгу.— Это вы читаете? Великолепная книга, правда?

— Совершенно великолепная,— ответил Шелтон.

— Великолепный сюжет! Когда берешь в руки ро-

ман, совсем неохота копать во всей этой — как ее там называют! — психологии, просто хочешь развлечься, не так ли?

— Да, пожалуй,— пробормотал Шелтон.

— Здорово интересно, когда президент крадет у нее бриллианты... А вот и Бенджи! Привет, Бенджи!

— Привет, Билл, дружище!

Этот Бенджи был молодой человек с гладко выбритой физиономией, чье лицо, голос и манеры являли собой редкостную смесь железной выдержки и удивительной мягкости.

Молодой человек — такой веселый, с такой мягкой повадкой и в то же время такой жесткий — подошел не один: с ним был седой джентльмен с острой бородкой и глазами мизантропа, по имени Страуд, и еще другой — ровесник Шелтона, с усами и небольшой плешью величиною с крону; он круглый год околачивался в клубе, во всяком случае, все вечера, когда не было скачек, ради которых нужно было бы ехать в другой город.

— Знаете,— начал младший Деннант,— этот нахал,— и он хлопнул Бенджи по колену,— завтра жениться на мисс Кэссерол... знаете, Кэссеролы из Манкестер-Гейт.

— Черт побери! — сказал Шелтон, обрадовавшись, что может наконец произнести нечто понятное всей компании.

— Младший Чемпион будет шафером, и я тоже. Знаете что, старина,— продолжал Деннант, обращаясь к Шелтону,— вам надо бы поехать туда со мной, посмотреть на всю эту кутерьму: у вас вряд ли будет другая такая возможность попрактиковаться. Бенджи пришлет вам приглашение.

— Буду очень рад! — пробормотал Бенджи.

— А где состоится церемония?

— В церкви святого Брайабаса, в половине третьего. Приходите посмотреть, как обкручивают людей. Я заеду за вами в час. Мы позавтракаем, а потом отправимся.— И Деннант снова похлопал Бенджи по колену.

Шелтон кивнул в знак согласия; его покорило равнодушно-легкомысленный тон, каким эти люди говорили о женитьбе, как о пикантном приключении, и он украдкой посмотрел на «железного» Бенджи, который

за все это время ни на минуту не утратил вкрадчивой мягкости манер и, казалось, куда больше интересовался предстоящими скачками, нежели своим браком. Но Шелтон по собственному опыту знал, что в действительности так не бывает; такое поведение было продиктовано лишь желанием соблюдать правила «хорошего тона» и казаться человеком благовоспитанным: джентльмен не должен выдавать своих чувств. И ему стало жаль Бенджи, особенно когда он заметил, каким взглядом впился в жениха Страуд из-под своих нависших бровей и каким жадным любопытством горят глаза любителя скачек.

— Кто этот малый с парализованной ногой? — спросил любитель скачек. — Он вечно тут торчит.

И Шелтон увидел человека с болезненно желтым лицом, обращавшего на себя внимание отсутствием пробора и некоторой нервозностью.

— Его фамилия Бэйз, — сказал Страуд. — Полжизни провел с китайцами: должно быть, у него зуб против них! А теперь, с тех пор, как у него повреждена нога, он уже больше не может туда ездить.

— С китайцами? Что же он там делал?

— То ли библиями их снабжал, то ли оружием. Кто его знает! Авантюрист какой-то.

— Во всяком случае, человек не нашего круга, — сказал любитель скачек.

Шелтон взглянул на сдвинутые брови старика Страуда и сразу понял, что такого человека, который может охотиться в любом лесу и имеет уйму свободного времени для игры в бридж и сплетен в клубе, должен раздражать самый вид людей, живущих столь неупорядоченной жизнью. Минуту спустя «малый с парализованной ногой» прошел позади его стула, и Шелтон сразу почувствовал, как ошетинились завсегдатаи клуба. У Бэйза были глаза, какие нередко можно встретить у англичан, — словно угли, горящие за стальной решеткой; он производил впечатление человека, который способен совершать поступки, выходящие за рамки «хорошего тона», — человека, который способен быть даже благородным. Он посмотрел прямо в глаза Шелтону: в его непреклонном взгляде было что-то говорившее, как бесконечно он одинок, — в общем, человек, которому совсем не

место в таком клубе. Шелтону пришли на память слова одного из друзей его отца, который как-то сказал ему: «Да, Дик, разного рода люди состоят членами этого клуба, и они приходят сюда по разным причинам, а многие приходят потому, что им, беднягам, некуда больше идти»; и, переводя взгляд с «паралитика» на Страуда, Шелтон подумал, что, ведь, может быть, и старик Страуд такой же бедняга. Кто его знает! Он посмотрел на Бенджи — такого собранного и веселого — и сразу успокоился. Вот счастливчик! Ему больше не надо будет приходить сюда! И мысль, что очень скоро он сам будет проводить здесь свой последний вечер, наполнила Шелтона острым ощущением радости, почти граничащим с болью.

— Партию на бильярде, Бенджи, — предложил Билл Деннант.

Страуд и любитель скачек отправились смотреть на игру, и Шелтон вновь остался наедине со своими думами.

«Правила хорошего тона! — подумал он. — Этот малый, должно быть, из железа сделан... Сейчас они еще куда-нибудь поедут отсюда; полночи проиграют в покер или какую-нибудь другую ерунду затеют».

Он подошел к окну. Начался дождь; на опустевших улицах гулял ветер. Кэбмены натягивали дождевики. Пробежали две женщины под одним зонтом, и какой-то плохо одетый человек с угрюмым отчаянием прошагал мимо. Пробравшись между кресел, Шелтон вернулся на прежнее место. Перед его мысленным взором промелькнула вереница его друзей по школе и университету. Все они — да и он тоже — получили одинаковое воспитание, которое не могло привить им ничего, кроме «правил хорошего тона». Разве их знакомили с настоящей жизнью? Стоило лишь призадуматься, и становилось ясно, до чего все они невероятно глупы. Вид у них такой, словно они знают все на свете, а на самом деле они ни в чем не разбираются: ни в законах природы, ни в искусстве, ни в чувствах, ни в тех узах, что связывают людей. Да ведь по правилам «хорошего тона» даже сами слова эти не полагается произносить: все выходящее за пределы узкого круга их представлений уже не может быть «хорошим тоном». У них твердо

установившиеся взгляды на жизнь, ибо все они питомцы определенных школ, университетских колледжей, полков. И эти-то люди вершат судьбы государства, диктуют законы, возглавляют науку, армию, религию. Вот они и создали себе кодекс: не вступать в жизнь слишком молодыми, заложить здоровую основу, которую жизнь и опыт отшлифуют в дальнейшем.

«Успех! — подумал Шелтон и чуть не упал, споткнувшись о лакированные штиблеты, принадлежавшие круглолицему, добродушного вида джентльмену в золотом пенсне. — О да, это называется преуспеть в жизни!»

Кто-то подошел к столу, взял ту самую книгу, которая натолкнула Шелтона на все эти мысли, и принялся читать ее. Шелтон заметил, какое удовольствие доставляло этому человеку чтение. Глаза его, неподвижно устремленные на книгу, не выражали никаких эмоций. Ничто в ней не удивляло его, ничто не наводило на размышления.

Круглолицый джентльмен в лакированных штиблетах подошел к Шелтону и заговорил о своей недавней поездке на юг Франции. У него имелась про запас папочка пикантных анекдотов, и его лунообразная физиономия, украшенная золотым пенсне, так и сияла; это был грузный мужчина, знавший такое множество забавных светских сплетен, что просто невозможно было не оценить его болтовни; чувствовалось, что он наслаждается жизнью и ни в чем себе не отказывает.

— Однако, всего хорошего! — буркнул он вдруг. — Меня ждут...

И он ушел, оставив Шелтона под приятным впечатлением, что в предстоящем этому человеку свидании есть что-то восхитительно-запретное.

Взяв со стола бокал, Шелтон медленно выпил вино: он благодумствовал. Он чувствовал свое превосходство над всеми этими людьми — членами одного с ним клуба, — и это утешало его. Он ясно видел, какой бутафорией была их клубная жизнь, какое убожество — это преклонение перед успехом, какая мишура вся эта литература, написанная романистами в лайковых перчатках, эти «правила хорошего тона», эти «законы приличия», эта безупречность нашего воспитания. Приятно было вот

так проникнуть в самую суть вещей, приятно чувствовать свое превосходство; и, утонув в мягких глубинах кресла, Шелтон задумчиво выпустил дым и протянул ноги к огню, а огонь в ответ осторожно и благоговейно озарил его своим светом.

ГЛАВА VIII

СВАДЬБА

Верный своему слову, Билл Деннант ровно в час заехал за Шелтоном.

— Бьюсь об заклад, что бедняге Бенджи сейчас очень не по себе,— сказал он, когда, отпустив кэб у церкви, они проходили между двумя рядами любопытных, которые, не принадлежа к кругу избранных, толпились на панели, пожирая приглашенных грустными глазами.

Женщина с землистым лицом, державшая на руках ребенка, в то время как два других стояли рядом, уцепившись за ее юбку, с таким волнением смотрела на свадьбу, словно ей не пришлось испытать горькие муки нищего брака. Шелтон вошел в церковь с чувством необъяснимой неловкости: на деньги, которые он заплатил за свой галстук, эта семья смогла бы иметь пищу и кров в течение целой недели. Он проследовал за своим будущим шурином к одной из скамей, где расположились родственники и друзья жениха, ибо каждая из сторон, фигурирующих в брачном контракте, выступала сомкнутым строем,— и вот, инстинктивно поддерживая извечную борьбу полов, они сидели друг против друга, и стрелы взглядов, полных недоверия, непрестанно скрещивались над центральным проходом церкви.

В глазах Билла Деннанта появились веселые искорки.

— Глядите, вон старина Бенджи! — прошептал он, и Шелтон увидел героя дня.

Сквозь маску вышколенной бесстрастности на его гладко выбритом лице проступала бледность, но притворная ледяная улыбка благовоспитанного человека, которой он одаривал гостей, была, по обыкновению, безупречно любезна. На его стройной фигуре и на всей его одежде лежал отпечаток нарочитой непринужден-

ности, которая выделяет жениха незаурядного из толпы обычных женихов. Его броня была непроницаема, ни один дерзкий взгляд не мог бы сквозь нее проникнуть.

— Славный малый этот Бенджи! — прошептал младший Деннант. — А знаете, Кэссеролам все же недостает породы.

Шелтон, который был знаком с этой семьей, только улыбнулся в ответ. Атмосфера чувственной святости, царившая в церкви, начала оказывать свое действие и на него. Аромат цветов и женских платьев соперничал со своеобразным запахом, присущим церкви; шелест юбок и оживленный шепот нарушали извечную тишину приделов. От скуки Шелтон принялся рассматривать сидевшую перед ним даму; почему-то он стал думать о ее внешности: так же ли красиво ее лицо, как линии спины, подчеркнутые узким лифом светло-серого платья; потом он скользнул взглядом по алтарю, украшенному цветами, по исполненным торжественной деловитости лицам священников; тут раздались могучие звуки органа, заигравшего свадебный марш.

— Идут! — прошептал младший Деннант.

Словно дрожь пробежала по рядам присутствующих, и Шелтону вспомнился бой быков, который он видел в Испании. По проходу между скамьями медленно шествовала невеста. «Вот так же будет выглядеть и Антония, — подумал он. — И в церкви будет такая же публика... И все будут смотреть на Антонию — для них это спектакль...» В эту минуту невеста поравнялась с ним, и простая деликатность побудила его отвести взгляд: ему было неловко смотреть на серебристое таинство ее безупречного наряда, на эту склоненную головку — головку скромной девушки, преисполненной, вне всякого сомнения, самых высоких чувств и самых чистых желаний, красивой девушки, которая совсем не думает о том, как она выглядит сегодня, именно сегодня, когда на нее смотрит весь Лондон, горделивой девушки, которая, уж, конечно, не способна унизиться до опасений, что она держит себя без подобающего достоинства.

Шелтон понимал всю драматичность того, что происходило перед его глазами; он сидел, стиснув зубы, как человек, присутствующий при жертвоприношении. До

слуха его донеслись роковые слова: «И в радости и в горе, и в богатстве и в бедности, и в болезни и в здравии...»; он раскрыл молитвенник, в который не заглядывал с тех пор, как был мальчиком, отыскал в нем венчальную службу и стал читать; в душе его теснились странные чувства.

Ведь и он скоро должен будет пройти через это! Он продолжал читать молитвенник в каком-то странном оцепенении, из которого его вывел Билл Деннант, прошептавший: «Вот тоска, еще проповедь слушать!» Вокруг зашуршали платья, и Шелтон увидел, как высокий проповедник поднялся на кафедру и замер. Широкоплечий и красивый, с глубоко запавшими глазами, возвышался он над черной кафедрой, которая лишь резко подчеркивала снежную белизну его одежд, прикрытых малиновой епитрахилью; можно было подумать, что его пригласили сюда за красоту. Шелтон все еще рассматривал швы на своей перчатке, когда орган снова заиграл свадебный марш. Все улыбались, а некоторые, вытягивая шею, чтобы лучше рассмотреть новобрачную, вытирали слезы. «Какая выставка искусственных переживаний!» — подумал Шелтон; следуя примеру других, он тоже поглядел на новобрачную и, взяв в руки цилиндр, стал пробираться к двери, деланно улыбаясь по дороге знакомым.

И вот он наконец в доме Кэссеролов разглядывает свадебные подарки вместе со старшей дочерью — высокой девушкой в сиреновом платье, которая была главной подружкой невесты.

— По-моему, все сошло очень хорошо, правда, мистер Шелтон? — спросила вдруг девушка.

— О да!

— По-моему, жених должен чувствовать себя ужасно, дожидаясь невесты у алтаря.

— Да-а,— протянул Шелтон.

— А правда, подружкам невесты лучше не надевать шляп: так куда наряднее!

Шелтон не заметил этого нововведения, но поспешил согласиться с мнением своей собеседницы.

— Это я придумала: мне кажется, так шикарнее... Смотрите, молодым подарили пятнадцать чайных сервизов! Глупо, правда?

— Черт побери, — поспешил ответить Шелтон.

— Но, конечно, ужасно полезно иметь уйму ненужных вещей: ведь потом их можно обменять на что-нибудь нужное.

Казалось, в эту комнату было свезено все содержимое лондонских магазинов; Шелтон взглянул на мисс Кэссерол и был поражен, увидев, сколько алчности светится в ее маленьких глазках.

— Это ваш будущий шурин? — спросила она, указывая легким движением подбородка на Билла Деннанта. — По-моему, он такой блестящий юноша! Приходите оба к обеду, вы поможете поддержать веселье за столом. После венчания всегда так смертельно скучно...

И Шелтон пообещал, что они придут.

Теперь, в ожидании отъезда новобрачной, они перешли в холл. Лицо молодой, когда она сошла вниз, было спокойно и весело, только в глазах притаилась смутная тревога; и снова Шелтон испытал странное чувство стыда, словно совершил неблаговидный поступок. Совсем рядом с ним в толпе стояла старая няня новобрачной; лицо ее выражало сильнейшее душевное волнение, по желтым одутловатым щекам катились слезы. Она пыталась что-то сказать, но ее слова потонули в царившем вокруг гомоне. Все бросились на улицу; посыпались рис и цветы; в быстро поднятое окно кареты полетел башмачок. За стеклом на мгновение мелькнуло учтиво-холодное гладко выбритое лицо Бенджи, лакей скрестил руки на груди, и карета отъехала, торжественно закрипев колесами.

— Отлично все сошло, — сказал кто-то справа от Шелтона.

— Она была немного бледна, — сказал кто-то слева от Шелтона.

Он провел рукой по лбу; позади него всхлипывала старая няня.

— Дик, — наклоняясь к его уху, шепнул младший Деннант, — давайте удерем, здесь совсем неинтересно.

Они пошли по направлению к парку, и Шелтон вряд ли мог бы сказать, откуда у него эта легкая тошнота: то ли от выпитого днем шампанского, то ли от свадьбы, которая сошла так хорошо.

— Да что с вами? — спросил Деннант. — Вы сегодня мрачны, как старая обезьяна.

— Ничего особенного, — сказал Шелтон. — Просто я думал о том, какие мы все лицемеры.

Билл Деннант остановился посреди улицы.

— Ну, если вы собираетесь сесть на своего конька, — сказал он, хлопнув будущего зятя по плечу, — то я пошел.

ГЛАВА IX

ОБЕД

На обед к Кэссеролам были приглашены лишь те знакомые и друзья молодой, которые чем-то обратили на себя внимание во время брачной церемонии. За столом Шелтон оказался между декольтированной мисс Кэссерол и другой, не менее обнаженной, дамой. Напротив него сидел мужчина с ястребиным носом и черными усами; на его белоснежной манишке блестел крупный бриллиант. Нужно сказать, что дом Кэссеролов был весьма интересный. Семья принадлежала к крупной буржуазии, возымевшей вкус к «шикарному» обществу. Члены этого семейства, люди осторожные, экономные и цепкие, по природе своей стяжатели, почему-то прониклись почтением к слову «шикарный». В результате в доме собиралась всевозможная человеческая накипь и царила атмосфера доморощенного порока. Помимо заядлых кутил и прожигателей жизни, Шелтон встретил здесь двух-трех дам, которых, несмотря на то, что они были разведены или собирались разводиться, продолжали принимать в свете. Разведенных дам, которые не сумели сохранить своего положения в свете, Кэссеролы не приняли бы у себя: они питали слишком большое уважение к браку. Шелтон встретил тут и американок (но только не американцев), которых все считали «страшно забавными», и евреев — банкиров или любителей скачек, — а также нескольких джентльменов, занимавшихся или собиравшихся заняться кое-какими сделками, которые то ли «выгорят», то ли «не выгорят», или же взявших, а может, только еще собирав-

шихся взять подряды, на которых они, возможно, попадутся, а возможно, и нет.

Шелтон знал, что в этом доме не станут принимать тех, кто в самом деле попал в беду, ибо этих леди и джентльменов ценили отнюдь не из сочувствия к ним — к чему такая сентиментальность! — а за их «шик», их туалеты, остроу, осведомленность по части скаковых лошадей, за их умение играть в бридж и за их автомобили.

Короче говоря, это был один из тех семейных домов, в котором ищут прибежища люди, чей слишком «шикарный» образ жизни едва ли позволит им долго продержаться на поверхности.

Хозяин дома — делец из Сити, с седой шевелюрой, гладко выбритым лицом и выпяченной верхней губой — силился понять смелые намеки своей дамы, громкий голос которой был слышен на другом конце стола. А Шелтон уже больше не пытался понять своих соседок и все внимание сосредоточил на обеде, который все гости, несмотря на разнородность вкусов, были вынуждены признать настоящим чудом кулинарного искусства. Он даже вздрогнул от неожиданности, когда мисс Кэссерол повернулась к нему и сказала:

— Я всегда говорю, что самое главное — быть веселой. Даже если вам совсем не смешно, все равно надо смеяться: это так шикарно — быть занимательной! Вы со мной не согласны?

Превосходная философия!

— Не все мы гении, но быть веселыми мы все можем.

Шелтон поспешил изобразить на лице веселость.

— Когда родитель бывает не в духе, я говорю ему, чтоб он немедленно перестал дуться, а то я закрою дом и уеду. Что пользы в том, что человек сидит с несчастным видом и хандрит? Кстати, вы не собираетесь покататься в коляске четверней? Мы едем целой компанией. Будет страшно весело; самое шикарное общество!

Пышные плечи, волнистые волосы (явно не более двух часов назад побывавшие в руках парикмахера) могли бы заставить Шелтона усомниться в добродетели мисс Кэссерол, но сквозившая в ее взгляде расчетливость и то, как старательно она проглатывала окон-

чания слов, неопровержимо доказывали ее принадлежность к наиболее респектабельной части присутствующих. До сих пор Шелтону никогда не приходило в голову, до чего это «шикарная» женщина, и, сделав над собой усилие, он предался такому вымученному веселью, от какого затосковал бы любой француз.

Когда мисс Кэссерол покинула его, Шелтон вдруг вспомнил взгляд, который она бросила на сидевшую напротив них даму — настоящую хищницу. Этот завистливый, испытующий взгляд, казалось, спрашивал: «В чем же секрет этого твоего шика?» Раздумывая над тем, что могло вызвать подобную зависть, Шелтон заметил, с каким заискивающим, почтительным видом хозяин дома расхваливает человеку с ястребиным носом достоинства поданного на стол портвейна, — зрелище довольно жалкое, ибо человек с ястребиным носом был явно из породы отпетых мошенников. Чем порок так притягивает к себе степенных буржуа? Что это: желание прослыть оригинальным, боязнь казаться скучным или просто они «с жиру бесятся»? Шелтон снова взглянул на хозяина дома, который еще не кончил перечислять великолепные качества своего портвейна, и ему снова стало жаль его.

— Так, значит, вы женитесь на Антонии Деннант? — слышался голос справа; по небрежной грубоватости, с какою были произнесены эти слова, в говорившем можно было сразу признать человека родовитого. — Прехорошенькая девушка! Кстати, у этих Деннантов прекрасное поместье. Вы, знаете ли, счастливчик!

Это говорил старый баронет с маленькими глазами и смугло-красным лицом, брюзгливым и хитрым. Он вечно сидел без гроша, но со всеми был запанибрата и, как человек предприимчивый, знался не только с лучшими, но и с худшими людьми, а потому каждый день обедал где-нибудь в гостях.

— Этаким вы счастливчик! — повторил он. — У него чертовски хорошая охота, у этого Деннанта! Только дичь там летает уж очень высоко: в последний раз, когда я у них охотился, хоть бы одну птицу подстрелил. Прехорошенькая девушка! Этаким счастливчик!

— Вы правы, — скромно согласился Шелтон.

— Хотел бы я быть на вашем месте! Кстати, кто это

сидел рядом с вами, с другой стороны? Я так чертовски близорук... Миссис Каррузер? Ну конечно!

И губы его расплылись в улыбке, которую, не будь он баронетом, можно было бы назвать плотоядной.

Шелтон понял, что в кладовой его памяти хранится табличка, исписанная анекдотами, цифрами и фактами, касающимися этой дамы. «Старое пугало считает меня счастливым, — подумал Шелтон, — потому что у него не заведено таблички на Антонию».

Но старый баронет уже отвернулся и с улыбкой лошеного циника стал прислушиваться к тому, о чем злословили его соседи справа.

Слева от Шелтона двое джентльменов вели оживленный разговор.

— Как! — воскликнул один из них. — Вы ничего не коллекционируете? Не может быть! Все что-нибудь да коллекционируют. Я просто не знаю, что я стал бы делать без моих картин!

— Нет, я ничего не коллекционирую. Бросил после того, как меня надули с Уокерами.

Шелтон, ожидавший услышать какую-нибудь более возвышенную причину, принялся медленно потягивать мадеру. Хозяин дома «коллекционирует» это вино, а цена на него непрерывно растет. Каждый день его не попьешь: оно стоит две гинеи бутылка! А как увеличивается его ценность при одной мысли, что оно недоступно для других! Восхитительный напиток, и цены на него все растут! Скоро его совсем нигде не достанешь — это потрясающе! Тогда никто, вообще никто не сможет отведать его!

— Хотелось бы мне иметь немножко такой мадеры, — сказал старый баронет, — но я уже выпил все свои запасы!

«Бедный старикан, — подумал Шелтон. — Ведь если разобраться, не такой уж он плохой... Мне бы его цепкость!.. У него, должно быть, очень здоровая печень».

Гостиная была полна народу; все играли в настольную игру «Лошадки». И Шелтону пришлось принять участие в этой игре, затянувшейся до утра. Наконец, совсем измученный, он откланялся и уехал.

Он вспомнил свадьбу, вспомнил все подробности обеда и какое он пил вино. Настроение его стало портиться.

Эти люди не могут быть естественными, даже самые «шикарные», самые респектабельные: они как бы кладут удовольствие на чашу весов и стараются получить за свои деньги как можно больше.

Проезжая мимо нескончаемого ряда темных, мирно спящих домов, растянувшихся на многие и многие мили, Шелтон думал об Антонии; город только начинал пробуждаться, когда он добрался до своей квартиры. Повеял свежий предутренний ветерок; небо порозовело, но заря еще не разгорелась; на деревьях чуть дрожала листва, нигде ни звука; все молчало вокруг,— слышалось лишь биение его сердца. Внезапно город словно вздохнул, и Шелтон увидел, что он не один: у его дверей спало какое-то не замеченное им ранее существо в рваных башмаках.

ГЛАВА X

ЧУЖЕСТРАНЕЦ

Человек, сидевший на ступеньках подъезда, дремал, уткнувшись головой в колени. О степени его благосостояния яснее всего говорили порыжевшее пальто и какие-то тряпки вместо носков. Шелтон хотел было незаметно проскользнуть мимо, но спящий вдруг проснулся.

— Ах, это вы, мосье! — сказал он. — Я получил ваше письмо сегодня вечером и, как видите, даром времени не терял. — Он посмотрел на свои ноги и как-то жалко хихикнул, словно говоря: «Ну и вид же у меня!»

Действительно, молодой иностранец выглядел куда хуже, чем во время их первой встречи.

— Вы понимаете, — лепетал Ферран, идя вслед за Шелтоном, который пригласил его зайти, — на этот раз я ни за что не хотел упустить случая встретиться с вами. Когда попадаешь вот в такое положение... — И лицо его искривила гримаса.

— Я очень рад, что вы пришли, — неуверенно сказал Шелтон.

Лицо его гостя обросло рыжеватой щетиной недельной давности, темный загар придавал ему здоровый вид, который никак не вязался с приступом сильной дрожи, охватившей его, как только он вошел в комнату.

— Садитесь, садитесь,— сказал Шелтон.— Ведь вы совсем больны!

Ферран улыбнулся.

— Это пустое,— сказал он.— Просто недоедание...— И он присел на краешек кресла.

Шелтон вышел и вскоре вернулся, неся виски.

— Если б я мог приодеться,— сказал Ферран, сделав глоток.— Сейчас для меня это главное. Очень уж я обносился.

И это было верно. Шелтон отнес кое-что из одежды в ванную и предложил гостю располагаться как дома. Пока тот принимал ванну, Шелтон вкушал всю прелесть самопожертвования: отбирал ненужные ему вещи и укладывал их в два чемодана. Покончив с этим, он стал ждать своего гостя.

Молодой иностранец наконец появился, все такой же небритый и без башмаков, но что касается остального, то даже почти нарядный.

— Вот теперь совсем другое дело,— сказал он.— Башмаки же, боюсь...— и, сняв свои носки, вернее, носки Шелтона, он показал потертости величиною с полкроны.— Что посеешь, то и пожнешь. Я сильно похудел,— просто заметил он.— Да, кто хочет видеть мир, должен страдать. *Voyager, c'est plus fort que moi!*¹

Молодой человек произнес это не без грусти, словно намекая на некие несбывшиеся возможности, и потому Шелтону и в голову не пришло, что за его словами может крыться врожденная нелюбовь к труду.

— Я распростился со своими иллюзиями,— продолжал молодой человек, затягиваясь папирсой.— Когда поголодаешь несколько раз, многое начинаешь понимать по-иному. *Savoir, c'est mon métier; mais remarquez ceci, monsieur*²: далеко не всегда преуспевают те, кто способен мыслить.

— Ну, а если вы даже находите работу, то, наверное, скоро от нее отказываетесь? — заметил Шелтон.

— Вы обвиняете меня в непоседливости? Позвольте мне разъяснить свою точку зрения. Я непоседлив, потому что честолюбив: я хочу снова быть независимым и

¹ Путешествия — это моя слабость! (франц.)

² Познавать истину — вот мое ремесло; но заметьте, мосье (франц.).

всеми силами стараюсь добиться этого, но как только я вижу, что работа не сулит мне ничего в будущем, я бросаю ее и отправляюсь на поиски чего-то лучшего. Je ne veux pas être «*gond de cuir*»¹, гнуть спину, чтобы за день сэкономить шесть пенсов и, прослужив сорок лет, отложить крохотную сумму, которая кое-как позволила бы мне дотащиться до конца моих тяжелых дней. Такая жизнь не в моем характере.

Этот остроумный вариант общеизвестного «мне очень скоро все приедается» он произнес с таким видом, словно сообщал Шелтону некую важную тайну.

— Да, это, должно быть, тяжело,— согласился тот. Ферран пожал плечами.

— Жизнь — это не вечный праздник,— заметил он.— Иной раз приходится отбросить в сторону всякую щепетильность. Откровенность — единственная черта во мне, которой я горжусь.

Словно опытный аптекарь, он умело преподносил Шелтону свои идеи в таких дозах, чтобы тот мог глотать и переваривать их. «Да, да,— казалось, говорил он,— вы бы, конечно, хотели, чтоб я думал, будто вы прекрасно знаете жизнь: у вас нет ни моральных принципов, ни предрассудков, ни иллюзий; вы бы хотели, чтоб я думал, будто вы считаете себя равным мне,— просто сидят два человекоподобных существа и разговаривают друг с другом, и их ничто не разделяет — ни положение, ни богатство, ни одежда, ничто,— а *c'est un peu trop fort!*² Вы лучшая из всех подделок, какие я встречал среди людей вашего класса, хоть вы и получили столь неудачное воспитание, и я вам очень благодарен, но рассказывать вам все, о чем я думаю, значило бы нанести ущерб моим планам. На это вы не рассчитывайте».

В старом сюртуке Шелтона он выглядел вполне прилично, тем более что обладал врожденной, почти чрезмерной утонченностью. Он, казалось, сроднился с окружающей обстановкой, и, что еще удивительнее, Шелтон чувствовал себя с ним так просто, словно этот молодой человек был часть его самого. Шелтон с удивлением осознал, какое место занял в его мыслях этот молодой

¹ Я не хочу быть «канцелярской крысой» (франц.).

² Это, пожалуй, уж слишком! (франц.)

иностранец. Его манера держать голову и широко расставлять ноги — несколько угловатая, но не лишенная известной грации, скептическая складка рта, выходявшие из этого рта кольца дыма — все указывало на то, что это бунтарь, стремящийся ниспровергнуть существующий порядок. Его тонкий, слегка искривленный нос, быстрый взгляд широко раскрытых, навывкате глаз говорили о необычайной ироничности, — он был воплощенным отрицанием всего общепринятого.

— Чем я живу во время моих скитаний? — продолжал Ферран. — Что ж, для этого имеются консулы. Конечно, чтобы обращаться к ним, нужно отбросить излишнюю щепетильность, но, когда умираешь с голоду, многое становится дозволенным; к тому же ведь эти джентльмены только для того и существуют. В Париже есть целая компания немецких евреев, которые живут исключительно за счет консулов.

Он поколебался какую-то долю секунды и тут же продолжал:

— Да, мосье, если бумаги у вас подходящие, можно попытаться счастья у шести-семи консулов в одном и том же городе. Нужно только знать два-три языка, но в большинстве своем эти джентльмены сами не очень сильны в языке той страны, которую они представляют. Вы скажете: это значит добывать средства обманом путем? Пусть так. Но в конечном-то счете какая же разница между всей этой глубокоуважаемой компанией директоров, модных врачей, фабрикантов, жуликоватых подрядчиков, военных, сельских священников да, пожалуй, и самих консулов, которые получают деньги и ничего не делают взамен, и несчастными бедняками, которые проделывают то же самое, но при этом подвергают себя куда большему риску? Нужда диктует свои законы. Да если б эти джентльмены оказались в моем положении, вы думаете, они бы стали колебаться?

— Впрочем, вы правы, — поспешил добавить Ферран, заметив сомнение на лице Шелтона. — Они, конечно, стали бы колебаться, но только из страха, а не из принципа. Ведь щепетильность теряешь лишь в тех случаях, когда тебя уж очень крепко прижмет. Копните поглубже, и вы увидите, какие некрасивые поступки совершают ежедневно наши самые уважаемые гражда-

не, и по причинам, далеко не столь серьезным, как желание утолить голод.

Шелтон закурил папиросу, — ведь и он получал доходы, за которые не расплачивался никаким трудом.

— Я приведу вам один пример, — сказал Ферран, — который показывает, чего можно добиться решительностью. Как-то раз в одном немецком городе, *étant dans la misère*¹, я решил обратиться к французскому консулу. Я, правда, как вы знаете, фламандец, но мне необходимо было где-то раздобыть денег. Консул отказался принять меня; тогда я сел и стал ждать. Часа через два чей-то голос проревел: «Как, эта скотина все еще здесь?» — И в комнате появляется сам консул.

«У меня ничего нет для таких, как ты, — говорит он. — А ну, убирайся отсюда!»

«Взгляните на меня, мосье, — говорю я. — На что я похож — одна кожа да кости. Я, право, очень нуждаюсь в помощи».

«Убирайся отсюда, — кричит он, — или я позову полицию!»

Я не двинулся с места. Прошел еще час, и в комнате снова появился консул.

«Ты все еще здесь? — говорит он. — Позовите полицейского».

Приходит полицейский.

«Сержант, — говорит консул, — вышвырните отсюда этого субъекта».

«Сержант, — говорю я, — этот дом — территория Франции!»

Разумеется, я сказал это с тонким расчетом: в Германии не питают особой любви к тем, кто защищает интересы французов.

«Он прав, — говорит полицейский. — Я тут ничего не могу поделать».

«Вы отказываетесь?»

«Категорически».

И он ушел.

«Ты думаешь, что чего-нибудь добьешься, если будешь здесь торчать?» — спрашивает консул.

«Мне нечего есть и пить и негде спать», — говорю я.

¹ Попад в крайне бедственное положение (франц.).

«Сколько тебе дать, чтобы ты ушел?»

«Десять марок».

«Держи и убирайся вон!»

— Уверяю вас, мосье, нужно иметь очень толстую кожу, чтобы жить на счет консулов,— закончил свой рассказ Ферран.

Его пожелтевшие от табака пальцы медленно вертели окурок, а губы насмешливо подергивались. Шелтон же подумал о том, как мало он знает жизнь. Кажется, не было случая, чтобы он хоть раз лег спать с пустым желудком.

— Вы, видимо, часто голодали,— едва слышно произнес он. Ему, который всегда ел вкусно и вдоволь, голод представлялся чем-то романтичным.

Ферран усмехнулся.

— Самое большее — четыре дня подряд,— ответил он.— Вы, пожалуй, этому не поверите... Дело было в Париже, и я проиграл последние деньги на скачках. Мне должны были прислать кое-что из дому, но я все не получал перевода. Четверо суток я жил на одной воде. Я был превосходно одет, и у меня были драгоценности, но мне даже в голову не приходило заложить их. Больше всего я страдал от мысли, что люди могут догадаться о моем бедственном положении. Сейчас вам трудно представить себе меня таким, правда?

— Сколько вам было тогда лет? — спросил Шелтон.

— Семнадцать. Забавно вспомнить, каким бываешь в эти годы.

И перед мысленным взором Шелтона сразу возникла фигура хорошо одетого юноши с нежным выразительным лицом, который без усталости бродит по улицам Парижа, опасаясь, как бы окружающие не заметили, до чего он голоден. Рассказ Феррана мог служить весьма ценной иллюстрацией скудности житейского опыта Шелтона. Но Шелтон был внезапно выведен из раздумья: взглянув на Феррана, он, к своему ужасу, увидел, что по щекам молодого человека катятся слезы.

— Я слишком много страдал,— пробормотал тот.— Не все ли мне теперь равно, что со мной будет?

Шелтону стало очень не по себе: ему хотелось как-то выразить свое сочувствие, но, будучи истым англичанином, он лишь молча отвел глаза.

— Судьба еще улыбнется вам...— сказал он наконец.

— Ах, проживите такую жизнь, как я, тогда и у вас не останется ничего святого. У меня вместо сердца одни клочья. Найдите мне в этом зверинце хоть что-нибудь, чего бы стоило добиваться!

Хоть и очень растроганный, Шелтон ерзал на стуле, не зная, как быть, ибо врожденный инстинкт англичанина или какая-то болезненная сдержанность не позволяли ему высказывать свои чувства и заставляли уходить в себя, когда их проявляли другие. Такие проявления чувства он допускал на сцене или в книге, но в жизни он их не допускал.

Когда Ферран ушел, неся в каждой руке по чемодану с вещами, Шелтон сел писать Антонии.

«...Бедняга был не в силах совладать с собой и расплакался, как ребенок, но вместо того, чтобы почувствовать к нему сострадание, я словно окаменел. И чем больше мне хотелось выказать ему сочувствие, тем холоднее я становился. Что же мешает нам проявлять наши чувства — боязнь показаться смешными или назойливыми, а может быть, желание быть независимыми в своих суждениях?»

Он написал ей и о том, как Ферран предпочел четыре дня голодать, но не пошел в ломбард; а когда перечитывал письмо, прежде чем вложить его в конверт и надписать адрес, перед ним вдруг возникли лица трех женщин, какими он их видел за продолговатым столом, накрытым белоснежной скатертью: лицо Антонии, такое красивое, спокойное, разрумнявшееся от ходьбы на ветру; лицо ее матери, изборожденное морщинками, которые оставило на нем время и пребывание на свежем воздухе; лицо тетушки, пожалуй, уж слишком худое,— все они, казалось, нагнулись к нему через стол, настоятельно вслушиваясь в его слова, но все же не забывая о «правилах хорошего тона», и в ушах его прозвучал их дружный возглас: «Это очень мило!» Он пошел на почту опустить письмо и заодно послал пять шиллингов маленькому цирюльнику Каролану в благодарность за то, что тот передал Феррану его записку. Однако он не указал на переводе своего адреса,— было ли это продик-

товано деликатностью или же осторожностью, он и сам затруднился бы сказать. Но ему, несомненно, стало стыдно и вместе с тем приятно, когда он получил через Феррана следующий ответ:

«3, Блэнк-Роу,
Вестминстер.

Благородные люди отзывчивы! Тысяча благодарностей. Сегодня утром получил Ваш почтовый перевод. Ваше сердце для меня отныне выше всяких похвал.

Ж. Каролан».

ГЛАВА XI ВИДЕНИЕ

Через несколько дней Шелтон получил от Антонии письмо, наполнившее его радостным волнением:

«...Тетя Шарлотта чувствует себя несравненно лучше, и потому мама думает, что мы можем вернуться домой. Ура! Только она говорит, что мы с Вами должны по-прежнему соблюдать условие, о котором договорились, и не встречаться до июля. Быть так близко и в то же время находить в себе силы, чтобы не встречаться,— в этом есть какая-то прелесть... Все англичане уже уехали. И здесь стало так пусто! А люди здесь такие нелепые — все иностранцы — и какие-то скучные. Ах, Дик, как чудесно, когда есть идеал и можно к нему стремиться! Напишите мне немедленно в отель «Бруэрс» и скажите, что Вы со мной согласны... Мы приезжаем в воскресенье, в половине восьмого, на вокзал Чэринг-Кросс; два дня проживем в отеле «Бруэрс», а во вторник отправимся в Холм-Окс...

Всегда Ваша Антония».

«Завтра! — пронеслось у него в голове. — Она приезжает завтра!» — И, позабыв о недоеденном завтраке, Шелтон выскочил на улицу, чтобы пройтись и немного успокоиться.

Близ площади, на которой он жил, начиналась одна из трущоб, какие все еще можно встретить рядом с самыми фешенебельными кварталами, и здесь внимание

Шелтона привлекла кучка любопытных, собравшихся поглазеть на дерущихся собак. Одной из них приходилось плохо, и Шелтон стал озираться по сторонам, ища глазами полисмена, ибо на улице была грязь, а он, как всякий благовоспитанный англичанин, испытывал ужас при одной мысли, что может привлечь к себе внимание даже вполне благовидным поступком. Полисмен стоял поблизости, наблюдая за тем, чтобы драка велась по всем правилам, и Шелтон попросил его вмешаться. В ответ на это полисмен заявил, что лучше бы ему не выводить на улицу такого задиристого пса, и посоветовал окатить дерущихся собак холодной водой.

— Но это вовсе не мой пес, — сказал Шелтон.

— Так чего же вы беспокоитесь? — заметил явно удивленный полисмен.

Шелтон обратился к стоявшему вокруг простонародью, прося кого-нибудь разнять собак. Но все боялись, что собаки искусают их.

— Не стал бы я, на вашем месте, ввязываться в это дело, — сказал один из них.

— Ну и дрянь же этот пес!

И Шелтону пришлось забыть о своей респектабельности; выпачкав брюки и перчатки, сломав зонтик и уронив в грязь шляпу, он сумел наконец разнять собак. Когда все было кончено, кто-то из простонародья с пристыженным видом сказал:

— Вот уж никогда бы не подумал, что вы сможете с ними справиться, сэр.

Как и все пассивные натуры, Шелтон приходил в самое сильное возбуждение, когда все уже оставалось позади.

— А чтоб вас всех! — разразился он. — Нельзя же стоять и смотреть, как гибнет собака.

И, приспособив носовой платок вместо цепочки, он зашагал прочь, ведя за собой покалеченного пса и бросая на безобидных прохожих грозные взгляды. Теперь, когда он дал выход своим чувствам, Шелтон считал себя вправе строго судить о людях, с которыми ему пришлось столкнуться на улице.

«Скоты, — думал он, — и пальцем не пошевельнут, чтобы спасти несчастное бессловесное животное... ну, а полиция...» Но, поостыв немного, Шелтон понял, что люди,

несущие тяжелое бремя «честного труда», не могут рисковать целостью своих брюк или пальцев и что даже полисмен, хоть он и кажется полубогом, тоже простой смертный. Шелтон привел собаку домой и послал за ветеринаром, чтобы тот наложил ей швы.

Его уже мучили сомнения: а может быть, рискнуть и пойти на вокзал встречать Антонию? И вот, отправив слугу с собакой по адресу, указанному на ошейнике, он решил зайти к своей матери, смутно рассчитывая, что она, возможно, подскажет ему, как быть. Она жила в Кенсингтоне; Шелтон пересек Бромптон-Род и вскоре очутился среди домов, в архитектуре которых строители, казалось, запечатлели девиз: «Блюда свое достояние — жену, деньги, дом в респектабельном квартале и все блага высоконравственной жизни!»

Шелтон шел в глубоком раздумье, глядя на бесконечный ряд домов, — дом за домом, и все такие сугубо респектабельные, что даже собаки не лаяли на них. Кровь все еще бурлила в нем; иной раз прямо поражаешься, как самый незначительный случай может натолкнуть человека на размышления о самых высоких материях. Он читал как-то в своем любимом журнале статью, восхвалявшую свободу деятельности и инициативу, благодаря которым крупная буржуазия могла стать столь прекрасной основой общества, и сейчас, вспомнив об этом, иронически кивнул головой. «Да, инициатива и свобода! — думал он, глядя по сторонам. — Свобода и инициатива!»

Фасады всех домов выглядели холодно, официально; каждый из них служил убежищем владельцу, обладающему доходом в три — пять тысяч фунтов в год, и каждый давал отпор нежелательным толкам соседей какой-то вызывающей правильностью линий. «Я горд своей прямолинейностью, во мне нет ничего лишнего, вот почему я могу смело смотреть на мир. У человека, который проживает во мне, после уплаты подоходного налога остается ежегодно всего четыре тысячи двести пятьдесят пять фунтов». Вот что, казалось, рассказывали эти дома.

Шелтон обгонял на своем пути дам, которые в одиночку, парами или по трое направлялись в магазины за покупками или же шли на уроки рисования или кулина-

рии, а может быть, на медицинские курсы. Мужчин на улице почти не было, а те, что встречались, были по преимуществу полисмены. Краснощекие няньки в сопровождении великого множества мохнатых или гладкошерстных собачонок везли в колясочках в парк уже разочарованных в жизни детей.

В миссис Шелтон — крошечной женщине с добрым взглядом, розовыми щечками и вечно зябнувшими ногами — можно было усмотреть нечто родственное широкому либерализму ее брата: она любила, точно кошка, греться у огня, свернувшись в кресле, и всегда рада была кому-нибудь посочувствовать, не разбирая, кому и в чем. Сына своего она встретила с восторгом, расцеловала и, по обыкновению, тотчас заговорила о его помолвке. И, слушая ее, сын впервые почувствовал легкое сомнение; точка зрения матери раздражала его, как вид платья в голубую и пунцовую полоску: все представлялось ей в слишком уж розовом свете. Ее радужный оптимизм нагонял на него грусть — так мало он вязался с доводами рассудка.

«Почему она так уверена в моем счастье? — спрашивал он себя. — Мне это кажется прямо каким-то богохульством».

— Ах, душенька! — заворковала миссис Шелтон. — Так, значит, она приезжает завтра? Ура! Я безумно хочу ее видеть!

— Но вы же знаете, мама, что мы договорились не встречаться до июля.

Миссис Шелтон покачала ножкой и, склонив, точно птичка, голову набок, посмотрела на сына сияющими глазами.

— Дик, дорогой мой, как ты, должно быть, счастлив! — воскликнула она.

Шелтон ощутил исходявшие от нее волны сочувствия, которым она уже полвека одаряла всевозможные браки — и счастливые, и несчастные, и средние.

— Я думаю, мне не следует ехать на вокзал встречать ее, — мрачно сказал Шелтон.

— Не унывай! — сказала мать, и от этих ее слов сын совсем упал духом.

Эти слова «не унывай» — целительный бальзам, который помогал ей бездумно и радостно переносить все

невзгоды, — казались ему столь же бессмысленными, как вино без букета.

— Как ваш ишиас? — спросил он.

— О, совсем плохо, — ответила миссис Шелтон. — Впрочем, я думаю, что все будет в порядке. Не унывай! — Она вытянула ноги и еще больше склонила набок голову.

«Удивительная женщина!» — подумал Шелтон.

И в самом деле, подобно многим своим соотечественникам, она упорно не замечала темных сторон жизни и, наслаждаясь со спокойной совестью всеми благами общепринятого жизненного уклада, сохранила душевную молодость и наивность тридцатилетней девственницы.

Шелтон ушел от нее, так и не решив, надо ли ему встречать Антонию. До самого вечера он не находил себе места.

Следующий день — день ее приезда — был воскресеньем. Еще раньше он обещал Феррану пойти с ним послушать одного проповедника, который выступал в трущобах, и, готовый ухватиться за что угодно, лишь бы избавиться от гнетущего волнения, он решил выполнить свое обещание. Этот проповедник-любитель, по словам Феррана, весьма оригинально распоряжался теми деньгами, которые ему удавалось собрать: мужчинам из своей паствы он не давал ничего, некрасивым женщинам — очень мало, а хорошеньким — все остальное. Ферран сделал из этого соответствующий вывод, но ведь он был иностранец, тогда как англичанин Шелтон предпочитал думать, что проповедником руководит чисто абстрактная любовь к красоте. Говорил он, во всяком случае, так красноречиво, что, выйдя из церкви, Шелтон почувствовал тошноту.

Еще не было семи часов; чтобы как-то убить оставшиеся до приезда Антонии полчаса, Шелтон пригласил Феррана зайти в итальянский ресторанчик, заказал для него бутылку вина, а для себя чашку кофе и, закулив папиросу, продолжал сидеть молча, крепко сжав губы. Сердце у него замирало странно и сладко. Ферран, и не подозревавший о том, что творится в душе Шелтона, спокойно пил вино, крошил в пальцах булочку и, выпуская носом дым, с явной насмешкой разглядывал ряды столиков, дешевые зеркала, люстры, ярко-красный бар-

хат обивки. Его сочные губы, казалось, шептали: «Эх, знали бы вы, сколько грязи под этим блестящим оперением!» Шелтон с отвращением наблюдал на ним. Хотя одет он был теперь вполне прилично, ногти у него были не очень чистые, а концы пальцев желтые, словно желтизна пропитала их до самых костей. Худосочный официант, в рубашке четырехдневной давности, с жирными пятнами на одежде, стоял, перекинув через руку измятую салфетку, и, облокотившись на стойку, где красовались вазы с фруктами сомнительной свежести, читал итальянскую газету. Он устало переминался с ноги на ногу — олицетворенное переутомление! Когда же он двигался, каждый мускул в нем словно бросал упрек убогой роскоши стен. В дальнем углу залы сидела за столиком дама; в зеркале напротив отражалась ее шляпа с перьями, круглое плоское лицо, покрытое толстым слоем пудры, черные глаза; и, глядя на нее, Шелтон почувствовал непреодолимое отвращение. А его спутник пристально рассматривал ее.

— Извините, мосье, — сказал он наконец. — Мне кажется, я знаю эту даму!

И, встав из-за столика, он пересек зал, подошел к даме, поклонился и сел с ней рядом. С чисто фарисейской деликатностью Шелтон отвернулся, чтобы не смотреть в ту сторону. Но Ферран почти тотчас возвратился, а дама встала и вышла из ресторана — она плакала. Ферран весь покраснел, лицо его искривила гримаса; больше он не притрагивался к вину.

— Я был прав, — сказал он. — Это жена одного моего старого приятеля. Я хорошо знал ее когда-то.

Он был взволнован и расстроен, но человек, не столь поглощенный собственными мыслями, как Шелтон, пожалуй, уловил бы в тоне Феррана удовлетворение, словно он как гурман, любящий смаковать самые разные блюда, какие подносит ему жизнь, радовался тому, что может подать своему покровителю новое, приправленное трагедией кушанье.

— Таких, как она, сотни на ваших улицах, и, однако, ничто не заставит этих добродетельных леди, — и Ферран кивком головы указал на проносившийся мимо поток экипажей, — не отворачиваться при виде женщин ее сорта. Она приехала в Лондон ровно три года назад.

Год спустя один из ее мальчиков заболел горячкой,— все стали избегать ее лавку; потом заразился ее муж и вскоре умер. Вот она и осталась с двумя детьми на руках, а все ее имущество ушло на оплату долгов. Она пыталась найти работу, но никто не помог ей в этом. У нее не было денег, чтобы нанять человека для присмотра за детьми, а работой, которую она доставала у себя в доме, невозможно было прокормить их. Характер у нее не из сильных. Вот она и отдала детей на воспитание, а сама пошла на улицу. Первую неделю было очень страшно, а теперь она привыкла — ведь ко всему можно привыкнуть...

— И ей ничем нельзя помочь? — спросил потрясенный Шелтон.

— Нет,— ответил его собеседник.— Я знаю таких женщин: если уж она ступила на этот путь — все кончено. Потом они привыкают к достатку. Тем, кто хлебнул горя, не так-то легко от этого отказаться. Она сказала мне, что дела ее идут неплохо; детям живется хорошо,— она теперь может платить сколько нужно за их содержание и иногда навещать их. Между прочим, она из хорошей семьи; очень любила мужа и многим пожертвовала ради него. Что поделаешь! Уверяю вас, что три четверти ваших добродетельных леди поступили бы точно так же, окажись они на ее месте и обладай подходящей наружностью.

Ясно было, что Ферран расстроен этой встречей, и Шелтон понял, какую большую роль играет личное знакомство даже для такого бродяги.

— Вот тут она и дежурит,— заметил молодой иностранец, когда они проходили мимо ярко освещенного перекрестка, где по ночам скользят тени женщин и лиц-меров.

Напутствуемый этим изречением о сущности христианской морали, Шелтон отправился на вокзал Чэринг-Кросс. Он стоял, с замиранием сердца ожидая прибытия поезда, и думал о том, как странно, что всего несколько минут тому назад он был в обществе какого-то бродяги.

И вот среди потока пассажиров, который хлынул из подошедшего поезда, он увидел Антонию. Она шла рядом с матерью, дававшей указания лакею; за ними

следовала горничная с картонкой и носильщик с чемоданами. Антония уткнула подбородок в воротник пелерины; высокая, стройная и строгая, она резко выделялась на фоне суетившейся вокруг толпы своим нетерпеливым и высокомерным видом. Ее глаза, несколько утомленные путешествием, внимательно смотрели по сторонам; казалось, все, что она видит, доставляет ей удовольствие; прядь волос выбилась из-под шапочки над ухом; на щеках играл легкий румянец. Внезапно она увидела Шелтона и остановилась, глядя на него, изящно, точно лань, изогнув шею; губы ее приоткрылись в сияющей улыбке, и дрожь пробежала по телу Шелтона. Да, вот она — воплощение всего, к чему он так долго стремился! Он не мог бы сказать, что скрывалось за ее улыбкой — была ли то страстная тоска или что-то неуловимо-бесплотное, чистое и ледяное. Эта улыбка как бы скользила мимо него, освещая весь мрачный вокзал. В ее ослепительном блеске не было ни трепета, ни неуверенности, ни намек на ликование невесты — она излучала ровный свет, словно улыбка звезды. Но не все ли равно? Ведь главное, что Антония здесь, улыбается ему, прекрасная, как нарождающийся день! И она принадлежит ему, — совсем немного времени отделяет их от торжественной минуты. Он шагнул к ней, но она тотчас опустила глаза, и лицо ее вновь приняло надменное выражение; окруженная матерью, лакеем, горничной и носильщиком, она проследовала к экипажу, села в него и уехала.

Вот и все: она видела его, улыбнулась ему; но к его восторгу примешивалось какое-то другое чувство, и — какая жестокая шутка! — вместо ее лица перед его глазами всплыло лицо дамы из ресторана — плоское, круглое, сильно напудренное, с подведенными тушью глазами. Какое мы имеем право презирать ее и ей подобных? Разве у них есть матери, лакеи, носильщики, горничные? Он вздрогнул, но на этот раз от физического отвращения; напудренное лицо с подведенными глазами исчезло, и перед ним вновь возникла фигура девушки на вокзале — прекрасной и такой далекой.

Шелтон долго сидел за обедом, потягивал вино и мечтал, и еще долго сидел потом, курил и опять мечтал, а когда он наконец поехал домой, голова у него слегка кружилась, одурманенная вином и мечтами. Фо-

нари, мелькающие в быстром танце, луна, как сливочный сыр, полосы яркого света на мокрой сбруе лошади, позвякивание колокольчика на кэбе, стук колес, ночной воздух и ветви деревьев — все было так прекрасно! Шелтон распахнул дверцу: ему хотелось ощутить прикосновение теплого ветерка. Он испытывал невыразимое наслаждение при виде толпы прохожих на тротуарах, — они казались тенями, счастливыми тенями, населявшими чудесный сон, и среди этого водоворота людей стояла она, олицетворявшая для него весь мир.

ГЛАВА XII

В ХАЙД-ПАРКЕ

На следующее утро Шелтон проснулся с головной болью; ощущая какое-то непонятное беспокойство, полный надежд и глубоко несчастный, он сел на лошадь и направился в Хайд-парк.

В небе мешались самые нежные и самые яркие краски весны. Деревья и цветы, казалось, пробудились от сна, купаясь в лучах света, пробивавшихся сквозь розоватые облака. Воздух был омыт дождем, и на всех прохожих лежал отпечаток беззаботного спокойствия, словно легкомысленный вид небосвода на время рассеял все земные тревоги.

На Роттен-Роу¹ было оживленно и тесно от множества верховых.

Близ ворот, выходящих на Пикадилли, внимание Шелтона привлек человек, одиноко стоявший у ограды. Прямой и тонкий, в сюртуке и коричневом котелке, лихо сдвинутом на затылок, человек этот, застывший в задумчивой позе, слегка приподняв одно плечо, столь резко выделялся среди окружающих, что где угодно бросился бы в глаза. То был Ферран, который явно дожидаясь часа, когда можно будет пойти позавтракать со своим покровителем. Шелтону захотелось понаблюдать за ним, оставаясь незамеченным, и, укрывшись за деревом, он придержал лошадь.

¹ Дорожка для верховой езды в Хайд-парке.

В этом месте наездники, доехав до конца дорожки, один за другим поворачивают обратно,— вот тут и стоял Ферран, птица перелетная, стоял, чуть наклонив голову набок, и смотрел, как они проезжают мимо него галопом, шагом или рысью.

Как раз в эту минуту трое мужчин, шедших вдоль ограды, совсем одинаковым движением и с совершенно одинаковым выражением лица приподняли цилиндры, приветствуя проезжавшую наездницу, словно они испытывали огромное удовлетворение, выполняя этот старинный обычай в соответствии с последними требованиями моды.

Шелтон заметил усмешку, искривившую губы Феррана. «Большое спасибо, джентльмены! — казалось, говорила она.— Один очаровательный жест — и мне ясно, что вы собой представляете».

Что за удивительный дар у этого парня сдергивать с жизни покровы, срывать с людей личины и маски! Шелтон повернул лошадь и поскакал прочь: мысли его были полны Антонией, и ему не хотелось, чтобы кто-то развеял эти чары.

Шелтон посмотрел на небо, по которому ползли тучи, готовые вот-вот разразиться жесточайшим ливнем, как вдруг чей-то голос окликнул его сзади — и, обернувшись, кого, вы думаете, он увидел? — Билл Деннант и Антония нагоняли его!

Они скакали галопом: у девушки горели щеки — как в тот день, когда она стояла на развалинах старой башни в Йере, только сейчас вся она светилась радостью, тогда как в ту минуту в ней чувствовалось спокойствие победителя. Поравнявшись с Шелтоном, они, к великому его восторгу, не стали его обгонять, и все трое поскакали рядом по дорожке, между деревьями и оградой. Взгляд, который бросила ему Антония, казалось, говорил: «Пускай нельзя, я не желаю с этим считаться», — но сама она не сказала ни слова. Шелтон не мог оторвать от нее глаз. До чего же она хороша — эта решительная осанка, золото волос, выбившихся из-под шляпы, румянец на щеках, горящих словно от поцелуев!

— Как чудесно быть дома! Поскакали быстрее! — воскликнула она.

— Натяни-ка поводья. А то еще заберут в полицию,— с усмешкой проворчал ее братец.

Они попридержали лошадей на повороте и мелкой рысцой затрусили обратно; за все это время Антония так и не сказала ни слова Шелтону, да и Шелтон разговаривал только с Биллом Деннантом. Он боялся говорить с Антонией, ибо знал, что она воспринимает эту случайную встречу, состоявшуюся вопреки всем запретам, совсем иначе, чем он.

Они подъехали к воротам, близ которых, прислонясь к ограде, все еще стоял Ферран, и Шелтон, успевший забыть о его существовании, был неприятно поражен, когда перед его глазами внезапно выросла эта бесстрастная фигура. Шелтон только было собрался помахать ему рукой, но вовремя заметил, что молодой иностранец, догадавшись о его чувствах, решил держаться соответственно. Они так и не обменялись приветствиями, если не считать вопроса, промелькнувшего в глазах Феррана и тотчас уступившего место полнейшей безучастности. Но Шелтон уже не ощущал той беспричинной, бездумной радости, которая еще совсем недавно наполняла все его существо,— его раздражало молчание Антонии. Оно становилось все мучительнее, тем более, что Билл Деннант отстал, заболтавшись с приятелем, и Шелтон с Антонией были теперь одни; они ехали шагом, не говоря ни слова, даже не глядя друг на друга. Он то хотел ускатать вперед, оставив ее в одиночестве, то собирался нарушить обет молчания, который она словно бы наложила на него, и все время его не покидала неотвязная мысль: «Нужно на что-то решиться. Больше я так не выдержу!» Ее спокойствие начало действовать ему на нервы: девушка, казалось, заранее решила, как далеко она может зайти, хладнокровно наметила некий предел. В ее счастливой молодости и красоте, в ее ослепительной холодности наиболее ярко проявлялось здоровое начало, присущее девяти человекам из десяти, которых знал Шелтон. «Долго я так не выдержу»,— подумал он и вдруг произнес это вслух. Услышав его голос, она нахмурила брови и пустила лошадь вскачь. Когда Шелтон догнал ее, она улыбалась, подставляя лицо дождю, который начал расходиться не на шутку. Чуть заметно кивнув Шелтону, она махнула рукой, словно отсылая его прочь,

когда же он не послушался, снова нахмурила брови. В эту минуту Шелтон увидел, что их догоняет Билл Деннант, и, осознав всю нелепость своего положения, приподнял шляпу и поскакал прочь.

Теперь уже дождь лил как из ведра, и все заспешили, ища, куда бы укрыться. На повороте Шелтон оглянулся и различил вдали силуэт Антонии, — она ехала не торопясь, запрокинув голову и наслаждаясь ливнем. И зачем только она догоняла его, а уж если решила догнать, то почему не воспользовалась этой минутой счастья, ниспосланной свыше? Ему казалось преступлением упустить такой случай; не доезжая до ворот, он снова оглянулся в надежде, что она сменила гнев на милость.

Раздражение его скоро прошло, но желание видеть Антонию осталось. Что могло быть прекраснее ее в ту минуту, когда она ехала, запрокинув голову, подставив лицо дождю? Она, как видно, любит дождь; он служит ей таким хорошим фоном, — гораздо лучшим, чем солнечные дали юга. Да, она англичанка до кончиков ногтей! Шелтон вернулся домой расстроенный и озадаченный. Феррана не было, и в тот день он вообще не явился.

Это послужило Шелтону лишним доказательством деликатности молодого иностранца, которая как-то уживалась в нем с цинизмом.

К вечеру Шелтон получил записку.

«Видите ли, Дик, — прочел он, — мне не следовало бы к Вам подъезжать, но я словно совсем лишилась рассудка: здесь, дома, все кажется мне таким восхитительным, — даже душный старый Лондон. Конечно, мне страшно хотелось поговорить с Вами — ведь очень многое трудно выразить на бумаге, но потом я пожалела бы об этом. Я все рассказала маме. Она считает, что я поступила совершенно правильно, но она вряд ли поняла, в чем, собственно говоря, дело. Вы, наверное, согласитесь со мной, что самое главное в жизни — иметь идеал и так бережно охранять его, чтобы всегда было к чему стремиться, и сознавать... мне трудно выразить свою мысль».

Шелтон закурил и нахмурился. Как странно, что Антония придает куда больше значения какому-то «идеа-

лу», чем их встрече — первой и единственной за много недель.

«Пожалуй, она права,— подумал он,— пожалуй, права. Напрасно я пытался заговорить с ней!»

Но на самом деле он вовсе не считал, что она права.

ГЛАВА XIII

В ГОСТЯХ

Во вторник утром Шелтон отправился бродить по городу и дошел до Пэддингтонского вокзала, надеясь увидеть Антонию, которая в этот день уезжала в Холм-Окс; но боязнь показаться смешным, с детства прививавшаяся ему, была так сильна, что он не решился войти в вокзал и там дожидаться приезда Антонии. Повернув назад, он с тяжелым чувством разочарования снова прошел весь путь от Прэд-стрит до Хайд-парка и, войдя за ограду, уже больше не пытался подстергать свою невесту. Днем он нанес несколько визитов, главным образом ее родне, и, выбрав в поверенные тетю Шарлотту, с грустью поведал ей о своей встрече с Антонией на Роттен-Роу. Но тетя только сказала «как мило», а в ответ на его попытку растолковать ей свои сомнения пролепетала, что это «даже романтично, не правда ли?»

— И все же мне очень тяжело,— сказал Шелтон.

Ушел он от нее с чувством глубокой тоски.

Когда он переодевался к обеду, взгляд его упал на карточку с приглашением в гости от одной из его двоюродных сестер. Муж ее был композитор, и у Шелтона мелькнула мысль, что в доме композитора должно дышаться необычайно свободно. И вот, пообедав в клубе, он отправился в Челси. Гостей принимали в большой комнате на первом этаже; когда Шелтон вошел, в ней было уже полно народу. Гости стояли и сидели группами, с застывшими улыбками на губах, и свет ламп, прикрытых матовыми шарами, падал бликами на головы, руки, плечи. Кто-то только что исполнил на рояле собственное произведение. Человек опытный сразу сумел бы отличить среди аплодировавших гостей музыкантов-профессионалов, ибо глаза их горели и они выражали свой восторг с весьма кислой улыбкой. Их крепко спаяла меж-

ду собой чисто сектантская нетерпимость, и они с таким единодушным пренебрежением передергивали плечами, словно одно из высоких окон вдруг растворилось и в комнату ворвалась струя холодного майского воздуха.

Шелтон подошел к своей двоюродной сестре — хрупкой седой даме в черном бархатном платье, отделанном венецианским кружевом. Улыбаясь лучистыми глазами, она стояла и разговаривала с ним до тех пор, пока, следуя установившемуся на подобных приемах обычаю, ей, как хозяйке дома, не пришлось прервать разговор именно в ту минуту, когда он стал интересоваться Шелтоном. Тогда Шелтон был передан на попечение другой даме, уже беседовавшей с двумя джентльменами, и так как беседа у них шла чрезвычайно оживленная, Шелтону оставалось лишь взять на себя роль наблюдателя. Он почему-то ожидал, что здесь будут обсуждать серьезные вопросы, но, прислушавшись, понял, что все занимаются сплетнями или с серьезным видом толкуют о том, куда поехать летом или где найти новую прислугу. С кофейными чашечками в руках они разбирали по косточкам своих собратьев по профессии, точь-в-точь как это делали в прошлый раз его приятели из высшего света, разбирая своих собратьев по «шикарному» обществу, и на всех лицах отражался блеск натертых полов, золотых рам и рояля. Шелтон с чувством глубокой тоски переходил от группы к группе.

Под японской гравюрой стоял, вытянув руку ладонью кверху, высокий, представительный мужчина; его грузное тело и тонкие ноги подрагивали в такт модуляциям вкрадчивого голоса.

— Война не есть необходимость, — говорил он. — Война не есть необходимость. Надеюсь, я достаточно ясно выражаю свои мысли. Война не есть необходимость; она вызывается разделением людей на нации, но ведь и нации не необходимы. — Он склонил голову набок. — Зачем существуют нации? Уничтожим границы, и пусть идет война в торговле. Если, к примеру, я вижу, что Франция заинтересовалась Брайтоном, — он почти совсем положил голову на плечо и улыбнулся Шелтону, — что я делаю? Говорю: «Руки прочь?». Нет. «Берите, — говорю я, — берите!» — И он хитро усмехнулся. — Но вы думаете, французы взяли бы Брайтон?

Шелтон, как зачарованный, следил за его вкрадчиво-мягкими жестами.

— Солдат,— продолжал мужчина, стоявший под гравюрой,— в умственном, да, в умственном отношении, естественно, стоит на более низкой ступени, нежели филантроп. Он не так остро ощущает страдания, он вознаграждает себя за них громкой славой. Вы со мной согласны? — И он помолчал немного для большей убедительности.— Скажем — в чисто отвлеченном плане — я страдаю; но разве я говорю об этом? — Однако, заметив чей-то пристальный взгляд, устремленный на его дородную фигуру, он решил пояснить свою мысль на другом примере.— Скажем, у меня есть акр земли и корова, и у моего брата есть акр земли и корова,— разве я стремлюсь отобрать их у него?

— Но, может быть, вы слабее брата? — рискнул вставить Шелтон.

— Ах, оставьте! Взять хотя бы положение женщин: что до меня, то я считаю наши законы о браке просто варварскими!

Впервые в жизни Шелтон почувствовал уважение к этим законам; он развел руками и, опасаясь, как бы дальнейшая беседа не опровергла все его прочно устоявшиеся воззрения, поспешил присоединиться к разговору другой группы гостей. Среди них стоял, весь изогнувшись, какой-то ирландский скульптор и с жаром утверждал:

— Люди труда, черт бы их всех побрал, совсем не такие уж невежды...

А какой-то шотландский художник, с усмешкой слушавший его, очевидно, пытался доказать ложность этого утверждения, которое, по его мнению, относилось и к буржуазии. И хотя Шелтон был согласен с ирландцем, он немного испугался его непомерной горячности. А рядом, под сенью пышной шевелюры какого-то сочинителя романсов, две американки беседовали о чувствах, которые пробуждают в них оперы Вагнера.

— Они рожают во мне какое-то странное состояние,— сказала та, что потоньше.

— Они божественны,— сказала та, что потолще.

— Не знаю, право, можно ли назвать божественны-

ми чисто плотские вожделения,— возразила та, что потоньше, заглядывая в глаза сочинителю романсов.

Вокруг стоял гул голосов, вились клубы табачного дыма, а Шелтона неотступно преследовало ощущение, что все здесь происходящее — не более как следование определенному ритуалу. Он оказался зажатым между каким-то голландцем и прусским поэтом, но, не понимая ни того, ни другого, придал лицу возможно более умное выражение и стал раздумывать о том, что для человека свободной профессии, видимо, столь же обязательна оригинальность мнений, как для обычных людей отсутствие таковых. Он невольно спрашивал себя: а что, если все они зависят друг от друга в такой же мере, как обитатели Кенсингтона? Что, если они, подобно паровозам, совсем не смогут двигаться без этой возможности выпускать пар? Да и вообще, что от них останется, когда весь пар выйдет? Только что кончил играть скрипач, и в группе гостей, рядом с которой стоял Шелтон, тотчас заговорили об этике. Честолюбивые мечты витали в воздухе, словно стаи голодных призраков. И Шелтон вдруг понял, что мысли хороши только тогда, когда их не высказывают вслух.

Снова заиграл скрипач.

— Пребожественно! — вдруг воскликнул по-английски прусский поэт, как только умолкла скрипка. — Kolossal! Aber, wie ist er grossartig! ¹

— Вы читали эту книжонку Бизома? — раздался чей-то пронзительный голос позади Шелтона.

— Ох, дорогой мой! Мерзость невообразимая. Его повесить мало!

— Кошмарный человек,— еще более пронзительно продолжал все тот же голос.— Его может вылечить только извержение вулкана.

Шелтон в смятении оглянулся, чтобы посмотреть, от кого исходят подобные высказывания. Он увидел двух литераторов, беседующих о третьем.

— C'est un grand naïf, vous savez ², — произнес второй собеседник.

— О таких людях вообще не стоит говорить,— отрезал первый; его маленькие глазки горели зеленым ог-

¹ Великолепно! И как это мастерски исполнено! (нем.)

² Это, видите ли, страшно наивный человек (франц.).

нем, а выражение лица было такое, словно его вечно что-то грызет.

И Шелтон, хотя и не был литератором, при виде этих глазок сразу понял, с каким наслаждением были произнесены слова: «О таких людях вообще не стоит говорить».

— Бедный Бизом! Вы знаете, что сказал Молтер...

Шелтон отвернулся, словно подошел слишком близко к человеку, от волос которого пахнет помадой; оглядев комнату, он нахмурился. За исключением его двоюродной сестры, он был здесь, как видно, единственным англичанином. Тут были американцы, евреи, ирландцы, итальянцы, немцы, шотландцы и русские. Шелтон вовсе не относился к ним с презрением только потому, что они иностранцы,— просто бог и климат сделали его немножко не таким, как они.

Но тут, как это часто бывает, его вывод был опровергнут: его представили англичанину — майору (фамилии он не разобрал) с гладко прилизанными волосами и белокурыми усиками, с красивыми глазами и в красивейшем мундире. Майору, казалось, было немного не по себе в этом обществе. Он сразу понравился Шелтону,— отчасти потому, что тот и сам чувствовал себя здесь неважно, а отчасти потому, что военный с такой ласковой улыбкой смотрел на свою жену. И не успел Шелтон вымолвить «здравствуйте», как уже оказался вовлеченным в спор о целесообразности империи.

— Пусть так,— говорил Шелтон,— но меня возмущает ханжеское утверждение, будто мы благодетельствовали весь мир нашими методами насаждения так называемой цивилизации.

Майор задумчиво посмотрел на него.

— А вы *уверены*, что это лишь ханжеское утверждение?

Шелтон понял, что его довод находится под ударом. Ведь если мы и в самом деле так думаем, разве это ханжество? Но тем не менее он спросил:

— По какому праву мы считаем себя— незначительную часть населения земного шара — образцом для всех народов мира? Если это не ханжество, то чистейшая глупость.

— Но глупость-то, как видно, неплохая, коль скоро благодаря ей мы стали такой нацией,— ответил майор,



«ОСТРОВ ФАРИСЕЕВ».



«ОСТРОВ ФАРИСЕЕВ».

не вынимая рук из карманов, а лишь движением головы подчеркивая искренность и правильность своих суждений.

Шелтон был ошеломлен. Кругом стоял несмолкаемый гул голосов; до него донеслись слова улыбающегося пророка: «Альтруизм, альтруизм!», — и что-то в его тоне словно говорило: «Надеюсь, я произвожу хорошее впечатление!»

Шелтон посмотрел на точеную голову майора, на его ясные глаза с расходящимися от них еле заметными морщинками, на традиционные усы и позавидовал твердости убеждений, скрытых под этим безупречным пробором.

— Я бы предпочел, чтобы мы были прежде всего людьми, а уж потом англичанами, — пробормотал Шелтон. — По-моему, эти наши убеждения — своего рода иллюзии, разделяемые всей нацией, а я терпеть не могу иллюзий.

— Ну, если на то пошло, — заявил майор, — весь мир живет иллюзиями. Возьмите историю, и вы увидите, как на всем своем протяжении она только и делала, что создавала иллюзии, не так ли?

Этого Шелтон не мог отрицать.

— В таком случае, — продолжал майор (который был явно человеком высокообразованным), — коль скоро вы признаете, что движение, труд, прогресс и все прочее существуют собственно для того, чтобы создавать эти иллюзии, что они... м-м-м... так сказать, являются... м-м-м... продуктом непрерывного совершенствования нашего мира (эти слова он произнес очень быстро, словно стыдился их), так почему же вы хотите их уничтожить?

На минуту Шелтон задумался, потом решительно скрестил руки на груди и ответил:

— Да, конечно, прошлое сделало нас такими, какие мы есть, и его нельзя уничтожить, но что вы скажете о будущем? Не пора ли впустить к нам струю свежего воздуха? Соборы великолепны, и всякий любит запах ладана, но если столетиями не проветривать помещение, можно себе представить, какая там будет атмосфера.

Майор улыбнулся.

— Следуя вашим же собственным утверждениям, — сказал он, — вы лишь создали бы себе новые иллюзии.

— Да,— подтвердил Шелтон,— но они по крайней мере соответствовали бы потребностям настоящего.

Зрачки у майора сузились: он явно считал, что разговор становится банальным.

— Не понимаю, какой смысл всячески принижать себя,— сказал он.

Шелтон подумал, что его могут счесть фантазером, но все же сказал:

— Нужно полагаться на свой разум; я, например, никогда не могу заставить себя поверить в то, во что я не верю.

Минутой позже, крепко пожав руку Шелтона, майор простился с ним, и Шелтон долго следил, как он, пропускающая жену вперед, пробирался к выходу.

— Дик, разрешите вас познакомить с мистером Уилфридом Керли,— слышался сзади голос хозяйки, и молодой человек с выпуклым лбом и свежим румянцем на щеках застенчиво пожал ему руку и пролепетал, робея:

— Очень рад. Как вы поживаете?.. Я? Да, благодарю вас, превосходно!

Теперь Шелтон вспомнил, что обратил внимание на этого молодого человека, как только вошел в комнату,— тот стоял в уголке и улыбался собственным мыслям. В нем было что-то необычное: казалось, он влюблен в жизнь, казалось, считает ее каким-то живым существом, которому можно задавать бесконечные вопросы — вопросы интересные, остроумные, самые волнующие. Он производил впечатление человека робкого, учтивого, с независимыми взглядами и, несомненно, тоже был англичанином.

— Вы умеете спорить? — спросил Шелтон, не зная, с чего начать разговор.

Молодой человек покраснел, улыбнулся, отбросил волосы со лба.

— Да... нет... право, не знаю,— ответил он.— Мне кажется, у меня голова недостаточно быстро работает, чтобы участвовать в споре. Вы ведь знаете, какую огромную работу проделывает каждая мозговая клетка. Это страшно интересно.

И, согнувшись под прямым углом, он вытянул ладонь и стал пояснять Шелтону свою мысль.

Шелтон смотрел на руку молодого человека, на выра-

жение его лица, когда он хмурил брови или слегка ударял себя по лбу, подыскивая нужные слова, и все это было крайне интересно. Внезапно молодой человек прервал свои рассуждения и взглянул на часы.

— Мне, кажется, пора,— проговорил он, весь залившись краской.— Я должен быть в «Берлоге» не позже одиннадцати.

— Мне тоже нужно идти,— сказал Шелтон.

И, попрощавшись с хозяйкой дома, они пошли за своими шляпами и пальто.

ГЛАВА XIV

В ВЕЧЕРНЕМ КЛУБЕ

— Могу я полюбопытствовать, что такое «Берлога»? — спросил Шелтон молодого человека, когда они вышли на улицу, где дул холодный ветер.

— Да просто вечерний клуб,— улыбнувшись, ответил его спутник.— Мы дежури́м там по очереди. Мой день — четверг. Не хотите ли зайти? Вы там увидите много интересных типов. Это совсем близко, за углом.

Шелтон с минуту колебался и ответил:

— С удовольствием.

Они подошли к дому, стоявшему на углу мрачной улицы; дверь была открыта, и в нее только что вошли двое мужчин. Шелтон и молодой человек поднялись следом за ними по деревянной свежeweымытой лестнице и оказались в большой комнате с дощатыми стенами, где пахло опилками, газом, дешевым кофе и старым платьем. В ней был бильярдный стол, два или три деревянных столика, несколько деревянных скамей и книжный шкаф. Кругом стояли и сидели на скамьях юноши и люди постарше, из рабочих,— Шелтону показалось, что у них на редкость удрученный вид. Один читал; другой, прислонясь к стене, с разочарованным видом пил кофе; двое играли в шахматы, а четверо без конца стучали бильярдными шарами.

К вновь прибывшим, кисло улыбаясь, тотчас же подошел невысокого роста человечек в черном костюме, бледный, с тонкими губами и глубоко запавшими глазами, окруженными чернотой,— видимо, распорядитель.

— Вы что-то поздновато сегодня,— сказал он, обращаясь к Керли, и, окинув Шелтона взглядом отшельника и аскета, спросил, не дожидаясь, пока их познакомят:

— Вы играете в шахматы? А то вон Смит ждет партнера.

Молодой человек с безжизненным лицом, который уже расположился перед засиженной мухами шахматной доской, мрачно спросил Шелтона, какими он будет играть — черными или белыми. Шелтон выбрал белые. Атмосфера добродетельности, царившая в комнате, действовала на него угнетающе.

Человечек с запавшими глазами остановился возле них в неловкой позе и принялся наблюдать за игрой.

— Вы стали лучше играть, Смит,— сказал он.— Я думаю, что вы сможете дать Бэнксу коня вперед!

И он впился в Шелтона мрачным взглядом фанатика; говорил он монотонно, в нос, страдальческим голосом и все время кусал губы, точно твердо решил всеми силами смирить плоть.

— Вы должны почаще приходить сюда,— сказал он, когда Шелтон проиграл партию.— Сможете неплохо попрактиковаться. У нас есть несколько отличных шахматистов... Вам, конечно, далеко еще до Джонса и Бартоломью,— добавил он, обращаясь к противнику Шелтона, словно считал своим долгом поставить его на место.— Вы должны почаще приходить сюда,— повторил он, вновь обращаясь к Шелтону.— Среди членов нашего клуба есть немало превосходных молодых людей.— И он не без самодовольства оглядел унылую комнату.— Сегодня у нас меньше народу, чем обычно. Где, например, Тумс и Боди?

Шелтон тоже с тревогой поглядел по сторонам. Он невольно почувствовал симпатию к Тумсу и Боди.

— Что-то они, мне кажется, развинтились,— заметил человечек с запавшими глазами.— Наш принцип — развлекать всех и каждого. Одну минутку: я вижу, Карпен-тер ничего не делает.

Он направился к мужчине, который стоял на другом конце комнаты и пил кофе, но не успел Шелтон взглянуть на своего противника, пытаясь придумать, что бы такое сказать, как маленький человечек уже снова был возле него.

— Вы что-нибудь понимаете в астрономии? — спросил он Шелтона.— У нас тут несколько человек очень интересуются астрономией. Неплохо было бы, если бы вы с ними побеседовали.

Шелтон испуганно вздрогнул.

— Ах, нет...— проговорил он.— Я...

— Я был бы рад видеть вас иногда здесь по средам: в этот день у нас бывают крайне интересные беседы, а потом богослужения. Мы все время стремимся привлекать новые силы...— Говоря это, он окинул взглядом загорелое, обветренное лицо Шелтона, словно прикидывая, много ли в нем сил.— Керли говорит, что вы недавно вернулись из кругосветного путешествия; вы могли бы сообщить нам много интересного.

— Скажите, пожалуйста, а из кого состоит ваш клуб? — спросил Шелтон.

Маленький человечек вновь принял самодовольный и блаженно-умиротворенный вид.

— О, мы принимаем всех, лишь бы человек ничем не был скомпрометирован,— ответил он.— За этим следит «Дневное общество». Конечно, мы не принимаем тех, против кого общество возражает. Вы бы пришли как-нибудь на заседание нашего комитета, мы собираемся по понедельникам, в семь часов. У нас есть и женский клуб...

— Благодарю вас,— сказал Шелтон.— Вы очень любезны.

— Мы будем очень рады,— сказал маленький человечек, и лицо его исказилось страданием.— Сегодня у нас собралась главным образом холостая молодежь, но бывают здесь и женатые люди. Конечно, мы тщательно следим за тем, чтобы это были люди действительно женатые,— поспешил он добавить, словно испугавшись, что его слова могли шокировать Шелтона,— и чтобы не было ни пьянства, ни проявления каких-либо преступных инстинктов, ну, вы сами понимаете...

— Скажите, а вы оказываете также и денежную помощь?

— О да,— ответил маленький человечек.— Если вы придете на заседание нашего комитета, то сами сможете убедиться в этом. Мы тщательнейшим образом расследуем каждый случай, стремясь отделить плевелы от пшеницы.

— Я думаю, вы находите немало плевел,— заметил Шелтон.

Маленький человечек улыбнулся скорбной улыбкой. Его монотонный голос зазвучал чуть пронзительнее.

— Как раз сегодня я вынужден был отказать одному мужчине — мужчине и женщине, совсем молодой паре с тремя малыми детьми. Он болен и сейчас без работы, но видите ли, когда мы навели справки, выяснилось, что они не состоят в браке.

Наступила небольшая пауза; маленький человечек, не отрываясь, смотрел на свои ногти и вдруг с видимым удовольствием принялся грызть их. Шелтон слегка покраснел.

— А что же делать женщинам и детям в таких случаях? — спросил он.

В глазах маленького человечка вспыхнул огонек.

— Мы, конечно, взяли себе за правило не поощрять греха... Виноват, одну минутку: я вижу, там кончили играть на бильярде.

Он поспешил к играющим, и в тот же миг шары снова застучали. Сам он играл с притворным воодушевлением, бегал за шарами и всячески подбадривал игроков, которыми, казалось, овладело полное безразличие.

Шелтон пересек комнату и подошел к Керли. Тот сидел на скамейке, улыбаясь собственным мыслям.

— Вы еще долго пробудете здесь? — спросил Шелтон.

Керли торопливо вскочил с места.

— К сожалению, сегодня здесь нет никого из интересных людей,— сказал он.

— Что вы, совсем наоборот! — успокоил его Шелтон.— Просто у меня сегодня был довольно утомительный день, и мое настроение не соответствует атмосфере вашего клуба.

Лицо его нового знакомого озарилось улыбкой.

— Правда? Вы считаете... то есть я хочу сказать...

Но он не успел закончить фразу, так как в эту минуту стук бильярдных шаров прекратился и послышался голос человечка с запавшими глазами:

— Кто хочет получить книгу, пусть напишет здесь свою фамилию. В среду, как всегда, будет молитвенное

собрание. Очень прошу расходиться без шума. Я сейчас потушу свет.

Один газовый рожок погас, а другой внезапно вспыхнул ярким пламенем. Свет стал резче, и от этого унылая комната стала еще безотраднее. Посетители один за другим исчезали в дверях. Маленький человечек остался один посреди комнаты; он стоял, подняв руку к крану газового рожка, и горящими глазами одержимого глядел вслед удаляющимся членам своего клуба.

— Вам знакома эта часть Лондона? — спросил Керли Шелтона, когда они вышли на улицу. — Здесь, право, забавно; самый глухой закоулок в Лондоне, честное слово. Если хотите, я могу повести вас в такое опасное место, куда даже полиция не заглядывает.

Он, видимо, так жаждал этой чести, что Шелтону не захотелось разочаровывать его.

— Я бываю здесь довольно часто, — продолжал Керли, когда они свернули куда-то и начали подниматься по темному узкому переулку, змеившемуся между глухой стеной с одной стороны и рядом домов — с другой.

— Зачем? — спросил Шелтон. — Здесь не очень-то хорошо пахнет.

Молодой человек запрокинул голову и с такою жадностью втянул воздух, словно всякий новый запах пополнял его знание жизни.

— Да, но это-то и интересно, — сказал он. — Человек должен все знать. Вот ведь и эта тьма — презабавная штука: тут что угодно может случиться... На прошлой неделе неподалеку отсюда убили кого-то; здесь это всегда может случиться.

Шелтон в изумлении уставился на своего собеседника, но этого розовощекого юношу трудно было заподозрить в болезненном пристрастии к ужасам.

— Вот тут поблизости есть великолепная сточная канава, — продолжал юный гид. — А в этих трех домах люди мрут от тифа, как мухи. — У первого же фонарного столба молодой человек повернул к Шелтону свое младенчески серьезное лицо и кивком головы указал на дома: — Если б мы были в Ист-Энде, я показал бы вам места почище этих. Есть там один содержатель кофейни, который знает всех воров в Лондоне. Замечательно интересный тип! — добавил он, с некоторым беспо-

койством глядя на Шелтона.— Но я боюсь, что это место не вполне безопасно для вас. Я — другое дело: они уже стали признавать меня. И притом, как видите, взять с меня нечего.

— Боюсь, что сегодня я не смогу пойти туда с вами,— сказал Шелтон.— Мне пора домой.

— Можно мне вас проводить? При звездах город выглядит преинтересно!

— Буду очень рад,— сказал Шелтон.— А вы часто посещаете этот клуб?

Его спутник снял шляпу и провел рукой по волосам.

— Видите ли, очень уж у них все чинно,— сказал он.— Я люблю бывать там, где люди едят,— на каких-нибудь пикниках на лоне природы или на школьных празднествах. Так приятно смотреть, когда люди едят. Они ведь, как правило, никогда не наедаются вдоволь, у них все идет на питание мозга и мышц, а костям-то не хватает. Есть такие места, где зимой раздают беднякам хлеб и какао. Вот туда я люблю ходить.

— Я однажды был в таком месте,— заметил Шелтон.— Но мне стало стыдно, что я туда сунулся.

— О, эти люди не обращают на вас никакого внимания: ведь большинство из них еле живы от голода. Там можно встретить замечательно интересных типов — массу алкоголиков, например... Очень полезно побродить ночью по городу,— заметил он, когда они проходили мимо полицейского участка.— Узнаешь куда больше, чем днем. На прошлой неделе я провел презабавную ночь в Хайд-парке — вот где можно изучить человеческую природу!

— А вас это интересует? — спросил Шелтон.

Его спутник улыбнулся.

— Чрезвычайно,— ответил он.— Я видел, как один парень три раза залезал в чужие карманы.

— Ну и как же вы поступили?

— О, у меня с ним был презабавный разговор!

Шелтон вспомнил человечка с запавшими глазами, который взял себе за правило не поощрять греха.

— Это, знаете ли, был профессиональный карманник из Ноттинг-Хилла,— продолжал Керли.— Он рассказал мне свою историю. Конечно, у него не было никакой возможности выбиться в люди. Но самое интересное произо-

шло, когда я рассказал ему, что видел, как он обчищал карманы: словно вползал в погреб, не зная, что там внутри.

— Ну и...?

— Он показал мне свою добычу: всего пять с половиной пенсов.

— И что же случилось потом с вашим приятелем? — спросил Шелтон.

— Да ничего—ушел... У него был восхитительно низкий лоб.

Они подошли к дому, где жил Шелтон.

— Не зайдете ли ко мне выпить бокал вина? — предложил он.

Юноша улыбнулся, весь вспыхнул и покачал головой.

— Нет, благодарю вас,— сказал он.— Мне еще нужно дойти до Уайтчепела¹. Я теперь питаюсь одной овсянкой — замечательно укрепляет кости. В конце каждого месяца я обычно неделю живу на овсянке. Это наилучшая диета, когда нет денег.

И, снова покраснев, он улыбнулся и исчез.

Шелтон поднялся к себе и сел на кровать. На душе у него было тяжело. Он печально и медленно развязывал белый галстук, и вдруг ему представилась Антония, глядящая на него широко раскрытыми, удивленными глазами. И этот взгляд был для него словно откровение: как-то утром, выглянув из окна на улицу, он увидел прохожего, который внезапно остановился и почесал ногу,— тогда тоже точно молния озарила все вокруг, и Шелтон понял, что этот человек одинаково с ним думает и чувствует. А вот что на самом деле чувствует и о чем думает Антония, он никогда не узнает. «Пока я не увидел ее на вокзале, я и сам не знал, как сильно люблю ее и как мало ее знаю»,— подумал он и, глубоко вздохнув, поспешил раздеться и лечь.

ГЛАВА XV

ДВА ПОЛЮСА

С каждым днем ожидание июля становилось все более невыносимым, и если бы не Ферран, который по-прежнему ежедневно приходил к нему завтракать, Шел-

¹ Один из беднейших кварталов Лондона.

тон бежал бы из столицы. Первого июня молодой иностранец явился позже обычного и сообщил, что, как он узнал через одного знакомого, в отеле в Фолкстоне требуется переводчик.

— Если б у меня были деньги на необходимые расходы,— сказал он, быстро перебирая желтыми пальцами пачку засаленных бумажек, словно стараясь выяснить, кто же он на самом деле такой,— я б уехал сегодня же. Ваш Лондон гнетет меня.

— А вы уверены, что получите это место? — спросил Шелтон.

— Думаю, что да,— ответил молодой иностранец.— У меня есть неплохие рекомендации.

Шелтон невольно бросил недоверчивый взгляд на бумаги, которые Ферран держал в руках. Резко очерченные губы бродяги под еле пробивающимися рыжими усиками искривились в обиженной усмешке.

— По-вашему, человек с поддельными рекомендациями — все равно что вор? Нет, нет, я никогда не стану вором: у меня было немало возможностей стать им, и тем не менее,— сказал он горделиво и горько,— это не в моем характере. Я никогда никому не причинял зла. Вот это,— и он указал на бумаги,— конечно, некрасивая штука, но вреда от нее никому не будет. Если у человека нет денег, он должен иметь рекомендации: только они и спасают его от голодной смерти. У общества зоркий глаз на слабых: оно никогда не наступает человеку на горло, пока тот окончательно не свалился.

И взгляд Феррана, устремленный на Шелтона, казалось, говорил: «Это вы сделали меня тем, что я есть,— вот и миритесь теперь с моим существованием».

— Но ведь имеются работные дома,— произнес наконец Шелтон.

— Работные дома! — воскликнул Ферран.— Да, конечно, настоящие дворцы! Я вам вот что скажу: никогда в жизни я не видел более безотрадных мест, чем ваши работные дома, они лишают человека всякого мужества.

— А я всегда считал,— холодно заметил Шелтон,— что наша система помощи бедным лучше, чем в других странах.

Ферран нагнулся вперед и оперся локтем о колено,—

он всегда принимал эту позу, когда был особенно уверен в своей правоте.

— Что ж,— заметил он,— никому не возбраняется быть высокого мнения о собственной стране. Но, откровенно говоря, я покидал такие места крайне обессиленный и физически и морально, и вот почему.— Горькая складка у рта разгладилась, и перед Шелтоном предстал художник, рассказывающий о том, что он пережил.— Вы щедро тратите деньги, у вас прекрасные здания, исполненные чувства собственного достоинства чиновники, но вам чужд дух гостеприимства. Причина ясна: вы питаете отвращение к нуждающимся. Вы приглашаете нас в свои рабочие дома, а когда мы туда приходим, вы обращаетесь с нами пусть не жестоко, но так, словно мы не люди, а лишь номера, преступники, не заслуживающие даже презрения,— так, словно мы вас лично оскорбили; ну и естественно, что мы выходим оттуда совсем приниженными.

Шелтон закусил губу.

— Сколько вам нужно денег на дорогу и на то, чтобы начать новую жизнь? — спросил он.

Ферран сделал невольное движение, показавшее, какими зависимыми людьми оказываются даже самые независимые мыслители, когда у них нет ни гроша в кармане, и взял банковый билет, который протягивал ему Шелтон.

— Тысяча благодарностей,— сказал он.— Я никогда не забуду, как много вы для меня сделали.

И хотя при прощании голос Феррана звучал весело, Шелтон не мог не почувствовать, что тот и в самом деле тронут.

Шелтон еще долго стоял у окна и смотрел вслед Феррану, снова уходившему на поиски счастья; потом он оглянулся на свою уютную комнату, на множество вещей, скопившихся здесь за долгие годы,— на фотографии бесчисленных друзей, на старинные кресла и набор разноцветных трубок. С прощальным пожатием влажной руки бродяги беспокойство снова овладело Шелтоном. Нет, он не в силах дольше сидеть в Лондоне и дожидаться июля.

Шелтон взял шляпу и, не задумываясь над тем, куда идет, зашагал по направлению к реке. День был ясный, солнечный, но холодный ветер то и дело нагонял тучи,

разражавшиеся проливным дождем. И вот, когда полил очередной ливень, Шелтон вдруг заметил, что находится на Блэнк-Роу.

«Интересно, как поживает тот маленький француз, которого я тогда видел здесь», — подумал он.

В хорошую погоду Шелтон, наверное, перешел бы на другую сторону улицы и прошествовал мимо, но поскольку начался дождь, он вошел и постучал в знакомое окошечко.

Все оставалось по-старому в доме № 3 по Блэнк-Роу: все так же уныло белел каменный пол, все та же неряшливая женщина ответила на его стук. Да, Каролан всегда здесь: он никогда не выходит, точно боится нос высунуть на улицу! Маленький француз тотчас же явился на зов привратницы, словно кролик по мановению фокусника. Лицо у него было совсем желтое, цвета золотой монеты.

— Ах, это вы, мосье! — воскликнул он.

— Да, — сказал Шелтон. — Ну, как поживаете?

— Я всего пять дней как вышел из больницы, — пробормотал маленький француз, похлопывая себя по груди. — Все здешний поганный воздух наделал. Я ведь живу взаперти — все равно что в коробке; ну, а это мне вредно, потому что я южанин. Чем могу быть вам полезен, мосье? Я с удовольствием сделаю для вас все, что в моих силах.

— Да нет, мне ничего не нужно, — ответил Шелтон. — Просто я проходил мимо и решил вас навестить.

— Пойдемте на кухню, мосье, там никого нет. Брр! Il fait un froid étonnant!¹

— Какие же у вас теперь клиенты? — спросил Шелтон, входя в кухню.

— Да все те же, — ответил маленький француз. — Правда, сейчас их у меня не так много: ведь на дворе лето!

— Неужели вы не можете найти себе никакого более прибыльного занятия?

Парикмахер насмешливо прищурился.

— Когда я в первый раз приехал в Лондон, — сказал он, — мне удалось получить место в одном из ваших

¹ Ну и холодище! (франц.)

приютов. Я решил, что судьба моя устроена. И вот представьте себе, мосье, что в этом высокопочтенном заведении мне приходилось за одно пенни брить десять клиентов! Здесь, правда, они платят мне далеко не всегда; зато уж если платят, так платят по-настоящему. В вашем климате, да еще человеку *poitrinaire*¹, нельзя рисковать. Здесь я и окончу свои дни. Скажите, вы видели того молодого человека, который в свое время интересовал вас? Вот вам еще один такой же! Это человек смелый, каким и я был когда-то; *il fait de la philosophie*², подобно мне, и увидите, мосье, это доконает его. В нашем мире нельзя быть смелым. Смелость губит людей.

Шелтон взглянул украдкой на маленького француза, заметил сардоническую улыбку на его желтом, полумертвом лице и, почувствовав всю несуразность слова «смелый» в применении к нему, улыбнулся с таким состраданием, что его улыбка стоила потока слез.

— Давайте посидим,—сказал он, протягивая французу портсигар.

— *Merci, monsieur*³, всегда приятно выкурить хорошую папиросу. Помните старого актера, который произнес перед вами такую прочувствованную речь? Ну, так он умер. Только я и был рядом с ним, когда он умирал. *Un vrai drôle!*⁴ Он тоже был смелый. И вот вы увидите, мосье, что молодой человек, которым вы интересуетесь, умрет в больнице для бедных или в какой-нибудь дыре, а может, и просто на большой дороге; заснет как-нибудь в пути в холодную ночь — и конец; а все потому, что некий внутренний голос протестует в нем против существующих порядков, и он всегда будет убежден, что все нужно изменить к лучшему. *Il n'y a rien de plus tragique!*⁵

— Послушать вас, так выходит, что всякий бунт обречен на провал,—сказал Шелтон, которому вдруг показалось, что разговор принял чересчур личный характер.

— О, это очень сложная тема,—сказал маленький

¹ Чахоточному (франц.).

² Он философствует (франц.).

³ Благодарю, мосье (франц.).

⁴ Настоящий чудак! (франц.)

⁵ Нет ничего трагичнее этого! (франц.)

Француз с поспешностью человека, для которого нет большего удовольствия, чем посидеть под навесом кафе и потолковать о жизни.— Тот, кто бунтует, большей частью вредит самому себе, да и другим не бывает от него никакой пользы. Так уж повелось. Но я обратил бы ваше внимание вот на что...— Он умолк, словно собираясь поведать о некоем важном открытии, и задумчиво выпустил дым через нос.— Если человек бунтует, то скорее всего потому, что его побуждает к этому его натура. Уж это вернее верного. Но как бы то ни было, нужно всячески стараться не сесть между двух стульев: это уж совсем непростительно,— добродушно закончил он.

Шелтон подумал, что еще не видел человека, о котором можно было бы с большим основанием сказать, что он уселся между двух стульев; к тому же он безошибочно почувствовал, что от чисто теоретического протеста маленького парикмахера до действий, логически вытекающих из такого протеста, далеко, как от земли до неба.

— По натуре своей,— продолжал маленький француз,— я оптимист; потому-то я и ударился теперь в пессимизм. У меня всю жизнь были идеалы. И вот, поняв, что они для меня уже недостижимы, я стал жаловаться. Жаловаться очень приятно, мосье!

«Какие же это были у него идеалы?» — с недоумением подумал Шелтон и, не найдя ответа, только кивнул головой и снова протянул собеседнику портсигар, ибо тот, как истый южанин, уже бросил папиросу, докурив ее только до половины.

— Величайшее удовольствие в жизни — поговорить с человеком, который способен понять тебя,—с легким поклоном продолжал француз.— С тех пор как умер тот старый актер, у нас тут никого нет, с кем можно было бы поговорить по душам. Да, это был не человек, а воплощение бунта. Бунтовать — *c'était son métier*;¹ он посвятил этому свою жизнь, подобно тому, как другие посвящают свою жизнь погоне за деньгами; а когда он утратил способность активно возмущаться, он стал пить. В последнее время это был для него единственный способ протестовать против порядков нашего Общества. Преинтересная личность — *je le regrette beaucoup*!² Но,

¹ Было его профессией (франц.).

² Я очень жалею о нем! (франц.)

как видите, он умер в большой нужде; подле него не было ни души, некому было даже сказать ему последнее прощанье,— сам я, понятно, не иду в счет. Он умер пьяный, мосье. *C'était un homme!*¹

Шелтон продолжал доброжелательно глядеть на маленького француза.

— Не всякий сумеет так кончить свою жизнь,— поспешил добавить парикмахер.— У человека бывают минуты слабости.

— Да, конечно,— согласился Шелтон.

Маленький парикмахер украдкой бросил на него скептический взгляд.

— Впрочем,— заметил он,— ведь это важно только для неимущих. Если есть деньги, то все эти проблемы...

Он пожал плечами. Легкая усмешка отчетливее обозначила морщинки у глаз, и он махнул рукой, словно хотел сказать, что об этом не стоит больше говорить.

Шелтону показалось, что француз отгадал его тайные мысли.

— Значит, по-вашему, недовольство свойственно лишь неимущим? — спросил он.

— Плутократ, мосье,— ответил маленький парикмахер,— отлично знает, что, попади он на эту *galère*², и ему будет хуже, чем бездомному псу.

Шелтон встал.

— Дождь прошел,— сказал он.— Надеюсь, что вы скоро поправитесь. Не откажите принять от меня вот это... в память о старом актере.

И Шелтон сунул французу конверт. Тот поклонился.

— Заходите, мосье, когда будете поблизости, я всегда счастлив видеть вас,— с жаром проговорил он.

И Шелтон ушел.

«...хуже, чем бездомному псу...— подумал он.— Что он хотел этим сказать?»

Шелтон сам почувствовал себя чем-то вроде такого бездомного пса. Еще месяц разлуки может убить всю сладость ожидания, может даже убить любовь. Его чувства и нервы были так напряжены из-за этого постоянного ожидания, что он реагировал на все слишком остро; все приобретало в его глазах преувеличенное значе-

¹ Вот это был человек! (франц.)

² Галера (франц.). Здесь в смысле: «Стань он на этот путь».

ние,— так раздражает здоровых людей искусство, в котором слишком много жизненной правды. Самая сущность вещей обнаруживалась теперь для него со всею ясностью, подобно костям, проступающим сквозь кожу похудевшего лица: слишком уж явным было убожество невыносимо тяжелой действительности. Вдруг Шелтон увидел, что стоит перед домом своей матери,— казалось, некая жажда утешения, некий инстинкт привели его в Кенсингтон. Судьбе словно нравилось перебрасывать его от одного полюса к другому.

Миссис Шелтон не выезжала из города и, хотя было первое июня, грелась у камина, протянув ноги к огню; на ее розовом личике, у глаз, были такие же морщинки, как у маленького парикмахера, только рожденные жизнерадостностью, а не духом протеста. Она заулыбалась при виде сына, и морщинки ее словно ожили.

— Мой дорогой мальчик, как чудесно, что ты приехал,— сказала она.— А как поживает наша милочка?

— Благодарю вас, отлично,— ответил Шелтон.

— Она, должно быть, такая душенька!

— Мама,— запинаясь, проговорил Шелтон,— я так больше не могу!

— Не можешь? Что не можешь, дорогой Дик? Вид у тебя очень озабоченный. Пойди сюда, сядь рядом и давай уютненько побеседуем. Не унывай.— И, склонив головку набок, миссис Шелтон с подкупающей улыбкой посмотрела на сына. А он, натолкнувшись на ее неиссякаемый оптимизм, почувствовал себя таким подавленным и несчастным, как никогда еще за все время своего испытания.

— Мама, я не могу больше ждать! — сказал он.

— Да что же случилось, мой мальчик?

— Все очень плохо!

— Плохо? — воскликнула миссис Шелтон.— Ну-ка, расскажи мне подробно!

Но Шелтон только покачал головой.

— Вы, надеюсь, не поссорились?..

Она запнулась: вопрос показался ей таким вульгарным,— его можно было бы задать разве что слуге.

— Нет,— чуть ли не со стоном ответил Шелтон.

— Знаешь, мой дорогой Дик, мне это кажется немножко странным,— проворковала мать.

— Я знаю, что это кажется странным.

— Послушай, ты никогда раньше не был таким,— сказала миссис Шелтон, беря его за руку.

— Да, я никогда не был таким,— с усмешкой подтвердил Шелтон.

Миссис Шелтон плотнее закуталась в индийскую шаль.

— О, мне так понятно, что ты переживаешь,— весело, с сочувствием проговорила она.

Шелтон сидел, сжав голову руками и пристально глядя на огонь — веселый и изменчивый, как лицо его матери.

— Но ведь вы так обожаете друг друга,— продолжала она.— И Антония такая прелестная девушка!

— Вы не понимаете,— угрюмо пробормотал Шелтон.— Дело не в ней... и вообще ничего не случилось... дело во мне...

Миссис Шелтон снова схватила его руку и на сей раз прижала ее к своей мягкой, теплой щеке, давно утратившей упругость молодости.

— О, я знаю! — воскликнула она.— Мне так понятно, что ты переживаешь!

Но по сияющей безмятежности ее глаз Шелтон увидел, что она решительно ничего не понимает. И надо отдать ему справедливость, он был вовсе не так глуп, чтобы пытаться что-то разъяснить ей. Миссис Шелтон вздохнула.

— Как было бы чудесно, если бы, проснувшись утром, ты посмотрел на все иначе. На твоем месте, голубчик, я прежде всего совершила бы большую прогулку, а затем отправилась бы в турецкую баню; потом я взяла и написала бы ей и все бы ей объяснила. Последуй моему совету, и сам увидишь, как все отлично уладится.

Загоревшись этой мыслью, миссис Шелтон встала и, слегка потянувшись всем своим крошечным, еще таким молодым телом, в экстазе молитвенно сложила руки.

— Дик, мой дорогой, ну сделай это! — воскликнула она.— Ты сам увидишь, как все будет чудесно!

Шелтон улыбнулся: у него не хватало духу рассеять ее иллюзии.

— И передай ей мой самый горячий привет,— продолжала она.— Скажи, что я жду не дождусь свадьбы.

Ну, дорогой мой мальчик, обещай же мне, что ты так и поступишь.

Шелтон сказал:

— Я подумаю.

Миссис Шелтон, несмотря на свой ишиас, стояла выпрямившись, упираясь ножкой в каминную решетку.

— Не унывай! — воскликнула она. Глаза ее сияли; она явно наслаждалась собственным сочувствием.

Удивительная женщина! Сын не унаследовал от нее этого простодушного оптимизма, не покидавшего ее ни в радости, ни в беде.

Да, в этот день жизнь перебросила Шелтона от одного полюса к другому — от француза-парикмахера, чей ум воспринимал все только критически и чьи худые пальцы трудились целый день, чтобы спасти его от голодной смерти, — к родной матери, которая готова была примириться с чем угодно, лишь бы это было представлено ей в надлежащем свете, и которая за всю свою жизнь не ударила палец о палец.

Вернувшись домой, Шелтон написал Антонии:

«Я не могу больше сидеть в Лондоне и ждать; уезжаю в Байдфорд, откуда намерен совершить небольшое путешествие пешком. Дойду до Оксфорда и побуду там до тех пор, пока мне не будет разрешено приехать в Холм-Окс. Я пришлю Вам свой адрес. Пожалуйста, пишите, как обычно».

Он собрал все фотографии Антонии — любительские групповые снимки, сделанные миссис Деннант — и спрятал их в карман охотничьей куртки. На одном из снимков Антония стояла возле своего маленького брата, который сидел на садовой ограде, свесив ноги. В ее полужакрытых глазах, в округлости ее шеи и чуть выдающемся вперед подбородке была какая-то холодная настороженность — словно она охраняла сорванца, взобравшегося на высокую стену. Шелтон положил эту фотографию отдельно, чтобы смотреть на нее каждый день, утром и вечером, как люди молятся богу.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

В СЕЛЬСКОЙ АНГЛИИ

ГЛАВА XVI

ЧИНОВНИК ИЗ ИНДИИ

Неделю спустя Шелтон очутился однажды утром у стен Принстаунской тюрьмы.

Он и раньше видел эту зловещую каменную клетку. Но сегодня вид мрачного здания застал его врасплох: оно так не вязалось с волшебными впечатлениями от утренней прогулки по вересковым зарослям, от древних курганов и кукования запоздалой кукушки. Шелтон свернул с панели и, спустившись в ров, пошел вдоль стен тюрьмы, разглядывая их с каким-то болезненным любопытством.

Так вот она, система, с помощью которой людей заставляют подчиняться воле общества. И тут Шелтон внезапно понял, что все идеи и правила, которыми, как им кажется, повседневно руководствуются его соотечественники-христиане, на самом деле обесмысливаются и сводятся на нет в каждой ячейке тех сот, что мы именуем Обществом. Евангельские заповеди, вроде той, что гласит «Кто из вас без греха, пусть первый бросит камень!», признаны неприменимыми в жизни, и признали их таковыми пэры и судьи, епископы и государственные деятели, торговцы и мужья — иными словами, все истинные христиане Англии.

«М-да,— подумал Шелтон, словно открыв новую истину,— чем более христианской считает себя нация, тем менее она следует принципам христианства».

Общество — это благотворительное учреждение, которое не дает ничего даром и очень мало дает за грош — да и то только из страха!

Шелтон взобрался на ограду и, усевшись на ней, принялся наблюдать за тюремным надзирателем, который медленно чистил красно-желтое яблоко. Выражение его лица с массивной нижней челюстью, манера стоять, широко расставив крепкие ноги, слегка нагнув голову,— все свидетельствовало о том, что это подлинный столп Общества. Не обращая ни малейшего внимания на пристальный взгляд Шелтона, он следил за тоненькой полоской кожуры, которая все ниже и ниже свисала с яблока, пока упругой спиралью не упала на землю, распластавшись на ней, словно игрушечная змейка. Потом он надкусил яблоко,— рот у него был огромный, зубы неровные. Он явно считал себя неизмеримо выше всех окружающих. Нахмурившись, Шелтон медленно слез с ограды и пошел прочь.

Спускаясь с холма, он снова остановился, заметив группу заключенных, работавших в поле. Они медленно двигались, словно в каком-то грустном танце, а за изгородью, со всех четырех сторон окружавшей поле, расхаживали вооруженные ружьями часовые. Точно такое же зрелище можно было бы увидеть во времена Римской империи, только у часовых вместо ружей были бы копья.

Пока Шелтон стоял и смотрел на них, с ним поравнялся какой-то человек, быстро шагавший по дороге, и спросил, далеко ли до Эксетера. Его круглое лицо, продолговатые карие глаза, с интересом смотревшие на мир из-под нависших бровей, стриженные волосы и короткая шея показались Шелтону знакомыми.

— Ваша фамилия, случайно, не Крокер?

— Да ведь это Грач! — воскликнул путник, протягивая руку.— Сколько времени не встречались — с окончания университета!

Они крепко пожали друг другу руки. В университете Крокер занимал комнату как раз над Шелтоном и часто не давал ему спать по ночам, играя на гобое.

— Откуда вы свалились?

— Из Индии. Получил длительный отпуск. Послушайте, вам в эту сторону? Пойдемте вместе.

И они пошли очень быстро, с каждой минутой все ускоряя шаг.

— Куда вы так торопитесь? — спросил Шелтон.

— В Лондон.

— О, всего только в Лондон?!

— Я решил добраться туда за неделю.

— Вы что ж, тренируетесь?

— Нет.

— Ну, так вы убьете себя такой ходьбой.

Крокер только усмехнулся в ответ. Выражение его глаз встревожило Шелтона: в них было вдохновенное упорство. «Все такой же мечтатель! — подумал он. — Вот бедняга!»

— Ну, как же вам жилось в Индии? — спросил он.

— Да видите ли, болел чумой, — рассеянно ответил Крокер.

— Боже милостивый! — воскликнул Шелтон.

Крокер улыбнулся.

— Подхватил ее, когда работал на голоде, — сказал он.

— Так... Голод и чума! — сказал Шелтон. — Что же, вы там, видно, в самом деле считаете, что приносите какую-то пользу?

Крокер с удивлением посмотрел на него и потом скромно ответил:

— Нам очень прилично платят.

— Да, это, конечно, самое главное, — в тон ему заметил Шелтон.

Помолчав немного, Крокер спросил, глядя прямо перед собой:

— А вы что же думаете, что мы не приносим там никакой пользы?

— Я не авторитет в этом вопросе, но, говоря откровенно, полагаю, что не приносите.

Крокер, видимо, был озадачен.

— Почему же это? — резко спросил он.

Шелтону не очень хотелось излагать свои взгляды, и он промолчал.

— Почему вы считаете, что мы не приносим пользы в Индии? — повторил его приятель.

— А разве можно навязать прогресс какому-нибудь народу со стороны? — грубовато спросил Шелтон.

Чиновник из Индии дружелюбно, но не без удивления посмотрел на Шелтона и заметил:

— Вы ничуть не изменились, старина!

— Ну, нет, — сказал Шелтон, — так просто вы от меня не отделаетесь. Укажите мне хотя бы один народ или даже одного человека, который бы достиг чего-то, не приложив к тому собственных усилий.

— Выходит, все мы злодеи, — проворчал Крокер.

— Вот именно, — сказал Шелтон. — Мы подчиняем себе народы, чья культура в корне отлична от нашей, и задерживаем их естественное развитие, навязывая им культуру, возникшую сообразно с нашими условиями жизни. Представьте себе, что, увидев в оранжерее тропический папоротник, вы говорите: «Мне вредна такая жара, следовательно, она должна быть вредна и папоротнику. Возьму-ка я вырочу его и посажу снаружи на свежем воздухе».

— Так, значит, по-вашему, нужно отказаться от Индии? — в упор спросил чиновник.

— Я вовсе не сказал этого, но говорить, что мы приносим Индии пользу, это... гм...

Крокер сдвинул брови, стараясь уяснить себе точку зрения Шелтона.

— Ну, послушайте: стали бы мы управлять Индией, если бы это не было нам выгодно? Нет. Так вот: говорить, что мы управляем страной ради наживы, — это цинично, хотя в циничных высказываниях обычно содержится доля правды; но называть управление страной, которое приносит нам большие барыши, великой и благородной миссией — это лицемерие. Если я ударю вас под ложечку ради собственной выгоды, — ну, что ж, таков закон природы, но сказать, что это пошло вам на пользу, — на это я не способен.

— Нет, нет, — с испугом возразил Крокер. — Вы не убедите меня, что мы не приносим пользы в Индии.

— Одну минуту. Весь вопрос в том, как на это взглянуть. Вы смотрите на это как непосредственный участник событий. А вы отойдите подальше и полюбуйтесь. Вы наносите Индии удар под ложечку и заявляете, что это добродетельный поступок. Ну, а теперь погля-

дим, что же будет дальше: либо Индия не отдышится от вашего удара и умрет преждевременной смертью, либо она отдышится, и тогда ваш удар, то есть, я хочу сказать, ваш труд — во всяком случае, его моральное значение — окажется сведенным на нет, а ведь вы могли бы приложить свой труд там, где он не пропал бы даром.

— Разве вы не сторонник империи? — спросил не на шутку встревоженный Крокер.

— Право, не знаю, но я не разглагольствую о благах, которыми мы одеваем другие народы.

— В таком случае вы, значит, не верите ни в абстрактную правоту, ни в справедливость?

— Скажите на милость, какое отношение к Индии имеют наши понятия о правоте или справедливости?

— Если бы я думал так, как вы, — со вздохом произнес совсем приунывший Крокер, — я просто потерял бы почву под ногами.

— Несомненно. Мы всегда считаем, что лучше наших критериев на всем свете не сыщешь. Это главное, в чем мы убеждены. Почитайте речи наших политических деятелей. Ну, не удивительно ли, как они уверены в собственной правоте! Очень приятно сознавать, что своими поступками приносишь пользу и себе и другим, но ведь если подумать, так то, что здорово одному, — другому смерть! Посмотрите на природу. Но мы в Англии никогда не смотрим на природу, — мы не чувствуем в этом потребности. Наша традиционная точка зрения помогла нам набить карманы — это самое главное.

— Знаете, старина, это ужасно зло, все, что вы говорите, — заметил Крокер с удивлением и грустью.

— Да кто угодно обозлится, глядя, как мы — фарисеи — жиреем и надуваемся, точно воздушный шар, от сознания собственной добродетели. Порою так и хочется проткнуть его булавкой — хотя бы для того, чтобы услышать шипение выходящего газа.

Шелтон сам удивлялся своей горячности; почему-то он подумал об Антонии: вот кого нельзя причислить к фарисеям!

Крокер шагал с ним рядом, глубоко огорченный, и Шелтону стало жаль его.

— Набивать себе карманы — это еще далеко не самое главное, — снова заговорил Крокер. — Человек дол-

жен действовать, не задумываясь над тем, почему он поступает так, а не иначе.

— Скажите, а вы когда-нибудь смотрите на обратную сторону медали? — спросил Шелтон. — Скорее всего — нет. Вероятно, вы начинаете действовать, не успев обдумать все до конца.

Крокер усмехнулся.

«И он тоже фарисей, — подумал Шелтон. — Только у него нет фарисейской гордости. Вот странно!»

Некоторое время они шли молча. Крокер, который, казалось, был погружен в глубокое раздумье, вдруг произнес, посмеиваясь:

— А вы непоследовательны! Вы должны бы считать, что нам нужно отказаться от Индии.

Шелтон смущенно улыбнулся.

— Но почему бы нам не набивать себе карманов? Меня только возмущает, что мы произносим по этому поводу столько возвышенных слов.

Чиновник из Индии робко взял Шелтона под руку.

— Если бы я думал, как вы, — сказал он, — я бы и дня не прожил в Индии.

Шелтон ничего не ответил.

Ветер начал стихать, и над вересковыми просторами вновь разлилось очарование утра. Путники приближались к границе возделанных полей. Шел шестой час, когда, спустившись со скалистых холмов, они очутились в залитой солнцем долине Монклэнд.

— Тут написано... — сказал Крокер, заглядывая в путеводитель, — тут написано, что это на редкость уединенное место.

Кругом и в самом деле никого не было, и приятели уселись под старой липой, не доходя деревни. Дымок из трубок, истома, разлитая в воздухе, теплые испарения, поднимающиеся от земли, неумолчное жужжание насекомых нагоняли на Шелтона дремоту.

— А помните, — спросил его спутник, — помните ваши словесные бои с Бусгейтом и Хэлидом по воскресеньям вечером у меня в комнате? Кстати, как поживает старина Хэлидом?

— Женился, — сказал Шелтон.

Крокер вздохнул.

— А вы? — спросил он.

— Нет еще,— угрюмо ответил Шелтон.— Я... помолвлен.

Крокер взял его за руку повыше локтя и, крепко сжав ее, что-то буркнул. Для Шелтона это было самым приятным из всех полученных им поздравлений: в нем чувствовалась зависть.

— Я хотел бы жениться, пока я еще здесь, на родине,— сказал чиновник из Индии после долгого молчания. Он полулежал на траве, слегка склонив голову набок и широко раскинув ноги; руки его были глубоко засунуты в карманы, по лицу блуждала рассеянная улыбка.

Солнце скрылось за скалистой вершиной одного из холмов, но от земли продолжало подниматься тепло, и воздух был напоен пряным ароматом шиповника, который стоял весь в цвету у ближайшего коттеджа. Время от времени на сходящихся здесь дорожках появлялись местные жители: они не торопясь проходили мимо, поглядывая на незнакомых людей и обсуждая свежие новости, и исчезали в домиках, разбросанных по склону холма. Где-то вдали часы пробили семь, и майский жук, гудя, закружил под тенистой липой. Все дышало сладкой дремой и покоем. Мягкий воздух, медлительные голоса, тени и шорохи, запах дыма от только что зажженных очагов — все говорило о безмятежной жизни и домашнем тепле. Мир, что лежал за пределами этой долины, отодвинулся куда-то далеко-далеко. Этот укромный уголок был так типичен для островной страны,— тут люди тихо появлялись на свет, мужали и без шума сходили в могилу; тут, как подсолнухи на солнце, расцветало довольство.

Шелтон взглянул на Крокера: шляпа у него съехала на затылок, он клевал носом. Близ такой же деревни находилась, должно быть, усадьба, где родился этот Крокер; со временем он поселится в одном из тысячи подобных домов, и ни чума, ни борьба с голодом не оставят на нем и следа; ничто не затронет ни его миропонимания, ни предрассудков, ни принципов; он ни в чем не изменится от общения с народом чужой страны, от знакомства с другими условиями жизни, неизвестными дотоле чувствами и странными для него суждениями!

Майский жук с шумом ударился о плечо Шелтона и, гудя, полетел дальше. Крокер очнулся и, повернувшись к Шелтону, приветливо спросил, подтолкнув его в бок: — О чем это вы задумались, Грач?

ГЛАВА XVII

ПРИХОДСКИЙ СВЯЩЕННИК

Шелтон продолжал путешествие вместе со своим товарищем по университету; в среду вечером, через четыре дня после их встречи, они подошли к деревне Дауденхем. Весь день они шагали среди пастбищ, по дороге, окаймленной густыми зелеными изгородами и высокими тенистыми вязами. Раза два, нарушая однообразие пути, они сворачивали на тропинку, идущую вдоль канала, который лениво дремал в зеленых берегах, задыхаясь от водяных лилий и глянцевиных листьев кувшинок. Природа, настроенная в этот день иронически, набросила плотный серый покров на мягкие краски пышного ландшафта. С самого утра и до наступления темноты далекое небо оставалось все таким же свинцовым; холодный ветер ерошил верхушки живых изгородей, и вязы в ознобе покачивали ветвями. Коровы — пестрые, пятнистые, рыжие, белые — щипали траву с видом глубокого недовольства своей судьбой. На лугу, сбегавшем к каналу, Шелтон заметил пять сорок, и часов в пять начался дождь — упорный, холодно глумящийся над путниками дождь; впрочем, Крокер, взглянув на небо, заявил, что он мигом пройдет. Но дождь не прошел мигом, и приятели вскоре вымокли до нитки. Шелтон устал, и его раздражало, что Крокер, который тоже устал, с каждой минутой становился все веселее и оживленнее. Мысли Шелтона то и дело возвращались к Феррану. «Эта наша прогулка, — думал он, — должно быть, похожа на его скитания — идешь все вперед и вперед, несмотря на смертельную усталость, пока какой-нибудь добрый человек не накормит ужином и не приютит на ночь». И он угрюмо продолжал шлепать по грязи, поглядывая время от времени на раздражающе бодрого Крокера, который стер ногу и теперь сильно хромал. Внезапно Шелто-

ну пришло в голову, что жизнь для трех четвертей населения земного шара состоит в каждодневном труде до полного изнеможения, и у людей этих нет выбора, ибо стоит им по какой-то не зависящей от них причине выбиться из колеи и перестать работать до полного изнеможения, как они вынуждены будут просить милостыню или голодать.

— А мы, кто даже не понимает, что значит «изнеможение», называем их «лентяями и бездельниками», — вдруг произнес вслух Шелтон.

Было девять часов, и уже совсем стемнело, когда они добрались до Дауденхема. На улице, по которой они шли, не было заметно никаких признаков гостиницы; обсуждая, где бы им переночевать, они миновали церковь с четырехугольной колокольней и рядом с ней увидели дом — по всей вероятности, жилище священника. Крокер остановился.

— А что, если мы спросим его, где бы нам переночевать? — предложил он, облокачиваясь на калитку, и, не дожидаясь ответа Шелтона, позвонил.

Дверь отворил сам священник — гладко выбритый мужчина без кровинки в лице, чьи впалые щеки и худые руки свидетельствовали о постоянной борьбе с лишениями. Его серые глаза аскета глядели доброжелательно, тонкие губы были чуть тронуты подобием улыбки.

— Чем могу быть полезен? — спросил он. — Гостиница? Да, тут есть одна — «Голубые шахматы», только она, вероятно, уже закрыта. Они там рано ложатся, как положено добрым христианам.

В глазах его появилось задумчивое выражение: казалось, он, как заботливый пастырь, размышлял о том, куда бы поместить этих промокших овец.

— Вы, случайно, не питомцы Оксфорда? — спросил он так, словно ответ на этот вопрос мог разрешить проблему их ночлега. — Колледж святой Марии? Да неужели? А я из колледжа святого Павла. Моя фамилия Лэдимен, Биллингтон Лэдимен; возможно, вы помните моего младшего брата. Я могу предложить вам комнату здесь, у себя, если вы сумеете обойтись без простынь. Я на два дня отпустил экономку, и она, по глупости, захватила с собой ключи.

Шелтон с радостью согласился, решив, что тон свя-

щенника вполне естествен для человека его профессии и вовсе не свидетельствует о высокомерии.

— Вы, я думаю, проголодались за день ходьбы. Боюсь, у меня в доме... м-м... ничего не найдется, кроме хлеба. Я мог бы вскипятить вам воды: горячая вода с лимонным соком все же лучше, чем ничего.

Он провел их в кухню, разжег там огонь и поставил чайник; потом он вышел, чтобы они могли снять промокшую одежду, и вскоре вернулся, неся старые, порыжевшие пиджаки, ковровые ночные туфли и одеяла. Путники переоделись и, налив себе по стакану кипятку, последовали за хозяином в его кабинет, где, судя по разложенным на столе книгам, он перед их приходом готовил свою проповедь при слабом свете лампы.

— Мы причинили вам бездну хлопот,— сказал Шелтон.— Вы, право, очень любезны.

— Ну, что вы,— ответил священник.— Мне только жаль, что в доме ничего нет.

Такая бедность особенно поражала при воспоминании о плодородии тучных полей, мимо которых путники проходили днем; голос священника, вылетающий из бескровных губ, звучал трагически, хотя он и не сетовал на горькую судьбу. Голос этот был какой-то особенный; казалось, что его обладатель знаком и с богатством и с красотой, но глубоко презирает пошлую потребность в деньгах, тогда как глаза — бесцветные глаза аскета — говорили яснее слов: «О, как бы я хотел сам испытать, что значит возможность хотя бы раз в год истратить лишний фунт или два!»

Все тут было куплено по дешевке; никакой роскоши,— не доставало даже самого необходимого. Комната была унылая и пустая; потолок потрескался, обои выцвели, и лишь книги, аккуратно расставленные на полках, выделялись среди этого запустения глянцевиной кожей своих корешков с тисненым на них гербом.

— Мой предшественник привел дом в плачевное состояние,— сказал священник.— Мне говорили, правда, что бедняге приходилось очень туго. К несчастью, в наши дни, когда приходы приносят так мало, трудно ожидать чего-то другого. А он был человек женатый, имел большую семью...

Крокер, уже успевший выпить дымящийся напиток,

сидел в своем кресле, улыбаясь, и клевал носом; вид у него был довольно забавный: он наглухо застегнул черный пиджак и, завернув ноги в одеяло, протянул их к слабому пламени только что зажженного в камине огня. Шелтон же совсем перестал чувствовать усталость; необычная обстановка давала пищу его мозгу; он украдкой разглядывал убогое жилище, и все — комната, священник, мебель, даже сам огонь — вызывало в нем такое чувство, словно он видел перед собою ноги, торчащие из коротких, не по росту брюк. Но Шелтон догадывался, что под окружающей его скудостью скрывается что-то другое — что-то возвышенное и сугубо отвлеченное, что исключало всякую возможность участливых расспросов. И, повинувшись овладевшему им нервному возбуждению, он вдруг воскликнул:

— Зачем только священники обзаводятся такими большими семьями!

Легкая краска проступила на щеках хозяина, — ее появление было неожиданным и странным; в это время Крокер хмыкнул, как хмыкает человек, который задремал, но не хочет этого показывать.

— Да, это, конечно, приводит к печальным последствиям, — пробормотал священник, — в большинстве случаев.

Шелтон хотел было переменить тему разговора, но в эту минуту злополучный Крокер вдруг всхрапнул. Будучи человеком действия, он уже крепко спал.

— Большая семья, — поспешно произнес Шелтон, увидев, как взметнулись вверх брови священника, когда он услышал храп, — это, можно сказать, почти преступление.

— Да как же это может быть преступлением?

Шелтон почувствовал, что ему нужно чем-то подкрепить свою мысль.

— Право, не знаю, — сказал он, — только уж очень много слышишь о таких семьях — я имею в виду семьи священников. У меня самого два родных дяди...

На лице священника появилось новое выражение: он плотнее сжал губы, чуть выставив вперед подбородок. «Ну, прямо настоящий мул!» — подумал Шелтон. Глаза священника тоже изменились: они стали более серыми, колючими и чем-то похожими на глаза попугая. Шелтону теперь совсем не нравилось его лицо.

— Я думаю, что в этом вопросе мы с вами, пожалуй, не поймем друг друга.

Шелтону стало стыдно.

— Впрочем, мне, в свою очередь, хотелось бы задать вам один вопрос,— сказал священник, как бы снисходя до Шелтона и показывая, что он готов продолжать разговор на затронутые им низменные темы.— Чем же вы оправдываете брак, если не тем, что он диктуется законами природы?

— Я говорю просто то, что думаю.

— Дорогой мой сэр, вы забываете, что материнство для женщины — величайшее счастье.

— По-моему, подобное удовольствие должно порядком надоедать, если оно слишком часто повторяется. Материнство есть материнство, сколько бы у матери ни было детей — один или дюжина.

— Боюсь,— нетерпеливо возразил священник, не отступая, однако, от низменной темы, затронутой его гостем,— что, следуя вашей теории, трудновато было бы заселить мир.

— А вы когда-нибудь жили в Лондоне? — вместо ответа спросил Шелтон.— Когда я бываю там, мне всегда кажется, что мы вообще не имеем права иметь детей.

— По-моему, вы упускаете из виду наш долг перед страной,— удивительно владея собой, заметил священник и с такой силой сжал ручку кресла, что суставы пальцев у него хрустнули.— Прирост населения — вопрос первостепенной важности!

— На этот счет возможны две точки зрения. Все зависит от того, какой вы хотите видеть вашу страну.

— Не знал я, что на этот счет могут быть разные взгляды,— заметил священник и улыбнулся улыбкой фанатика.

Чем больше священник пытался навязать Шелтону свое мнение, тем больше в Шелтоне нарастало вполне естественное чувство противоречия, и он спорил, уже забыв о существовании вопроса, над которым до сих пор едва ли задумывался.

— Быть может, я и ошибаюсь,— сказал он, не отрывая глаз от одеяла, в которое были завернуты его ноги,— но, по-моему, вопрос о том, хорошо ли стране иметь

такое население, что она не в состоянии прокормить себя, можно считать по меньшей мере спорным.

— Вы случайно не принадлежите к числу сторонников Малой Англии? — спросил священник, чье лицо вновь обрело прежнюю бледность.

Фраза эта оказала на Шелтона своеобразное действие; повинуясь инстинктивному нежеланию разбираться в своих политических симпатиях, он поспешно ответил:

— Конечно, нет!

А священник, чтобы закрепить за собой победу, безоговорочным тоном заявил, переводя разговор в возвышенный план, более близкий его сердцу:

— Вы, несомненно, согласитесь, что ваша теория безнравственна в самой своей основе. Она, если хотите, сумасбродна, я бы сказал даже, греховна.

— Почему же прямо не сказать «истерична, нездорова»? — с жаром воскликнул Шелтон: его бесила собственная бесчестность. — Кажется, так называют все, что противоречит общепринятому мнению.

— Что ж, — заметил священник, словно пытаюсь взглядом подчинить Шелтона своей воле, — должен сказать, что ваши идеи в самом деле кажутся мне и сумасбродными и нездоровыми. Люди для того и вступают в брак, чтобы иметь детей.

Шелтон поклонился, но это не вызвало улыбки у его собеседника.

— Мы живем в беспокойное время, — продолжал священник, — и меня огорчает, что человек с вашим положением способствует распространению таких взглядов.

— Эти правила высокой морали изобрели те, кому от них ни жарко, ни холодно, а потом навязали их тем, кто от них плачет горькими слезами, — сказал Шелтон.

— Никто не изобретал этих правил, — сурово возразил священник. — Они заповеданы нам свыше.

— Ах, да! Прошу прощения, — сказал Шелтон.

Он чуть не забыл, у кого он в гостях. «Этот священник непременно хочет навязать мне свои взгляды», — подумал он. Ему показалось, что священник стал еще больше похож на мула, в его голосе стало еще больше высокомерия, глаза загорелись еще более властным огнем. Одержав победу в этом споре казалось теперь чем-то очень

важным, тогда как на самом деле это не имело никакого значения. Но одно действительно было важно: ясно, что никогда и ни в чем эти два человека не смогут достигнуть согласия.

В эту минуту Крокер вдруг перестал храпеть, голова его упала на грудь, и вместо храпа слышалось своеобразное посвистывание.

Шелтон и священник одновременно взглянули на спящего, и вид его отрезвил их.

— Ваш приятель, видимо, очень устал, — сказал священник.

Шелтон сразу забыл про свою досаду: их хозяин вдруг показался ему таким трогательным — в мешковатой одежде, худой, со впалыми щеками и немного красным носом, который говорил о том, что его обладатель иногда прикладывается к спиртному. А ведь в конечном счете он добрейший человек!

Добрейший человек поднялся и, заложив руки за спину, подошел к гаснущему камину. Века неоспоримой власти церкви стояли за его спиной. То, что у каминной доски отбиты края и очаг заржавел, что каминные щипцы погнуты и поломаны, а манжеты у священника обтрепались, — все это чистейшая случайность!

— Я не хочу навязывать вам свое мнение, — сказал он, — но вы, мне кажется, не правы прежде всего потому, что ваши идеи порождают у женщин легкомысленное отношение к семейной жизни, и такая точка зрения преобладает сейчас в нашем обществе.

Шелтону тотчас вспомнилась Антония — ее ясные глаза, едва заметные веснушки на нежной, розовой коже, белокурые волосы, собранные в узел на затылке; слово «легкомыслие» было просто неприменимо к ней. И те женщины, которых он видел на улицах Лондона, — женщины, еле бредущие с двумя или тремя детьми, женщины, согнувшиеся под тяжестью детей, которых им не с кем оставить, женщины, которые продолжают работать, несмотря на беременность, истощенные женщины, необеспеченные женщины его собственного класса с дюжиной детей — все эти жертвы святости брака, — разве к ним применим эпитет «легкомысленные»!

— Не для того нам дарована жизнь, чтобы...

— Упражняться в остроумии? — подсказал Шелтон.



«ОСТРОВ ФАРИСЕЕВ».



«ОСТРОВ ФАРИСЕЕВ».

— Удовлетворять свои беспутные желания,— строго поправил его священник.

— Все это, сэр, быть может, было хорошо для предшествующего поколения, но сейчас население нашей страны резко увеличилось. Не понимаю, почему мы не можем сами решать эти вопросы.

— Подобный взгляд на нравственность мне просто непонятен,— заявил священник, глядя с бледной улыбкой на Крокера.

Тот продолжал посвистывать во сне,— только свист у него стал громче и разнообразнее.

— Больше всего меня возмущает то, что мы, мужчины, решаем, какая жизнь должна быть у женщин, и называем их безнравственными, истеричками лишь потому, что они не разделяют наших взглядов.

— Я думаю, мистер Шелтон, что мы вполне можем предоставить решение этих вопросов богу,— сказал священник.

Шелтон промолчал.

— Следуя воле божьей, именно мужчины, а не женщины, всегда устанавливали мерилу нравственности. Ведь мы разумный пол!

— Вы хотите сказать, что мы бóльшие ханжи? Да, я согласен,— не сдавался Шелтон.

— Ну, это уж слишком! — начиная сердиться, воскликнул священник.

— Прошу прощения, сэр, но разве можно ожидать, чтобы современные женщины оставались верны взглядам наших бабушек? Ведь мы, мужчины, своей предприимчивостью создали совсем новые условия существования, а женщин мы ради собственного удобства пытаемся удержать в прежнем положении. Как правило, именно те мужчины, которые больше всего заботятся о собственном удобстве,— в пылу спора Шелтон даже не заметил, какой насмешкой прозвучало словс «удобство» в этой комнате,— готовы обвинять женщин в том, что они отступают от старой морали.

Священник еле сдерживал желание желчно ответить Шелтону.

— Старая мораль! Новая мораль! — сказал он.— Какая нелепость!

— Извините, но, я полагаю, мы говорим об общепри-

нятой морали. Что же касается истинной нравственности, то из миллиона людей вряд ли хотя бы один достоин судить о ней.

Священник слегка прищурился.

— Я полагаю,— сказал он сдавленным голосом, словно рассчитывая, что это придаст его словам больший вес,— каждый образованный человек, который искренне старается служить господа, имеет право смиренно, повторяю, смиренно, притязать на звание человека высоконравственного.

Шелтон уже собрался было сказать что-то резкое, но вовремя сдержался. «Ну что это я,— подумал он.— Точно какая-нибудь баба, всеми силами добиваюсь, чтобы последнее слово осталось за мной».

В эту минуту откуда-то послышалось жалобное мяуканье, и священник направился к двери.

— Одну минутку, боюсь, что это какая-нибудь из моих кошек мокнет под дождем.

Вскоре он вернулся с мокрой кошкой на руках.

— Вот ведь все время выбегают на улицу,— сказал он Шелтону, и на худом лице его, покрасневшем оттого, что он нагибался, появилась улыбка.

Он рассеянно гладил мокрую кошку, и капля влаги медленно стекала у него по носу.

— Бедная киска, бедная киска! — повторял он.

Надтреснутый голос, произнесший эти слова с почти бесчеловечным высокомерием, и мягкая улыбка, в которой воплотилась вся человеческая доброта, преследовали Шелтона, пока он не заснул.

ГЛАВА XVIII

В ОКСФОРДЕ

Последние лучи заходящего солнца играли на крышах домов, когда путники вступили на Хай-стрит — величественную улицу, священную для каждого, кто учится в Оксфорде. Шумной толпе в студенческих мантиях и четырехугольных шапочках был столь же чужд дух подлинной науки, казалось, витавшей над шпилями зданий, как догматы церкви чужды духу истинного христианства.

— Зайдем в Гриннинг? — спросил Шелтон, когда они проходили мимо клуба.

В эту минуту из дверей вышли двое элегантных молодых людей в белых костюмах, и приятели невольно окинули себя критическим взглядом.

— Идите, если вам хочется, — с усмешкой сказал Крокер.

Шелтон покачал головой.

Никогда еще он не испытывал такой любви к этому старому городу. Оксфорд давно ушел из его жизни, но все здесь было дорого и мило сердцу Шелтона; даже атмосфера обособленности не возмущала его. Исполненный величия прошлых веков, оплетенный золотой паутиной славных традиций, пробуждающий целый ряд ярких воспоминаний, город дурманил Шелтона, как духи любимой женщины. Проходя мимо ворот одного из колледжей, приятели заглянули внутрь, посмотрели на холодный, серый, вымощенный камнем двор и на ящик с ярко-красными цветами в одном из окон; кругом царила тишина и таинственное спокойствие замкнутой жизни, — казалось, перед молодыми людьми приоткрылась дверь в освященное годами прошлое. Бледный юноша в студенческой шапочке внимательно разглядывал доску объявлений, задрав кверху прыщеватое лицо с неправильным носом, придерживая рукой потертую мантию. Привратник колледжа — рослый румяный мужчина с маленьким ртом — почтительно стоял у дверей своего домика. Живое олицетворение раз навсегда установленного порядка, он, казалось, существовал для того, чтобы придавать больше благопристойности бесчисленному множеству студенческих грешков. Взгляд его голубых глаз остановился на путниках. Эти глаза словно говорили: «Я не знаю вас, сэры, но, если вы хотите побеседовать, я рад буду выслушать все, что вы имеете сказать!»

К стене был прислонен велосипед с теннисной ракеткой, привязанной к рулю. Рядом бульдог, отчаянно сопя, тряс головой, но большая, окованная железом дверь, к которой он был привязан, даже не дрогнула. Сквозь эту узкую щель веками вливался внутрь человеческий металл — вливался, принимал определенную форму и уже в виде готового литья возвращался обратно,

— Пойдем,— сказал Шелтон.

Они вошли в «Голову епископа» и пообедали в том самом зале, где Шелтон, выиграв на скачках, устроил когда-то обед для двадцати четырех благовоспитанных юношей; на стене все еще висела картина, изображающая скаковую лошадь, в которую один из них запустил тогда бокалом, но промахнулся и попал в официанта; а вот и сам официант — подает рыбный салат Крокеру. По окончании обеда Шелтону снова, как в былое время, захотелось со вздохом подняться из-за стола; снова потянуло побродить по улицам рука об руку с каким-нибудь приятелем; снова пробудилась жажда дерзать, совершать что-то доблестное и незаконное; снова стало казаться, что он избранный среди избранных и учится в лучшем колледже лучшей в этом лучшем из миров страны. Улицы, притихшие и умиротворенные в лучах заходящего солнца, словно приветствовали эту послеобеденную прогулку; квадратный двор колледжа, где когда-то учился Шелтон,— величественная смесь церковной старины и современности — был долгие годы средоточием его мира, точкой, где сходились все его помыслы до поступления в университет; да и после тень этих серых стен ложилась на все, что бы он ни делал. И вот теперь, при виде этого двора, все сомнения Шелтона сразу улеглись и появилась уверенность в собственной значительности и безопасности. Садовая ограда, чьи высокие зубцы он так часто украшал пустыми бутылками, не пробудила в нем никаких чувств. И вид лестницы, где он однажды швырнул бараньей ногой в бестактного, надоедливого наставника, тоже не вызвал у него угрызений совести. На верху этой лестницы расположены комнаты, где он зубрил до одури перед последними экзаменами, следуя системе, по которой студент разогревает свои знания зубрежкой, к моменту экзамена доводит их до кипения, а потом дает им навсегда остыть. Перед Шелтоном возникло лицо его репетитора — человека с пронзительным взглядом, который всю неделю без передышки поставлял знания, а по воскресеньям уезжал в Лондон.

Приятель миновали лестницу, которая вела в комнату их наставника.

— Интересно, вспомнит ли нас малыш Тэрл,— ска-

зал Крокер.— Я с удовольствием повидал бы его. Может, зайдём?

— Малыш Тэрл? — задумчиво переспросил Шелтон.

Поднявшись наверх, они постучали в массивную дверь.

— Войдите,— слышалось изнутри. То был голос самого Сна.

В мягком розовом кресле сидел небольшой человек с розовым лицом и огромными красными ушами,— казалось, он прирос к этому креслу.

— Что вам угодно? — спросил он, часто моргая.

— Вы меня не помните, сэр?

— Боже мой! Да неужели это Крокер? Вас прямо не узнаешь с такой бородой!

Крокер усмехнулся, вспомнив, что не брился с самого начала своих странствий.

— Вы помните Шелтона, сэр?

— Шелтона? Ну, конечно! Здравствуйте, Шелтон! Садитесь, возьмите сигару.

Скрестив толстые ножки, маленький джентльмен оглядел своих посетителей сонным взглядом, точно хотел сказать: «И зачем это, собственно говоря, вы пришли и разбудили меня?»

Шелтон с Крокером взяли себе по стулу; они тоже, по-видимому, думали: «Правда, зачем это мы пришли и разбудили его?» И так как Шелтон не мог ответить на этот вопрос, он поспешил укрыться за дымом своей сигары. Стены, обшитые панелями, были увешаны изображениями памятников греческого искусства; мягкий пушистый ковер нежил усталые ноги Шелтона; богатые корешки множества книг поблескивали в свете керосиновых ламп — словом, вся эта атмосфера высокой культуры вместе с запахом табачного дыма начинала действовать на Шелтона; он лишь смутно понимал, о чем Крокер любезно беседовал с хозяином, который, моргая, глядел на них из-за огромной пенковой трубки,— и лицо его при этом до смешного напоминало луну. Внезапно дверь распахнулась, и в комнату, широко шагая, вошел высокий мужчина с большими карими глазами и румяным насмешливым лицом.

— О, я, кажется, нехстати, Тэрл! — сказал он, окидывая надменным взором комнату.

Маленький толстяк заморгал чаще прежнего и про-
бормотал:

— Ничуть, Берримен; берите стул, присаживайтесь.

Вновь пришедший, которого хозяин назвал Берриме-
ном, сел и тотчас уставился на стену своими красивыми
кариими глазами.

Шелтон, смутно помнивший этого преподавателя, по-
клонился, но тот улыбался своим мыслям и не заметил
приветствия.

— Сейчас придут Триммер с Уошером,— сказал Бер-
римен; не успел он договорить, как дверь отворилась и
в комнату вошли названные джентльмены.

Одинакового роста, но совсем разные, они держались
чуть фамильярно, чуть высокомерно, словно снисходи-
тельно разрешали миру существовать. Яркие пятна ру-
мянца горели на широких скулах того, которого звали
Триммер; щеки у него были землисто-серые, а губы до-
вольно пухлые, и это делало его похожим на паука.
Уошер был худой и бледный, с застывшей на лице веж-
ливой улыбкой.

Маленький толстяк повел рукой, в которой держал
трубку.

— Крокер, Шелтон,— представил он.

Наступило неловкое молчание.

Шелтон изо всех сил старался придумать хоть ка-
кую-нибудь умную тему для разговора, но сознание, что
ни одна мысль не будет здесь воспринята серьезно, па-
рализовало его мозг, и потому он продолжал молчать,
глядя на тлеющий кончик своей сигары. Ему казалось
неудобным навязывать этим джентльменам свое присут-
ствие, не объяснив предварительно, кто он и что собой
представляет; и он было поднялся, собираясь уходить,
когда Уошер внезапно заговорил:

— «Госпожа Бовари»! — насмешливо прочитал он
название книги, лежавшей на этажерке, и, поднеся ее
ближе к своим мутным глазам, повторил, словно это бы-
ло что-то очень забавное: — «Госпожа Бовари»!

— Неужели вы в состоянии читать такие вещи,
Тэрл? — спросил Берримен.

Как и следовало ожидать, название знаменитого ро-
мана разом пробудило его к жизни; он не спеша подо-

шел к полкам, взял какую-то книгу, раскрыл и стал читать, шагая взад-вперед по комнате.

— Хм... Берримен,— слышалось сзади; это сказал Триммер, сидевший спиной к камину, зажав в кулаки полы мантии.— Ведь это же классическое сочинение!— продолжал он примирительным тоном.

— Классическое! — воскликнул Берримен, вперив в Шелтона пронизывающий взгляд.— Да этого писаку следовало бы высечь кнутом за такую порнографию!

В душе Шелтона тотчас вспыхнуло чувство враждебности; он взглянул на маленького хозяина, но тот лишь чаще замигал глазами.

— Берримен просто хочет сказать,— с ехидной усмешкой пояснил Ушер,— что автор не принадлежит к числу его любимцев.

— Да перестаньте вы, ради бога, а то Берримен сейчас усядется на своего конька! — внезапно проворчал маленький толстяк.

Берримен поставил книгу обратно на полку и взял другую. Он был просто неподражаем в своей саркастической рассеянности.

— А как, по-вашему, мог бы написать такую вещь человек, который воспитывался в Итоне? Зачем нам знать все это? Писатель должен быть человеком спортивным и джентльменом.

И он снова с высоты своего величия посмотрел на Шелтона, словно приготовившись выслушать его возражения.

— А вы не...— начал было Шелтон.

Но Берримен уже снова уставился на стену.

— Мне, право, все равно, что чувствует падшая женщина,— сказал он.— Меня это не интересует.

Триммер попытался сгладить неприятное впечатление:

— Весь вопрос в моральных критериях — и только.

Он сидел, расставив ноги, словно ножки циркуля, и зажав в руках полы мантии,— это придавало ему необычайное сходство с весами. Снисходительно улыбаясь, он оглядывал присутствующих, как бы заклиная их не высказываться слишком резко. «Ведь мы же светские люди,— казалось, говорил он.— Мы знаем, что все на свете

ерунда. Таков дух времени. Почему бы нам не уделить этому внимания?»

— Я правильно вас понял, Берримен, что вам не нравятся пикантные книги? — все с той же ехидной улыбкой спросил Уошер.

Услышав этот вопрос, маленький толстяк хихикнул и часто-часто замигал, как бы говоря: «Право, нет ничего приятнее, как читать такую книгу в холодную погоду у горящего камина».

Берримен, сделав вид, будто не заметил дерзкого вопроса Уошера, продолжал шагать по комнате, погруженный в изучение книги.

— Мне нечего сказать тем, кто болтает, будто искусство все оправдывает, — изрек он наконец, останавливаясь перед Шелтоном и глядя на него сверху вниз, словно только что заметил его. — Я называю вещи своими именами.

Шелтон ничего не сказал на это, ибо не знал, обращается ли Берримен к нему или же ко всем присутствующим. А Берримен продолжал:

— Да разве нам интересно знать, что чувствует мещанка, наделенная склонностью к пороку? Ну, скажите, к чему это? Ни один человек, который привык ежедневно принимать ванну, не выбрал бы такого сюжета.

— Итак, вы добрались до вопроса... гм.... о сюжетах, — весело прогудел Триммер, плотнее закутываясь в мантию. — Дорогой мой, искусство, если это настоящее искусство, оправдывает любой сюжет.

— Искусство — это Гомер, Сервантес, Шекспир, Оссиан, — прокричал Берримен, ставя на место вторую книгу и беря третью. — А куча мусора — это всякие неумытые господа.

Раздался смех. Шелтон оглядел всех по очереди. За исключением Крокера, который дремал, глупо улыбаясь во сне, все остальные выглядели так, словно они и представить себе не могли, что какая-нибудь тема способна тронуть их сердца; словно все они держались в море жизни на таком крепком якоре, что волны житейских невзгод могли лишь раздражать их своею дерзостью. Возможно, Триммер заметил некий блеск в глазах Шелтона, и это заставило его снова ринуться на выручку.

— У французов, — сказал он, — совсем иной взгляд

на литературу, так же как и на честь. Все это очень условно.

Но что он хотел этим сказать, Шелтон так и не понял.

— Честь,— сказал Уошер.— l'honneur¹, die Ehre², дуэли, неверные жены...

Он явно собирался еще что-то прибавить, но не успел, так как в эту минуту маленький толстяк вынул изо рта свою пенковую трубку и, держа ее дрожащими пальцами на расстоянии двух дюймов от подбородка, пробормотал:

— Поосторожней, друзья, Берримен ужасно строг в вопросах чести.

Он дважды мигнул и снова сунул трубку в рот.

Не положив третью книгу на полку, Берримен взял четвертую; он стоял, выпятив грудь, словно собирался использовать книги в качестве гимнастических гирь.

— Совершенно верно,— заметил Триммер,— замена дуэлей судами — явление весьма...

Шелтон был уверен, что Триммер и сам не знал, хотел ли он сказать «значительное» или «незначительное». К счастью, Берримен перебил его:

— Мне суды не указ: если какой-нибудь субъект сбежит с моей женой, я разможжу ему голову.

— Тише, тише! — остановил его Триммер, судорожно хватаясь за полы мантии.

Внезапная мысль осенила Шелтона. «Если твоя жена обманет тебя,— подумал он, поймав взгляд Триммера,— ты промолчишь об этом, но будешь вечно грозить ей скандалом».

Уошер провел рукой по бледным щекам, на губах его играла неизменная улыбка; казалось, он непрерывно занят сочинением какой-то эпиграммы.

Теоретик, собиравшийся разможжить голову будущему сопернику, потянулся всем телом и поднял книги на уровень плеч, словно собираясь закидать ими собеседников, чтобы привить им уважение к своим взглядам. Лицо его побледнело, красивые глаза стали еще красивее, по губам скользнула усмешка. Больно было

¹ Честь (франц.).

² Честь (нем.).

смотреть на этого человека, сочетавшего в себе черты «сильного» мужчины с чертами студента, все теории которого должны были неизбежно рассыпаться в прах, стоило только нанести ему удар посильнее.

— Да, что касается прощения неверных жен и тому подобных глупостей,— сказал он,— так я не сторонник сантиментов.

Говорил он насмешливо, пронзительным голосом. Шелтон быстро оглядел присутствующих. Лица всех дышали самодовольством. Шелтон покраснел и вдруг произнес тихо и отчетливо:

— Это и видно!

И тут же понял, что никогда еще не производил подобного впечатления, да и впредь едва ли когда-нибудь произведет,— люта я ненависть, вспыхнувшая во взглядах, яснее ясного говорила об этом. Впрочем, она тотчас сменилась вежливой, насмешливой снисходительностью, свойственной хорошо воспитанным людям. Крокер в волнении поднялся с места; ему, видимо, было не по себе, и он явно обрадовался, когда Шелтон встал вслед за ним и пожал руку маленькому толстяку, который, задыхаясь от табачного дыма, пожелал им спокойной ночи.

— Кто они такие, эти ваши небритые друзья? — услышал Шелтон, закрывая за собой дверь.

ГЛАВА XIX

СЛУЧАЙ НА УЛИЦЕ

— Одиннадцать часов,— сказал Крокер, когда они вышли из колледжа.— Мне еще не хочется спать. Может, пройдемся немного по Хай-стрит?

Шелтон согласился; он был все еще под впечатлением встречи с преподавателями и не замечал усталости и боли в ногах. К тому же это был последний день его странствий, ибо он не изменил своего намерения пробыть в Оксфорде до начала июля.

— Мы называем это место средоточием знаний,— сказал он, когда они проходили мимо огромного белого здания, безмолвно царившего над окружающей тьмой.— Но мне кажется, оно столь же мало заслу-

живает своего названия, как и наше общество, которое называют «средоточием истинного благородства».

Крокер лишь проворчал что-то в ответ; он смотрел на звезды, подсчитывая, может быть, сколько ему потребуется времени, чтобы добраться до неба.

— Нет,— продолжал Шелтон,— у нас тут слишком много здравого смысла, чтобы чрезмерно напрягать свой ум. Мы знаем, когда и где следует остановиться. Мы накапливаем сведения о вымерших племенах и вызубриваем все греческие глаголы, ну, а что касается познания жизни или самих себя, то... Те же, кто в самом деле стремится к знанию,— люди совсем иного рода. Они пробивают себе путь во тьме, не ведая усталости, не жалея сил. Таких мы здесь не воспитываем!

— Как славно пахнут липы! — сказал Крокер.

Он остановился возле какого-то сада и взял Шелтона за пуговицу. Глаза у него были грустные, как у собаки. Казалось, он хочет что-то сказать, но боится обидеть собеседника.

— Нам внушают, что здесь учат быть джентльменами,— продолжал Шелтон.— Но один какой-нибудь случай, который потрясет человека до глубины души, гораздо скорее научит этому, нежели долгие годы пребывания здесь.

— Гм! — буркнул Крокер, крутя пуговицу Шелтона.— Те, кто считался лучшим из лучших здесь, оказывались и впоследствии лучшими из лучших.

— Надеюсь, что нет,— угрюмо сказал Шелтон.— Я, например, был снобом, когда тут учился. Я верил всему, что мне говорили, всему, что делало жизнь приятной. А что представляла собой наша компания? Ничего, кроме...

Крокер улыбнулся в темноте: он считался тогда чересчур эксцентричным, чтобы принадлежать к компании Шелтона.

— Да, вы всегда выделялись среди ваших приятелей, старина,— сказал он.

Шелтон отвернулся, вдыхая аромат цветущих лип. В воображении его проносились картины прошлого. Но лица старых друзей как-то странно перемешались с лицами тех, с кем он встречался совсем недавно: девушка в поезде, Ферран, женщина с круглым, плоским, густо напудренным лицом, маленький парикмахер и мно-

го других, а над всеми, словно чем-то связанное с каждым из них, витало загадочное лицо Антонии. Запах цветущих лип окутывал его своей чарующей сладостью. На улице приглушенно, но отчетливо звучали шаги прохожих, и ветер доносил слова песенки:

Ведь он же славный малый!
Ведь он же славный малый!
Ведь он же славный ма-алый!
Мы все так говорим!

— А все же,— сказал он вдруг,— славные они были ребята!

— Я тогда считал, что некоторые из них чересчур зазнаются,— задумчиво проговорил Крокер.

Шелтон рассмеялся.

— Сейчас мне глубоко противен этот наш снобизм и себялюбие,— сказал он.— Противен этот городок, весь обернутый в вату, весь такой чертовски комфортабельный...

Крокер покачал головой.

— Это чудесный старый город,— сказал он, остановив наконец взгляд на башмаках Шелтона, и прибавил запинаясь: — Знаете, старина, по-моему, вы... вам следовало бы поостеречься!

— Поостеречься? Чего?

Крокер судорожно стиснул его руку.

— Да не беситесь, старина,— сказал он.— Я хочу сказать, что вы, похоже, мм... глубоко заблуждаетесь.

— Глубоко заблуждаюсь? Вы хотите сказать, что я наконец стою на правильном пути?

Крокер ничего не ответил, на лице его отразилось разочарование. Что же все-таки он хотел сказать? Зло-радное чувство, что приятель потерял из-за него душевный покой, смешалось в сердце Шелтона со смутным презрением и смутной жалостью. Крокер первый прервал молчание.

— Я думаю, не пройти ли мне еще немного сегодня ночью,— сказал он,— я чувствую себя вполне бодрым. Вы в самом деле хотите расстаться со мной здесь, Грач?

В голосе его звучала тревога, словно он боялся, что Шелтон может упустить нечто очень хорошее. Но у Шелтона тотчас заболели ноги: они горели, как в огне.

— Да,— сказал он.— Вы ведь знаете, почему я здесь остаюсь.

Крокер кивнул.

— Ваша невеста живет тут поблизости? Ну что ж, здесь я с вами распрощаюсь. Мне хотелось бы пройти сегодня еще миль десять.

— Дорогой мой, но ведь вы устали и хромаете!

Крокер ухмыльнулся.

— Нет,— сказал он,— я хочу еще пошагать сегодня. Увидимся в Лондоне. До свидания!

Крепко пожав Шелтону руку, он повернулся и, прихрамывая, пошел дальше.

— Не будьте же идиотом! — крикнул ему вслед Шелтон.— Вы совсем выбьетесь из сил.

Вместо ответа Крокер лишь оглянулся — в темноте белым пятном мелькнуло его круглое лицо — и помахал палкой.

Шелтон медленно побрел дальше; взойдя на мост, он облокотился на перила и стал смотреть вниз, на масляные пятна от света фонарей, отражавшегося в темной воде, под деревьями. Ему было хорошо и грустно. В голове его теснились самые разнообразные мысли — и мятежные и сладостные. Вспомнилось, как пять лет назад они с Антонией возвращались с реки лужайками Крайстчерча: он до сих пор ощущал все запахи этого летнего дня, аромат своей любви. Скоро она станет его женой. Его женой! Внезапно перед ним возникли лица университетских преподавателей. Ведь и у них, возможно, есть жены — толстые или тощие, строптивые или покладистые! Впрочем, все эти господа, несмотря на внешнее различие, в сущности, очень похожи друг на друга. Но в чем же заключается это сходство? В нетерпимости, порожденной убеждением, что они единственные носители культуры. А честь? Вот странный предмет для обсуждения! Честь! Что это за честь, которая вызывает столько шума и так настоятельно заявляет о своих правах? Шелтон усмехнулся. «Можно подумать, что если человеку сделали больно, то страдает прежде всего его честь!» — мелькнула у него мысль. И он медленно пошел по пустынной гулкой улице в «Голову епископа», где он снял номер.

Утром он получил телеграмму:

«Осталось тридцать миль восемнадцать часов пятка болит, но иду бодро. Крокер».

Шелтон прожил две недели в «Голове епископа», дожидаясь конца своего искуса, но, казалось, конец этот никогда не наступит. Мучительнее всего было сознание, что Антония, которая живет так близко, столь же далека от него, как если бы она жила на другой планете. Каждый день он брал ялик и спускался вниз по реке до Холм-Окса, надеясь встретить Антонию; но дом Деннантов стоял в двух милях от реки, и шансов увидеть Антонию было очень мало. За все это время она ни разу не приходила на берег. Проведя таким образом полдня, Шелтон с чувством странного облегчения возвращался, изо всех сил налегая на весла, так как грести приходилось против течения, садился за обед, с аппетитом съедал его и, закулив сигару, предавался мечтам. Каждое утро он просыпался возбужденный, с жадностью проглатывал письмо Антонии — если получал его — и тотчас принимался за ответ. Его письма были самым удивительным из всего, что он делал в эти две недели: ни в одном из них он не выразил и намека на те мысли, которые волновали его, но зато наполнил их чувствами, которых на самом деле вовсе не испытывал; и потому, пытаясь анализировать написанное, Шелтон приходил в исступление, — его так пугала и возмущала собственная неискренность, что он бросал перо. Шелтон обнаружил, что на свете нет двух людей, которые делились бы друг с другом всеми своими мыслями без остатка; разве что в минуты близости, с которыми так трудно было связать холодные голубые глаза Антонии и ее ослепительную улыбку. Все вокруг слишком много думают о соблюдении приличий.

Снедаемый тоской и любовью, Шелтон лишь смутно ощущал шум и суету традиционного университетского праздника, как всегда собравшего в Оксфорде сотни людей для поглощения лосося с майонезом и дешевого шампанского. Готовясь к посещению Холм-Окса, он сбрил бороду и выписал себе из Лондона кое-какие вещи. Вместе с ними ему прислали письмо от Феррана, которое гласило:

«Отель «Королевский павлин»,
Фолкстон. 20 июня.

Дорогой сэр!

Простите, что до сих пор не писал Вам, но я так издергался, что не имел ни малейшего желания писать; когда будет время, я расскажу Вам презабавные вещи. Я вновь столкнулся с демоном неудачи, который подстерегает каждый мой шаг. Весь день и почти всю ночь я занят на работе, приносящей мне уйму хлопот и почти никакой выгоды, и потому я лишен возможности присматривать за своими вещами. В мою комнату забрались воры и обобрали меня до нитки, оставив один пустой чемодан. Теперь я снова почти раздет и прямо не знаю, к кому обратиться, чтобы раздобыть денег и одеться, как того требуют выполняемые мною обязанности. Видите, до чего мне не везет! Счастье только раз улыбнулось мне со времени приезда в Вашу страну: это было, когда я повстречал такого человека, как Вы. Простите, что не пишу Вам больше. Надеюсь, Вы находитесь в добром здравии.

Крепко жму руку.

Остаюсь преданный Вам *Луи Ферран*».

Эти строки вновь вызвали у Шелтона ощущение, что его добротой злоупотребляют, но он тотчас устыдился своих мыслей и, не откладывая, написал следующий ответ:

«Гостиница «Голова епископа»,
Оксфорд. 25 июня.

Дорогой Ферран!

Крайне опечален Вашими злоключениями. Я очень надеялся, что на сей раз Ваша жизнь сложится удачнее. Высылаю почтой четыре фунта. Пишите, всегда буду рад получить от Вас весточку.

Искренне Ваш *Ричард Шелтон*».

Он отправил письмо, испытывая чувство удовлетворения, какое обычно ощущает человек, благородно исполнивший свой долг.

За три дня до наступления июля с Шелтоном произошел один из тех неприятных случаев, от которых застрахованы люди, живущие спокойно и заботя-

щиеся лишь о сохранности своего имущества и репутации.

Вечер был невыносимо жаркий, и Шелтон вышел с сигарой побродить по городу; на улице к нему подошла какая-то женщина и заговорила с ним. Он понял, что это одна из тех женщин, которых мужчины обрекли служить им забавой,— сочувствовать таким считается сентиментальным. Лицо у нее было красное, голос хриплый; в ней не было ничего привлекательного, кроме фигуры, подчеркнутой безвкусным нарядом. Развязный тон, одутловатые щеки и запах пачули, исходивший от нее, вызвали у Шелтона отвращение. Он вздрогнул, когда она дотронулась до его руки, и, отшатнувшись, ускорил шаг. Но она продолжала идти следом, тяжело дыша, и ему вдруг стало жаль эту женщину, которая, задыхаясь, так гналась за ним.

«Ведь я могу хотя бы сказать ей что-то»,— подумал он и, остановившись, произнес с состраданием, но сурово: — Это невозможно!

И хотя она улыбалась, он понял по ее разочарованному взгляду, что она не будет настаивать.

— Весьма сожалею,— добавил он.

Она пробормотала что-то. Шелтон покачал головой.

— Весьма сожалею,— повторил он.— До свидания! Женщина прикусила губу.

— До свидания,— глухо сказала она.

Дойдя до угла, Шелтон обернулся. Женщина неуклюже бежала по улице; откуда-то сзади появился полисмен и крепко схватил ее за локоть.

Сердце Шелтона тревожно забилось. «Боже! — подумал он.— Что же мне теперь делать?» Его первым побуждением было уйти и забыть об этом,— поступить так, как поступил бы на его месте любой порядочный человек, который не имеет ни малейшего желания впутываться в подобную историю.

И все же Шелтон повернул обратно и, пройдя немного, остановился шагах в десяти от них.

— Спросите у этого джентльмена! Он сам заговорил со мной,— утверждала женщина хриплым голосом, в котором Шелтон, несмотря на резкость тона, почувствовал страх.

— Ладно, ладно,— возразил полисмен,— знаем мы эти басни!

— Чтоб черт побрал вашу полицию! — со слезами в голосе закричала женщина.— Вы что, одни только есть хотите? Надо же и мне чем-то жить!

Шелтон с минуту стоял в нерешительности, но, заметив выражение ее испуганного лица, подошел к ним. Тут полисмен обернулся, и, увидев его бледное лицо со злыми глазами и тяжелой челюстью, словно перерезанной ремешком шлема, Шелтон почувствовал отвращение и в то же время страх, точно он очутился лицом к лицу со всем, что презирал и ненавидел и чего смутно боялся. Казалось, перед ним стояло холодное, уверенное в своей правоте воплощение закона и порядка, что поддерживает сильных и попирает слабых,— воплощение самодовольства и подлости, против которых могут протестовать лишь избранники с чистой душой. И самым странным было то, что этот человек всего лишь выполнял свой долг. Шелтон провел языком по пересохшим губам.

— Надеюсь, вы не собираетесь отдать ее под суд? — спросил он.

— А почему бы и нет? — в тон ему спросил полисмен.

— Послушайте, констэбль, вы ошибаетесь.

Полисмен вынул записную книжку.

— Ах, вот что, ошибаюсь? Прошу назвать ваше имя и адрес: мы должны сообщать о таких вещах.

— Конечно, пожалуйста,— с раздражением сказал Шелтон и назвал свое имя и адрес.— Но я первый заговорил с ней.

— Может быть, вы зайдете завтра утром в суд и повторите это? — дерзко сказал полисмен.

Шелтон посмотрел на него, стараясь вложить в свой взгляд как можно больше силы.

— Смотрите, поосторожнее, констэбль! — сказал он, но слова эти даже ему самому показались жалкими.

— Мы тут не для шуток поставлены,— угрожающе заметил полисмен.

Не найдясь, что ответить, Шелтон только повторил:

— Смотрите, поосторожнее, констэбль!

— Вы джентльмен, а я только полицейский,— сказал блюститель порядка.— У вас деньги, а у меня власть.

И, схватив женщину за локоть, он повел ее за собой. Шелтон повернулся и пошел прочь.

Он зашел в Гриннинг-клуб и бросился на диван. Он не чувствовал ни жалости к женщине, ни особой злости на полисмена, а лишь недовольство собой.

«Что же я должен был сделать? — думал он. — Ведь этот негодяй действовал вполне законно».

Он сидел, пристально разглядывая картины на стенах, и в душе его росло отвращение. «Тот или иной из нас, — думал он, — но ведь мы виноваты в том, что эти женщины ведут такую жизнь. А толкнув их на это, мы не можем обойтись без них, — не только не можем, но и не хотим, и вместе с тем мы преследуем их с помощью закона и гоним их на улицу, а потом... мы хватаем их и бросаем в тюрьму. Ха! Прекрасно... великолепно! Хватаем их и бросаем в тюрьму! А сами сидим и возмущаемся. Но что же мы делаем? Ничего! Наша система — самая высокоморальная из всех существующих в мире систем. Мы пользуемся всеми ее выгодами, не запачкав даже края своей одежды, — страдают только женщины. Да и почему бы им не пострадать? Ведь женщина — низшее существо!»

Шелтон закурил папиросу и велел слуге подать вина.

«Пойду в суд», — решил он, но тут ему внезапно пришло в голову, что это происшествие непременно попадет в местные газеты. Репортеры, конечно, не упустят случая расписать такой пикантный эпизод: «Джентльмен против полисмена!» И Шелтон представил себе, с каким серьезным видом будет читать это отец Антонии, добропорядочный мировой судья. Во всяком случае, кто-нибудь непременно увидит его имя в газете и постарается рассказать об этом, — ну разве можно пропустить такую новость! И тут Шелтон вдруг с ужасом понял: если он хочет помочь этой женщине, ему придется подтвердить на суде, что он первый заговорил с нею.

«Я должен пойти в суд», — все снова и снова повторял он, точно стараясь убедить себя, что он не трус.

Полночи он провел без сна, тщетно пытаясь решить на что-то.

«Но я же не заговаривал с ней, — твердил он себе. — Мне придется солгать; а ведь меня приведут к присяге!»

Он пытался убедить себя, что ложь противоречит его принципам, но в глубине души знал, что может и солгать, если только будет уверен в безнаказанности своего поступка,— более того, это казалось ему актом элементарной человечности.

«Но почему я должен страдать? — думал он.— Я ничего не сделал. Это же и неразумно. и несправедливо».

Шелтон возненавидел несчастную женщину, из-за которой он сейчас так мучился и колебался. Стоило ему принять то или иное решение, как перед ним, словно кошмар, вставало лицо полисмена с мутными глазами деспота, и он тотчас ударялся в другую крайность. Наконец он уснул, твердо решив пойти в суд, а там — будь что будет!

Проснулся он с чувством какого-то смутного беспокойства. «Ну, какую я смогу принести пользу, если даже и пойду в суд? — подумал он, лежа неподвижно и вспоминая события минувшего вечера.— Они, конечно, поверят полисмену, а я только понапрасну очерню себя...» И в душе его снова началась борьба, только уже не столь ожесточенная, как накануне. Дело было вовсе не в том, что подумают другие, и даже не в том, что ему, возможно, придется покривить душой (все это он отлично понимал),— дело было в Антонии. Он не имел права ставить себя в столь ложное положение,— это было бы некрасиво, более того — непорядочно по отношению к ней.

Шелтон отправился завтракать. В зале сидело несколько американцев; одна девушка была немного похожа на Антонию. Ночное происшествие постепенно изглаживалось из памяти Шелтона, теперь оно уже не казалось таким важным.

Два часа спустя, взглянув на часы, Шелтон обнаружил, что наступило время второго завтрака. Он не пошел в суд, не стал клятвopреступником; зато он написал письмо в местную газету, в котором заявил, что общество подвергает себя серьезной опасности, веря в непогрешимость полиции и потому наделяя ее слишком широкими полномочиями; что всякое слово этих чиновников, поставленных на страже закона и порядка, обычно принимается на веру; что полицейские всегда стоят друг за друга как из общности интересов, так и из свое-

образного *esprit de corps*! ¹ «Разве не разумно предположить,— писал Шелтон,— что среди тысяч людей, наделенных столь широкими полномочиями, могут найтись мерзавцы, которые постараются использовать эти полномочия, чтобы продвинуться по службе, играя на беззащитности обездоленных и трусости тех, кому есть что терять? Те, на ком лежит священная обязанность подбирать людей на такие должности, где человек фактически ни за что не несет ответственности, обязаны во имя свободы и гуманности выполнять этот долг в высшей степени вдумчиво и осторожно...»

Хоть все это и было правильно, тем не менее Шелтон в глубине души был недоволен собой,— его преследовала мысль, что куда лучше было бы смело и прямо совершить клятвопреступление, чем написать это письмо в газету.

Он так и не увидел свое письмо напечатанным, поскольку в нем содержались зародыши горькой правды.

После завтрака Шелтон нанял верховую лошадь и поехал за город. Напряженное состояние, в котором он находился все это время, прошло, и он чувствовал себя, как человек, выздоравливающий после тяжелой болезни; при этом он тщательно воздерживался от чтения местных газет. Но что-то в нем возмущалось недолговечностью его благородного порыва.

ГЛАВА XX

ХОЛМ-ОКС

Холм-Окс стоял не очень далеко от дороги; это был старинный помещичий дом, при постройке которого думали не о красоте, а о том, чтобы он, как заботливая мать, был возможно ближе к амбарам, конюшням и окруженным высокими стенами садам; дом был красный, длинный, с плоской крышей и окнами в стиле эпохи королевы Анны; на ромбовидных стеклах, прочерченных белыми переплетами, играло солнце.

Перед домом, окаймляя продолговатую зеленую лужайку между дорогой и посыпанной гравием аллеей, ро-

¹ Дух-кастовой сплоченности! (франц.)

сли вязаы — самые почтенные на свете деревья, в которых гнездились грачи — самая консервативная из всех существующих на свете птиц. Огромная осина — чувствительное творение природы — тряслась и дрожала немного поодаль, как бы извиняясь за свое появление в столь невозмутимо спокойном обществе. Порой ее посещала кукушка, которая прилетала раз в год, чтобы поиздеваться над прочным укладом жизни, но она редко задерживалась надолго, так как мальчишки, выведенные из себя ее непостоянством, принимались швырять в нее камнями.

Деревенька, приютившаяся в лощине, еще не избавилась от страха перед автомобилями. Эта группа однообразных коттеджей с остроконечными крышами была постоянно овеяна запахом сена, навоза и роз, а сейчас к этим запахам простого, смиренного существования примешивался аромат цветущей липы. За лощиной возвышалась церковь с квадратной колокольной, хранившая в своих серых стенах летопись жизни деревенской паствы — перечень рождений, смертей и свадеб, даже рождений незаконных детей, даже смертей самоубийц — и, казалось, протянувшая над головами простых смертных невидимую руку господскому дому. Благопристойные и чинные, эти две крыши привлекали к себе взоры и, словно сговорившись затмить все вокруг, заслоняли собой более скромные постройки.

Июльское солнце светило прямо в лицо Шелтону всю дорогу от Оксфорда до Холм-Окса, и все же он был очень бледен, когда, пройдя по аллее, подошел к дому и позвонил.

— Миссис Деннант дома, Добсон? — спросил он степенного дворецкого в ливрее — старого слугу, считавшего, что до полудня дворецкий непременно должен носить цветные штаны, чтобы его не спутали с лакеем.

— Миссис Деннант, — отвечал сей почтенный муж, поднимая голову, и на его круглом безбородом лице появилось любезно-виноватое выражение, какое бывает у слуг, долго проживших в хорошей семье, — миссис Деннант ушла в деревню, сэр, но мисс Антония в угловой гостиной.

Шелтон пересек низкий холл, отделанный деревянными панелями, с окном в глубине, сквозь которое вид-

нелась мирная зеленая лужайка. Поднявшись по шести широким низким ступеням, он остановился. Из-за двери до него доносились приглушенные звуки гамм; Шелтон стоял, весь во власти охватившего его волнения, сердце его стучало так громко, что в ушах шумело, и он почти не слышал рояля. С застывшей на лице улыбкой он тихо повернул ручку двери.

Антония сидела за роялем; голова ее слегка покачивалась в такт движению пальцев, а изящные ступни мерно двигались, нажимая на педали. Она, как видно, только что играла в теннис: на стуле валялись небрежно брошенные ракетка и берет. На ней была синяя юбка и кремовая блузка без воротника. Лицо ее покраснелось, брови были чуть нахмурены; пальцы быстро бежали по клавишам, и она наклонялась то в одну, то в другую сторону, отчего шелк рукавов то натягивался, то повисал свободными складками.

Шелтон стоял и смотрел, не отрывая глаз, на ее губы, беззвучно отсчитывающие такт, на пышный ореол белокурых волос, на темные брови, сбегające к переносице, на нежные щеки с еле заметной синевой под глазами, голубыми и прозрачными, как лед, на чуть заостренный подбородок без ямочки — на это далекое и такое милое, чуть тронутое загаром и холодно-безмятежное лицо.

Антония повернула голову и, вскочив со стула, воскликнула:

— Дик! Вот хорошо!

Она протянула ему обе руки, но ее улыбающееся лицо яснее слов говорило: «Только не надо сентиментальностей!»

— Разве вы не рады мне? — пробормотал Шелтон.

— Не рада вам? Ну и смешной же вы, Дик! Как будто вы сами не знаете... О, да вы сбрили бороду!.. Мама с Сибиллой пошли в деревню навестить старенькую миссис Хопкинс... Пойдемте в сад. Тея и мальчики играют в теннис... Как замечательно, что вы приехали!

Антония схватила берет. Почти одного роста с Шелтоном, девушка сейчас казалась еще выше, — она стояла, подняв руки, и широкие рукава ее блузки трепетали, словно крылья, от движения пальцев, прикалывающих берет к прическе.

— Мы, пожалуй, еще успеем сыграть партию до завтрака. Вы можете взять мою вторую ракетку.

— У меня ничего нет с собой,— растерянно сказал Шелтон.— Мне не во что переодеться.

Она спокойно оглядела его с головы до ног.

— Можете взять что-нибудь у Бернарда, у него масса всяких вещей. Я вас подожду.

Она взмахнула ракеткой, посмотрела на Шелтона и, крикнув: «Только быстро!», исчезла.

Шелтон взбежал наверх и стал переодеваться, чувствуя себя неловко, как всякий человек, натягивающий чужое платье. Когда он спустился, Антония стояла в холле, напевая песенку и постукивая ракеткой по туфле; она широко улыбалась, показывая белые, как жемчуг, зубы. Взяв ее за рукав, он прошептал:

— Антония!

Яркий румянец залил ее щеки; она повернула голову и посмотрела через плечо.

— Пошли, Дик! — крикнула она и, распахнув стеклянную дверь, выбежала в сад.

Шелтон последовал за ней.

Высокая сетка отделяла теннисную площадку от выгона. В одном углу ее возвышался каменный дуб, его густая листва выделялась ярким мазком на светлом фоне окружающей зелени. Увидев Шелтона и Антонию, Бернард Деннант прекратил игру и сердечно пожал руку гостя. Тея, в короткой юбке, стоявшая на дальнем конце площадки, откинула с лица прямые светлые волосы и, закрываясь рукой от солнца, неторопливо подошла к ним. Судья, мальчуган лет двенадцати, лежал на животе и, визжа, играл с шотландской овчаркой. Шелтон нагнулся и дернул его за волосы:

— Здравствуй, Тоддлс! Ах ты, шалопай этакий!

Они стояли вокруг Шелтона, и в глазах их было откровенное, безжалостное любопытство, а в манере держать голову что-то обидно недоверчивое,— словно от Шелтона исходил некий едва уловимый острый запах, возбуждающий интерес и порицание.

Когда партия кончилась и девушки сели отдыхать в двойной гамак, висевший под каменным дубом, Шелтон отправился с Бернардом на выгон разыскивать затерявшиеся в траве мячи.

— Знаешь, старина,— заметил его бывший однокашник, сухо улыбаясь,— мамаша собирается задать тебе хороший нагоняй.

— Нагоняй? — удивился Шелтон.

— Я не знаю толком, в чем дело, но по некоторым ее замечаниям я понял, что ты писал Антонии какие-то странные вещи.

И, снова сухо улыбнувшись, он посмотрел на Шелтона.

— Странные вещи? — с раздражением переспросил тот.— Что ты хочешь этим сказать?

— Ну, не знаю! Мамаша считает, что Антония... м-м... встревожена и сбита с толку или что-то в этом роде. Ты писал ей, что многое в жизни обстоит далеко не так, как это кажется на первый взгляд. А такие вещи писать не полагается.

И, продолжая улыбаться, он покачал головой.

Шелтон опустил глаза.

— Но ведь это правда! — сказал он.

— Очень возможно. Только держи свою философию при себе, старина.

— Философию? — повторил удивленный Шелтон.

— Оставь нам парочку наших священных предрассудков.

— Священных?! Да в жизни ничего нет священного, кроме...— начал было Шелтон и тут же перебил себя: — Ничего не понимаю!

— Кроме идеалов и тому подобного! Ты что-то перешел границу «практической политики», в этом, очевидно, все и дело, мой мальчик.— Бернард вдруг нагнулся и, подняв последний мяч, сказал: — А вот и мамаша!

И Шелтон увидел миссис Деннант, которая шла по лужайке со своей второй дочерью, Сибиллой.

Когда молодые люди подошли к каменному дубу, три девушки, взявшись под руки, уже направились к дому, а миссис Деннант, в сером платье, стояла одна и разговаривала с младшим садовником. В руках, защищенных коричневыми перчатками, она держала корзинку, которая отгораживала от бородатого садовника строгие, но свободные складки ее темной «рабочей» юбки. Рядом сидела шотландская овчарка и, насторожив уши, смот-

рела на их лица, словно пыталась понять, чем же отличаются друг от друга эти двуногие.

— Благодарю вас, вы больше не нужны мне, Баньян. А, Дик! Наконец-то! Как приятно видеть вас!

При каждой встрече с миссис Деннант Шелтон думал: до чего же она типична. Ему всегда казалось, что он встречал очень много женщин, подобных ей. Он сознавал, что в ее несомненно высоких качествах нет ничего индивидуального, что они скорее присущи всему ее классу. Миссис Деннант, хоть и отличалась сильным характером, считала, что проявлять своеобразие своей натуры не принято. Она была высокая, худая, но отнюдь не тощая, с чуть горбатым носом, длинным выдающимся подбородком и волевым, но добрым ртом, обнажавшим в улыбке, пожалуй, слишком много зубов. Ее манера говорить указывала на родовитость: она растягивала слова, пренебрегая таким вульгарным свойством речи, как музыкальность, и делая неожиданные ударения,— то есть говорила, следуя той особой манере, которая присуща аристократам и составляет дополнительную усладу их жизни.

Шелтон знал, что миссис Деннант многим интересуется; целый день она чем-то занята: с семи утра, когда горничная приносит ей маленький чайник с чаем, кусочек бисквита и любимую собачку Топса, до одиннадцати вечера, когда, держа в одной руке серебряный подсвечник с зажженной свечой, а в другой какой-нибудь новый роман, или, еще лучше, прелестный томик мемуаров, какие великие люди пишут о людях еще более великих, она прощается с детьми и гостями, отправляясь на покой. Да и разве может быть иначе, если нужно заниматься фотографией и садоводством, председательствовать в местном благотворительном обществе, наносить визиты богачам, печься обо всех бедняках, читать все новые книги и содержать свои мысли и мнения в таком порядке, чтобы ничто чуждое не могло ненароком затесаться между ними,— конечно, она всегда была чем-то занята. Сведения, которые она черпала из всех этих источников, были обширны и разнообразны, но миссис Деннант никогда не допускала, чтобы они оказывали какое-либо влияние на ее взгляды, а во взглядах этих не чувствовалось ни аромата, ни остроты, и брала она

их с того же блюда, что и все остальные представители ее класса.

Шелтону нравилась миссис Деннант. Она не могла не нравиться. Она была добрая и такая хорошая; что-то в ней напоминало дорогой, и притом вполне пригодный для обихода фарфор; к тому же она не душилась, словно в знак протеста против всяческой мишуры,— ни вербеной, ни фиалками, никакими из тех духов, что любят женщины,— от нее вообще ничем не пахло. Когда ей приходилось иметь дело с людьми не «ее круга» (она исключала из их числа викария, хотя отец его и торговал галантереей), все ее существо, несмотря на ее утонченность, казалось, шептало мягко и деликатно, но вполне рассудительно: «Я — это я, а вы — это вы, не так ли?» Она не то чтобы сознательно выделяла себя из числа простых смертных,— нет: она в самом деле была незаурядной женщиной. Она держалась так потому, что не могла держаться иначе: ведь так испокон веков вели себя все люди ее круга. Они впитали это с дыханием нянек, склонявшихся над их колыбелью, и настолько отравили свой организм, что впоследствии уже не способны были наполнять легкие хорошим, свежим воздухом. А манеры миссис Деннант! Ах, эти манеры! Они так тщательно скрывали ее истинную сущность, что приходилось сомневаться в наличии таковой.

Шелтон внимательно слушал, с каким сочувствием и как живо рассуждала миссис Деннант о младшем садовнике.

— Бедный Баньян! — говорила она. — Полгода назад он потерял жену и сначала как-то держался, но сейчас на него, право, жалко смотреть. Я сделала все, что могла, чтобы подбодрить его: грустно видеть его таким подавленным! Ах, дорогой Дик, если б вы знали, как он калечит мои новые розовые кусты! Боюсь, не сошел бы он с ума; придется уволить его, беднягу!

Она, конечно, сочувствовала Баньяну, или, вернее, считала, что он вправе погоревать самую малость, поскольку потеря жены — вполне законная и разрешенная церковью причина для скорби. Но впадать в крайность?! Нет, это уж слишком!

— Я обещала повысить ему жалованье, — вздохнула она. — Ведь он был таким великолепным садовником!

Да, кстати, дорогой Дик! Я хочу поговорить с вами. Быть может, мы пойдем завтракать?

Сделав в записной книжечке пометку о своем посещении миссис Хопкинс, она направилась к дому, сопровождаемая Шелтоном.

И лишь под вечер Шелтон получил обещанный нагоняй, но так как Антонии в комнате не было, а Шелтон в ее отсутствие мог думать только о ней, то он не придал разговору серьезного значения.

— Вот что, Дик,— решительным тоном начала высокогородная миссис Деннант, как всегда растягивая слова,— я считаю, что не нужно забивать Антонии голову всякими идеями.

— Идеями?..— смущенно пробормотал Шелтон.

— Все мы прекрасно знаем,— продолжала миссис Деннант,— что далеко не все в мире обстоит так, как должно было бы обстоять.

Шелтон посмотрел на нее: сидя за письменным столом, она широким, размашистым почерком писала приглашение к обеду какому-то епископу. Шелтон не заметил в ней и тени замешательства, и все же он был потрясен. Если уж она — она — считает, что не все в мире обстоит так, как нужно,— значит, в мире действительно творится что-то неладное!

— Не так, как должно?..— тихо повторил Шелтон.

Миссис Деннант окинула его непреклонным, но дружески теплым взглядом своих глаз, которые так напоминали ему глаза зайчихи.

— Видите ли,— продолжала она,— Антония показывала мне некоторые из ваших писем. Ну, так вот: не стоит отрицать, дорогой Дик, что последнее время вы слишком много предавались всяким мыслям.

Шелтон понял, что он был несправедлив к миссис Деннант: она относилась к мыслям так же, как к младшим садовникам,— гнала их прочь, чуть только усматривала в них крайности.

— Боюсь, что это от меня не зависит,— сказал он.

— Мой милый мальчик, вы ничего этим не достигнете... Ну, а теперь я хочу взять с вас обещание, что вы не будете говорить с Антонией на подобные темы.

Шелтон в изумлении поднял брови.

— Вы отлично понимаете, что́ я хочу сказать? — добавила миссис Деннант.

Шелтону стало ясно, что, попросив миссис Деннант уточнить, какие именно темы она имеет в виду, он нанесет удар по ее представлению о приличиях: было бы жестоко заставить ее выйти за привычные рамки!

И потому он сказал:

— Да, конечно!

К его величайшему удивлению, она вдруг покраснела — трогательно и жалко, как краснеют только молодые женщины, и сказала, растягивая слова:

— Не говорите с ней о бедных... о всяких преступниках, о браках, — вы писали о свадьбе, помните?

Шелтон молча склонил голову. Инстинкт матери победил: в своем материнском волнении миссис Деннант решила нарушить светские условности и полностью разъяснила, что именно она подразумевает под опасными темами.

«Неужели она действительно не понимает всей нелепости нашей жизни, — подумал Шелтон, — когда один обедает на золоте, а другой отыскивает себе обед в помойной яме; когда супруги продолжают жить вместе, несмотря на полнейший разлад, — *rouir encourager les autres*¹; когда люди исповедуют христианскую мораль и в то же время требуют признания только своих прав; когда презирают иностранцев только за то, что они иностранцы; когда возможны войны, когда... да возьмем любую нелепость, любую дикость!»

И все же он по справедливости был вынужден признать, что это вполне естественно, поскольку миссис Деннант всю жизнь только и делала, что старалась не замечать нелепости окружающего ее мира.

В эту минуту в дверях показалась улыбающаяся Антония. Она сияла молодостью и весельем, но вид у нее был слегка обиженный, словно она знала, что говорили о ней. Антония села рядом с Шелтоном и принялась его расспрашивать о молодом иностранце, про которого он ей писал; и, глядя в ее глаза, он подумал, что она тоже, возможно, не понимает, как это нелепо, когда один человек покровительствует другому.

¹ В назидание другим (франц.).

— А я думаю, что на самом деле он хороший человек,— сказала она.— По-моему, все то, о чем он вам рассказывал, было лишь...

— Хороший! — настороженно перебил Шелтон.— Я не вполне понимаю, что значит это слово.

Глаза ее затуманились: «Ну, как вы можете говорить так, Дик?» — казалось, спрашивали они.

Шелтон погладил ее по рукаву.

— Расскажите нам о мистере Крокере,— попросила она, не обращая внимания на его ласку.

— Он помешанный,— сказал Шелтон.

— Помешанный? Но, судя по вашим письмам, он просто прелесть.

— Так оно и есть,— устыдившись, подтвердил Шелтон.— Он, конечно, вовсе не сумасшедший, то есть я хочу сказать, что я хотел бы быть хоть наполовину таким сумасшедшим, как он.

— Кто это сумасшедший? — раздался из-за самовара голос миссис Деннант.— Том Крокер? Ах, да! Я ведь знавала его мать, она урожденная Спринджер.

— А он дошел за неделю до Лондона? — спросила Тея, появляясь на пороге с котенком на руках.

— Право, не знаю,— принужден был сознаться Шелтон.

Тея тряхнула головой, отбрасывая волосы со лба.

— Какой же вы тюлень, что не разузнали,— сказала она.

Антония нахмурилась.

— Вы были так добры к этому молодому иностранцу, Дик,— тихо сказала она и, улыбаясь, посмотрела на Шелтона.— Мне очень хотелось бы его увидеть.

Но Шелтон покачал головой.

— А мне кажется,— угрюмо заметил он,— что я сделал для него невероятно мало.

По лицу Антонии вновь пробежала тень, словно ей стало холодно от его слов.

— Право, не пойму, что еще вы могли бы для него сделать? — сказала она.

Сердце Шелтона ныло, словно опаленное огнем: желание проникнуть в душевный мир Антонии, смутный страх и смутная боль, ощущение бесплодности всех его усилий владели им, а впереди — ничего, тупик.

АНГЛИЧАНЕ

Шелтон уже возвращался в Оксфорд, когда встретил мистера Деннанта, ехавшего с прогулки верхом. У отца Антонии, худощавого человека среднего роста, было болезненно-бледное лицо, редкие седые усы, иронически приподнятые брови, а вокруг глаз сеть мелких морщинок. Старая серая куртка со складкой на спине, темные плисовые бриджи, поношенные красновато-коричневые краги и тщательно начищенные штиблеты придавали ему вид несколько обтрепанный, однако не лишенный известного благородства.

— А, Шелтон! — приветливо сказал он своим спокойным голосом. — Наконец-то наш пилигрим снова с нами. Вы что, уже уходите?

И, взяв Шелтона под руку, он вызвался проводить его полями до большой дороги.

Они еще ни разу не встречались после помолвки, и Шелтон, волнуясь, старался придумать, что бы такое сказать, хотя бы и самое банальное. Он расправил плечи, откашлялся и искоса посмотрел на мистера Деннанта. Сей джентльмен чопорно шагал рядом; его плисовые бриджи слегка шуршали при ходьбе. Он помахивал желтой складной тросточкой и время от времени ударял ею по крагам, а потом всякий раз насмешливо поглядывал на свои ноги. Он сам был похож на эту тросточку: такой же желтый, тонкий, словно весь складной, с крючковатым носом, так напоминающим ручку его трости.

— Говорят, в этом году будет неурожай фруктов и ягод, — заметил наконец Шелтон.

— Милый мой, вы, видно, не знаете, что за народ эти фермеры. Надо бы повесить несколько человек — огромная была бы польза! Ну и люди! Вот у меня, например, ведь уродилась же клубника.

— Я полагаю, что в нашем климате человек не может не ворчать, — сказал Шелтон, обрадовавшись, что можно еще немного отдалить страшную минуту.

— Совершенно верно, совершенно верно! Взять хотя бы нас, злополучных землевладельцев: я был бы не-

счастливейшим человеком, если б не мог иной раз поругать фермеров. Скажите, вы когда-нибудь видели лучший выгон? А они еще хотят, чтобы я сбавил им арендную плату!

Мистер Деннант иронически посмотрел вокруг, на минуту задержался взглядом на Шелтоне, потом снова уставился в землю, словно увидел на его лице нечто такое, что серьезно беспокоило его. Наступило молчание.

«Пора!» — подумал Шелтон.

Мистер Деннант по-прежнему не отрывал взора от своих штиблет.

— Вот, скажем, если бы они заявили, что мороз повредил куропаткам, это еще имело бы какой-то смысл, — шутливо заметил он. — Но разве от них можно ждать чего-нибудь толкового? Они ничего не соображают. Вот ведь люди!

Шелтон перевел дух и, не глядя на своего спутника, поспешно начал:

— Ужасно трудно, сэр...

Мистер Деннант ударил себя тросточкой по ноге.

— Да, ужасно трудно мириться с этим, но что поделаешь? Без фермеров не проживешь! А ведь если бы не фермеры, тут по-прежнему водились бы зайцы!

Шелтон неестественно рассмеялся и снова искоса взглянул на своего будущего тестя. Что означало это покачивание головой, эти резко обозначившиеся морщинки у глаз, эти вдруг искривившиеся губы? Шелтон перевел глаза на красивый орлиный нос мистера Деннанта (нос этот обладал способностью краснеть на ветру) и встретил его взгляд, — странное в нем притаилось выражение.

— Мне почти никогда не приходилось иметь дело с фермерами, — наконец сказал Шелтон.

— Неужели! Вот счастливчик! Это самые несносные люди на свете, поистине самые несносные... если не считать дочерей!

— Ну, сэр, вы вряд ли можете ожидать, чтобы я... — начал было Шелтон.

— Нет, конечно, нет! А знаете, я серьезно думаю, что нас с вами сейчас как следует вымочит.

Огромная черная туча закрыла солнце, на котелок

мистера Деннанта упало несколько тяжелых капель дождя.

Шелтон в душе обрадовался ливню: это была милость, ниспосланная самим провидением. Ему, несомненно, придется завести разговор о женитьбе, но это можно будет сделать не сейчас, а позже.

— Я все же пойду,— сказал он.— Я не боюсь дождя. А вам лучше бы вернуться, сэр.

— Подождите: у меня тут арендатор живет, вон в том коттедже,— сказал мистер Деннант своим сухим, небрежным тоном.— Мошенник отчаянный — любит поохотиться в чужих лесах! Не попросить ли его за это хотя бы приютить нас на время дождя, как вы думаете?

И мистер Деннант, ехидно улыбаясь и словно высмеивая свое намерение остаться сухим, постучал в дверь чистенького коттеджа.

Дверь открыла девушка одного с Антонией возраста и роста.

— А, Феба! Отец дома?

— Нет,— смущаясь, отвечала девушка,— отец куда-то ушел, мистер Деннант.

— Очень жаль. Не разрешите ли переждать у вас дождь?

Очаровательная Феба провела их в парадную комнату и, смахнув пыль со стульев, пододвинула их гостям; потом присела в реверансе и вышла.

— Какая хорошенькая девушка! — сказал Шелтон.

— Да, очень хорошенькая: за ней увивается добрая половина здешних парней, но она не хочет расставаться с отцом. О, этот негодяй хоть кого окрутит.

По этому замечанию Шелтон вдруг понял, что теперь уж ему не удастся избежать щекотливого разговора. Он подошел к окну. Дождь лил как из ведра, но золотая полоска на горизонте сулила скорое прояснение. «Боже мой! — думал Шелтон.— Сказать бы мне скорей что-нибудь, пусть даже самое идиотское — и покончить с этим!» Но он продолжал стоять не оборачиваясь, точно на него нашел столбняк.

— Какой страшный ливень! — проговорил он наконец.— Настоящий водяной смерч.

А ведь ничуть не труднее было бы сказать: «Ваша

дочь — самое прелестное существо на свете. Я люблю ее и постараюсь сделать ее счастливой!» Ничуть не труднее, — ему не пришлось бы даже передохнуть лишний раз, чтобы произнести эти слова. И все же он не мог их произнести! Он стоял и смотрел, как дождь, шурша, стекает по листьям и своим неиссякаемым потоком прибывает пыль на высушенной солнцем дороге; он подмечал малейшие подробности того, что происходило снаружи: как дождевые капли, словно копья, ударялись о листья и как листья по сто раз в минуту стряхивали их с себя, а по краям их бесшумно и быстро стекали вниз крохотные струйки прозрачной, чистой, как лед, воды. Он заметил и понурюю голову коровы, которая в поисках укрытия от дождя остановилась у живой изгороди, жуя свою жвачку.

Мистер Деннант ничего не ответил на его замечание о дожде. Молчание так угнетало Шелтона, что он наконец обернулся. Его будущий тесть сидел на жестком стуле, широко раздвинув колени, и, нагнувшись, пристально смотрел на свои начищенные штиблеты, тыкая тросточкой в ковер; достаточно было одного взгляда на его лицо, чтобы от решимости Шелтона не осталось и следа. Выражение этого лица вовсе не было непреклонным, суровым или устрашающим — отнюдь нет, — просто на какой-то момент оно перестало быть насмешливым. Это так поразило Шелтона, что он утратил дар речи. В озабоченности мистера Деннанта ему почудилось что-то человеческое, как будто его и в самом деле что-то тревожило. Но стоило ему взглянуть на Шелтона, как на лице его снова появилось обычное холодно-насмешливое выражение.

— Ну и погода выдалась, как раз для уток! — заметил он, и снова во взгляде его промелькнула неподдельная тревога. Неужели он тоже боится чего-то?

— Мне трудно выразить... — поспешно начал Шелтон.

— Да, да, чертовски неприятно, когда вымокнешь! — прервал его мистер Деннант и запел:

И драться будем, и пить, друзья,
И все нам нипочем!

... Вы, конечно, обедаете у нас на той неделе, а? — продолжал он. — Вот и прекрасно! Будет епископ Блюмен-

тальский и старик сэр Джек Бакуэл. Надо сказать же-
не, чтоб она посадила вас между ними...

Я в звездную ночь прогуляться не прочь...

...Епископ — величайший противник развода, а старик Бакуэл по крайней мере дважды бывал в бракоразводном суде...

По опушке вдоль ручья...

— Не желаете ли чаю, джентльмены? — раздался в дверях голос Фебы.

— Нет, благодарю вас, Феба, — сказал мистер Деннант и, когда Феба краснея вышла, добавил: — Эту девушку давно пора выдать замуж.

На его впалых щеках почему-то проступил румянец.

— Как не стыдно держать такую красотку точно на привязи, около отца. Вот уж настоящий эгоист, этот малый!

И он бросил на Шелтона быстрый взгляд, словно пронес нечто опасное.

Лесник нас искал и собак спускал, —
Он даром время потерял.

И вдруг Шелтон ясно понял, что отец Антонии, так же как и он сам, хотел бы высказать свое отношение к предстоящему событию, так же, как и он, не способен это сделать. Сознать это было очень приятно.

— Знаете, сэр... — начал было Шелтон.

Но брови мистера Деннанта вдруг взлетели кверху, морщинки у глаз собрались в сплошную сетку, казалось, он весь сжался в комок.

— Слава богу, дождь перестал! — воскликнул он. — Не будем терять времени! Пошли, милейший, в такую минуту опасно медлить!

И, распахнув дверь, с обычной своей шутливой любезностью он пропустил Шелтона вперед.

— Я, видимо, расстанусь здесь с вами, — сказал он. — Пожалуй, да. Счастливого пути!

Он протянул Шелтону сухую желтую руку. Тот схватил ее и крепко пожал, бормоча:

— ...так благодарен...

Брови мистера Деннанта снова дрогнули, словно кто-то ущипнул их. Шелтон догадался о том, что творилось

у него на душе, и это явно не понравилось мистеру Деннанту. Румянец сбежал с его лица; теперь из-под узких полей котелка на Шелтона смотрело смертельно-бледное, спокойное, морщинистое лицо; редкие седые усы свисали вниз; резче обозначились морщинки у глаз; ноздри раздулись; на губах была загадочная улыбка.

— Благодарность! — сказал он. — Благодарность почти равносильна пороку, не так ли? Спокойной ночи!

В лице Шелтона что-то дрогнуло, он приподнял шляпу и, повернувшись так же круто, как и его собеседник, пошел своей дорогой. Все это время он принимал участие в комедии, какая возможна только в Англии. Теперь он мог спокойно улыбаться, вспоминая пережитое чувство неловкости, ибо он знал, что выполнил свой долг. Все, что надлежало и требовалось сказать, было сказано, и сказано так, как подобные вещи принято говорить. Ни чьи чувства не были оскорблены. Теперь он мог спокойно улыбаться — улыбаться, думая о себе, о мистере Деннанте, о завтрашнем дне; улыбаться, вдыхая сладкие запахи земли, нежные и робкие, какие может вызвать к жизни только дождь.

ГЛАВА XXII

В ПОМЕСТЬЕ

Время второго завтрака в Холм-Оксе, за исключением, разумеется, охотничьего сезона, было, как и во всех хорошо поставленных загородных домах, временем наиболее возвышенных бесед. Жизнь в доме уже кипела ключом, и к разговору о погоде, о собаках, лошадях, соседях, крикете и гольфе примешивался лепет о литературе, ибо Деннанты были люди высокоинтеллектуальные и в их доме нередко можно было услышать такие фразы: «Читали вы эту очаровательную книгу Позера?» или «Да, я достал новое издание «Бэблингтона»; дивный переплет, книга такая легкая, прямо как пух!» Но самым оживленным месяцем в Холм-Оксе, когда там собиралось самое избранное общество, был июль, ибо в июле в Холм-Оксе обычно принимали великое множество несчастных лондонцев, измученных зимним сезоном в столице и куда больше заслуживающих отдыха, чем

швея, которая целый день гнет спину в своей полутемной каморке. Сами Деннанты никогда не выезжали в Лондон на зимний сезон. На то была их добрая воля. Они считали, что вполне достаточно провести в столице неделю-другую. У них было пристрастие к свежему воздуху, и даже Антония после своего первого выезда в свет, два года тому назад, пожелала как можно скорее вернуться домой, заявив, что на лондонских балах задохнуться можно.

Когда Шелтон прибыл в Холм-Окс, съезд гостей только еще начинался, но каждый день приносил с собой новое пополнение истомленных столичных жителей, которых размещали по старинным, темным, приятно пахнущим спальням. К каждому из гостивших здесь Шелтон относился с симпатией, но он заметил, что наблюдает за ними как бы со стороны. Шелтон знал, что, если судить людей поодиночке, почти все они окажутся лучше его самого и что, лишь когда судишь о них в массе, они становятся достойными той уничтожающей критики, какой он склонен был подвергнуть их. Он знал это так же хорошо, как и то, что условности, изобретенные для того, чтобы лишить человека возможности следовать естественным влечениям своей натуры, являются не более как отрицательной суммой положительного отношения отдельных людей к тому или иному вопросу.

И он наблюдал их в массе. Но, как всегда, сказывались вежливость и боязнь привлечь к себе внимание: внешне он продолжал оставаться все тем же воспитанным, скромным молодым человеком, а свои суждения держал при себе.

В умственном отношении Шелтон разделил гостей в Холм-Оксе на две категории: на тех, кто безропотно принимает все, как оно есть, и на тех, кто принимает все с насмешкой; в вопросах морали и те и другие, как он обнаружил, принимали все без намека на критику. Высказать собственное суждение по вопросам морали — все равно, что признать себя погибшим человеком, хуже того — оказаться отщепенцем в глазах других. Шелтон пришел к такому мнению скорее интуитивно, чем на основании чьих-то слов, так как касаться подобных тем в разговоре было, конечно, не принято, а вести беседу полагалось весело и громко, как и подобает воспитанным

людям. Шелтон никак не мог усвоить нужный тон, и он невольно чувствовал, что этот недостаток делает его несколько подозрительным в глазах других гостей. Царившая в доме Деннантов атмосфера никогда раньше не казалась ему такой нелепой, как сейчас,— она заставляла его сомневаться в своей принадлежности к джентльменам. Может ли человек сгорать от страсти, терзаться душевной мукой и дурными предчувствиями и по-прежнему оставаться джентльменом? Это казалось невероятным. Один из гостей, по имени Эджбестон, человек с замашками аристократического мерзавца и почти совсем лысый, с маленькими глазками и черными усами, как-то раз привел Шелтона в полное замешательство, сказав о ком-то, совсем ему неизвестном: «Просто мужлан какой-то — сам не знает, чего хочет».

Страшное сомнение всколыхнуло душу Шелтона.

Казалось, все в мире разделено на категории, разложено по полочкам и оценено. Например, англичанин ценится дороже, чем простой смертный, а собственная жена — дороже, чем всякая другая женщина. К тем явлениям или сторонам жизни, которые неизвестны по личному опыту, относятся как к чему-то немного забавному и, вероятно, заслуживающему всяческого порицания. Словом, здесь все было подчинено принципам, узаконенным высшим обществом.

Нервное состояние, в котором находился Шелтон, делало его сверхчувствительным ко всему, что было ему чуждо. Мелочи, на которые он раньше не обращал внимания, теперь поражали его,— например, тон, каким мужчины говорили о женщинах: не совсем враждебно и не то чтобы презрительно; точнее, пожалуй, с вежливой издевкой,— разумеется, когда речь шла не о своей жене, матери, сестрах или ближайших знакомых, а о любой посторонней женщине. Поразмыслив над этим, Шелтон пришел к заключению, что мужчина из высших классов общества считает священной только свою собственность, а на всех прочих женщин смотрит как на предмет сплетен, шуток и скользких замечаний. Поразило его и то обстоятельство, что войной, которая шла в то время, все интересовались лишь постольку, поскольку она касалась людей их круга. Считалось, что это прескверная штука, потому что бедняга Джек Имярек и

Питер Имярек убиты, а бедняга Тэдди Имярек ходит теперь с одной рукой вместо двух! Человечество в целом не принималось в расчет, зато принимались в расчет интересы высших классов и между прочим той страны, которая им принадлежала. Вот они чинно восседают в креслах, устремив взор на горизонт, ограничивающий их владения!

Однажды поздно вечером, когда кончили играть на бильярде и слушать музыку и дамы разошлись по своим комнатам, Шелтон, сменив фрак на куртку, спустился вниз и сел в одно из огромных кресел, даже летом стоявших полукругом у камина. Шелтон только что расстался с Антонией; все еще находясь под ее обаянием, он не сразу принялся разглядывать мужчин в разноцветных куртках, расположившихся здесь и, скрестив ноги, потягивавших вино и куривших сигары.

Шелтона вывел из задумчивости его сосед, который, со стуком поставив стакан, вдруг пересел на стоявший у камина пуф. Окутанный клубами табачного дыма, он сидел нахохлившись, колени и локти его выпирали, образуя острые углы, изо рта торчала сигара, которая, продолжая линию носа, делала его похожим на клюв, а ярко-красные отвороты наглухо застегнутой куртки казались перьями на груди диковинной птицы, на которую он и был похож.

— Там очень хорошо обслуживают,— сказал он.

— У Верадо обслуживают куда лучше,— раздалось в ответ справа от Шелтона.

— Лучшей гостиницы, чем «Золотой телец», вы нигде не найдете: там бесплатные турецкие бани! — лениво протянул толстяк с крошечным ртом.

Эти слова, произнесенные удивительно мягко и вкрадчиво, прозвучали словно благословение. И для тех, кто был в этой старинной, обшитой дубом комнате, мир сразу же, точно по мановению волшебной палочки, разделился на три части: где обслуживают хорошо, где обслуживают куда лучше и где в вашем распоряжении бесплатная турецкая баня.

— Если вы любите настоящие турецкие бани,— вмешался в разговор высокий юноша с гладко выбритым красным лицом (он недавно вошел в комнату и теперь стоял, чуть приоткрыв рот и как-то беспомощно выста-

вив вперед огромные ступни), — вам, знаете, ли, надо поехать в Будапешт: бани там великолепнейшие!

Шелтон заметил, как еле уловимое удовлетворение разлилось по лицам всех присутствующих, точно им предложили трюфелей или что-то не менее изысканное.

— О нет, Пудлс, — заметил человек, восседавший на пуфе, — мне один знакомый рассказывал, что никакие бани не могут сравниться с софийскими. — И лицо его преобразила тайная радость человека, вкусившего порок хотя бы понаслышке.

— Ах, никакие бани не могут соперничать с багдадскими, — протянул толстяк с маленьким ртом.

Слова его снова прозвучали над присутствующими как благословение, и снова весь мир разделился на три части: где обслуживают хорошо, где обслуживают куда лучше и... Багдад!

А Шелтон подумал: «Почему это я не знаю такого места, где было бы лучше, чем в Багдаде?»

Он казался сам себе таким ничтожеством. Выходит, что он не знает ни одного из этих чудесных мест и ничем не может быть полезен своим ближним; впрочем, в глубине души он был убежден, что остальные столь же мало знают о предмете разговора, как и он сам, — просто им приятно вспомнить все когда-то слышанное и со смаком сообщить об этом. Увы! Шелтон не знал забавных историй, за какие светских людей удостоивают ярлычка «славный малый» и к тому же «весельчак».

— А вы были когда-нибудь в Багдаде? — робко спросил он толстяка.

Тот, ничего не ответив, стал рассказывать какой-то анекдот; крошечный рот его на широком лице извивался, как гусеница. Анекдот был презабавный.

За исключением Антонии, Шелтон не видел почти никого из женской половины общества, собравшегося в Холм-Оксе, ибо, следуя установленному в таких поместьях обычаю, мужчины и дамы старались по возможности избегать друг друга. Они встречались за столом, иногда собирались, чтобы сыграть партию в крокет или теннис; в остальное же время, словно по тайному уговору, они держались порознь, как на Востоке.

Однажды, разыскивая Антонию, Шелтон заглянул в гостиную и обнаружил в ней несколько дам, занятых го-

рячим спором. Он уже хотел было удалиться, но, не желая слишком явно показать, что зашел сюда лишь в поисках своей невесты, сел и стал слушать.

Высокородная Шарлотта Пенгвин сидела на низком диване у окна и вязала неизменный шелковый галстук — шестой по счету, с тех пор как она начала вязать точно такой же в Йере; рядом на подоконнике стояла гортензия, и лепестки круглых, как шар, цветов почти касались горящих румянцем щек тетушки. Она смотрела с томным интересом на говорившую даму. Дама эта была плотная, небольшого роста; седые волосы ее, зачесанные назад, открывали низкий лоб; лицо у нее было энергичное и немного недовольное. Она стояла с книгой в руках, словно произнося проповедь. Будь она мужчиной, про нее можно было бы сказать, что это бойкий молодой делец, ибо, несмотря на седины, чувствовалось, что она никогда не состарится и никогда не утратит способности быстро принимать решения. Черты ее лица обладали большой подвижностью, в живом, но немного жестком взгляде сквозила фанатическая убежденность в правильности собственных суждений; подчеркнуто простое платье словно утверждало ее право вмешиваться в чужие дела. Лицо у нее было не красное и не бледное, не желтое и не зеленое, но все эти оттенки сливались в нем словно для того, чтобы она возможно меньше выделялась на фоне окружающей природы; и улыбка у нее была какая-то странная, кисло-сладкая, больше всего напоминающая вкус яблока с гнильцой.

— Я их просто не слушаю, — говорила она. Голос у нее был не резкий, но деловитый: чувствовалось, что у нее нет времени заниматься пустяками. — Я на опыте убедилась, что с ними лучше всего обращаться, как с детьми.

Услышав это, дама, читавшая «Таймс», улыбнулась; ее рот, вернее, все ее жесткое красивое лицо напоминало деревянных лошадок в яблоках, которых можно купить в пассаже в Сохо. Она скрестила ноги, зашуршав дорогим тяжелым шелком юбок. Казалось, вся она захрустела и затрещала, произнеся резко, не глядя на окружающих:

— А я считаю, что бедняки — очаровательные люди! Сибилла Деннант, сидевшая на диване, рассмеялась

серебристым смехом и, бросив Шелтону на колени за-
лаявшего терьера, спросила:

— А вы, Дик? Какого вы мнения о бедных?

Шелтон в замешательстве огляделся по сторонам. Пожилые дамы, которые уже высказали свое мнение, смотрели теперь на него, и в их взглядах он прочел полное пренебрежение.

«О, этот молодой человек? — казалось, говорили они.— И вы ждете от него каких-то разумных замечаний? Полно!»

— Какого я мнения о бедных? — запинаясь, спросил Шелтон.— Да никакого.

Дама по имени миссис Мэтток — та, что все время рассуждала стоя,— посмотрела на утонченную особу, читавшую «Таймс», и, улыбнувшись своей кисло-сладкой улыбкой, заметила:

— Возможно, вы не знаете лондонских бедняков, леди Бонингтон?

В ответ леди Бонингтон только зашуршала юбками.

— Ах, миссис Мэтток, пожалуйста, расскажите нам о трущобах! — воскликнула Сибилла.— Посещать трущобы, должно быть, так интересно! А здесь такая смертельная скука — только и делаем, что шьем для них флаanelевые юбки!

— Бедняки, душенька, совсем не такие, какими вы их себе представляете...— начала было миссис Мэтток.

— А знаете,— прервала ее тетушка Шарлотта, выглядывая из-под гортензии,— по-моему, они такие милые!

— Вы так думаете? — резко спросила миссис Мэтток.— А по-моему, они только и делают, что на все ворчат.

— На меня они никогда не ворчат; они очаровательные люди.

И леди Бонингтон с сумрачной улыбкой посмотрела на Шелтона.

А он невольно подумал, что нужно быть необычайно храбрым, чтобы осмелиться ворчать в присутствии этой богатой деспотичной особы.

— Бедняки — самые неблагодарные люди на свете! — заметила миссис Мэтток.

«Зачем же вы тогда ходите к ним?» — спросил про себя Шелтон.

И, словно в ответ на его мысль, миссис Мэтток сказала:

— Мы обязаны помогать им, обязаны выполнять свой долг, но дожидаться от них благодарности...

— Несчастные! У них такая тяжкая участь! — с иронической улыбкой заметила леди Бонингтон.

— А маленькие дети! — вздохнула тетушка Шарлотта, вспыхнув и глядя вокруг блестящими глазами. — Они такие трогательные!

— Ох, эти дети! — сказала миссис Мэтток. — Я прямо из себя выхожу при виде этих заброшенных созданий. Нет, мы слишком сентиментально относимся к беднякам!

Леди Бонингтон снова зашуршала юбками. Ее пышные плечи глубоко ушли в мягкую спинку кресла; густые темные волосы, отливавшие серебром, были высоко взбиты; рубиновый браслет сверкал на могучем запястье руки, державшей газету; она медленно покачивала ногой, обутой в туфельку из бронзовой кожи. Эта дама отнюдь не производила впечатления слишком сентиментальной.

— Я знаю, что беднякам часто совсем неплохо живется, — заявила миссис Мэтток таким тоном, словно кто-то глубоко оскорбил ее.

И Шелтон не без жалости заметил, что судьба избородила морщинами все ее доброе лицо, — эта сетка крохотных морщинок красноречиво говорила о великом множестве добрых намерений, которые не осуществились по вине непрактичных и вечно недовольных бедняков.

— Что бы вы ни делали, они никогда не бывают довольны, — продолжала она. — Они только обижаются, когда им помогают, или же принимают помощь, но никогда за нее не благодарят.

— О, это так тяжело! — пробормотала тетушка Шарлотта.

Шелтону все больше и больше становилось не по себе. И вдруг он резко сказал:

— Будь я на их месте, я поступал бы точно так же. Миссис Мэтток метнула в его сторону взгляд своих

карих глаз, а леди Бонингтон, звякнув браслетом, промолвила, как бы обращаясь к «Таймсу»:

— Мы всегда должны ставить себя на их место.

Шелтон невольно улыбнулся: леди Бонингтон на месте бедной женщины!

— О, я всецело ставлю себя на их место! — воскликнула миссис Мэтток. — Я прекрасно понимаю, что они должны чувствовать. Но неблагодарность все же отвратительная черта.

— А они, видимо, не могут поставить себя на ваше место, — пробормотал Шелтон и, набравшись храбрости, быстрым взглядом окинул комнату.

Да, все в этой комнате было удивительно под стать одно другому, и все одинаково ненастоящее, словно каждая картина, каждый предмет обстановки, каждая книга и каждая из присутствующих дам были копиями с какой-то модели. Все они были очень разные, и тем не менее (подобно скульптурам, которые мы видим порой на выставках) все казались слепками с какого-то одного оригинала. Вся комната дышала целомудрием, сдержанностью, строгой логикой, практичностью и комфортом; никто здесь ничем не выделялся — ни чрезмерной добродетелью, ни чрезмерным трудолюбием, ни манерами, ни речами, ни внешним видом, ни своеобразием умозаключений.

ГЛАВА XXIII

ЭСТЕТ

В поисках Антонии Шелтон поднялся наверх, в угловую гостиную. Там у окна болтали Тея Деннант и еще какая-то девушка. Заметив взгляд, который они бросили на него, Шелтон подумал, что лучше бы ему было не родиться на свет, и поспешно вышел из комнаты. Спустившись в холл, он столкнулся с мистером Деннантом, — тот шел к себе в кабинет с пачкой каких-то бумаг, видимо, документов.

— А, это вы, Шелтон! — сказал он. — Что это у вас такой растерянный вид? Никак не найдете свою святыню?

Шелтон усмехнулся, сказал «да» и пошел дальше

искать Антонию. Но ему не везло. В столовой он обнаружил миссис Деннант: она составляла список книг, которые собиралась выписать из Лондона.

— Дик, посоветуйте мне, пожалуйста,— сказала она.— Все сейчас читают этот роман Кэтрин Эстрик. Наверно, потому, что она особа титулованная.

— Конечно, всякий читает книгу по той или иной причине,— ответил Шелтон.

— Я ненавижу что-нибудь делать только потому, что так делают другие; не стану заказывать эту книгу,— сказала миссис Деннант.

— Отлично!

Миссис Деннант сделала пометку в каталоге.

— Последняя вещь Линсида — это я, конечно, возьму; впрочем, должна признаться, я не очень люблю его, но, пожалуй, его книги надо иметь в доме. А, «Избранные речи» Куолити! Это, должно быть, хорошо, он всегда так изысканно выражается. А вот что делать с этой книгой Артура Баала? Говорят, он большой шарлатан, но все читают его.

И Шелтон заметил, как блеснули ее глаза, так похожие на глаза зайчихи. Лицо ее с тонким носом и мягким подбородком утратило выражение решимости, словно кто-то вдруг посоветовал ей довериться собственному инстинкту. Она выглядела такой жалкой, такой неуверенной. Впрочем, она ведь всегда могла составить мнение о той или иной книге по количеству изданий.

— Пожалуй, все-таки стоит выписать эту книгу, как вы думаете? — спросила она.— Вы ищете Антонию? Если увидите в саду Баньяна, скажите ему, пожалуйста, Дик, что я хочу его видеть; последнее время он стал просто невозможен. Я, конечно, понимаю, как ему тяжело, но, право, он переходит всякие границы.

Получив наказ разыскать младшего садовника, Шелтон вышел из столовой. С горя он заглянул в бильярдную. Антонии там не было. Вместо нее он увидел высокого круглолицего джентльмена с холеными усами, который упорно пытался послать красного в угол. Его звали Мэбби. При появлении Шелтона он выпрямился и, надув губы, словно ребенок, спросил сонным голосом:

— Сыграем по сто?

Шелтон покачал головой, пробормотал что-то в свое оправдание и уже собрался было идти, как вдруг джентльмен по имени Мэбби с огорченным видом дотронулся до того места, где усы его соприкасались с пухлыми румяными щеками, и удивленно спросил:

— По сколько же вы обычно играете?

— Право, не знаю, — ответил Шелтон.

Джентльмен по имени Мэбби натер мелом кий и, передвинувшись на своих толстых расслабленных ногах, обтянутых узкими брюками, изогнулся для удара.

— Хорош удар, а? — спросил он, вновь выпрямившись и с сонным любопытством глядя на Шелтона своими сытыми глазами. Глаза эти, казалось, говорили: «Непонятное животное этот Шелтон!»

Шелтон поспешно вышел из дома, — он хотел добежать до лужайки, расположенной в глубине сада, но тут к нему подошел прогуливавшийся на солнышке молодой человек в рубашке с мягким отложным воротничком, хрупкий на вид, с редкими белобрысыми усиками, высоким лбом и переплетением тонких голубоватых жилок на висках. Походка у него была упругая, шаг мелкий, но четкий. Лицо его, молодое и открытое, носило на себе, подобно лицам многих английских аристократов, печать изысканного эстетства. Должно быть, он понимал толк в старинной мебели и церквах. Сейчас в руках он держал «Спектэйтор».

— А, Шелтон! — сказал он высоким, тонким голосом, останавливаясь в такой удобной позе, что было бы просто кощунством заставить его переменить ее. — Вышли подышать свежим воздухом?

Загорелое лицо Шелтона, его неправильный нос и мягко очерченный, но упрямый подбородок до странности не соответствовали точеным чертам эстета.

— Хэлидом говорил мне, что вы собираетесь выставить свою кандидатуру в парламент, — сказал тот.

Шелтон вспомнил властную манеру Хэлидома уstraивать чужие дела по своему усмотрению и улыбнулся.

— Разве я похож на кандидата? — спросил он.

Брови эстета чуть дрогнули. Ему, по-видимому, никогда не приходило в голову, что человек, собирающийся выставить свою кандидатуру в парламент, должен

быть похож на кандидата, и он с некоторым любопытством оглядел Шелтона.

— Если на то пошло, так, пожалуй, нет,— сказал он.

В его глазах, с такою нарочитой иронией взирающих на мир, был тот же вопрос, что и в глазах Мэбби, хотя они были совсем другими; они, казалось, тоже спрашивали: «Что за непонятный тип этот Шелтон?»

— Вы по-прежнему служите в министерстве внутренних дел? — спросил Шелтон.

Эстет нагнулся и понюхал розу.

— Да,— ответил он.— Это меня вполне устраивает. У меня остается много свободного времени для занятий искусством.

— Это, должно быть, очень интересно,— сказал Шелтон, не переставая искать глазами Антонию.— Мне вот никогда не удавалось увлечься чем-нибудь.

— Вы никогда ничем не увлекались?! — воскликнул эстет, проводя рукой по волосам (он был без шляпы).— Но чем же вы в таком случае заполняете свое время?

Шелтон не знал, что ответить: он никогда не задумывался над этим.

— Право, не знаю,— нерешительно сказал он.— По-моему, всегда что-нибудь находится.

Эстет засунул руки в карманы и окинул собеседника ясным взглядом.

— Каждый человек должен чем-то увлекаться, чтобы не потерять интереса к жизни,— заметил он.

— Интереса? — угрюмо повторил Шелтон.— Я нахожу, что жизнь сама по себе достаточно интересна.

— Ах, вот как! — сказал эстет, словно порицая такое отношение к жизни, как к чему-то самому по себе интересному.

— Все это прекрасно,— продолжал он,— но этого мало. Почему бы вам не заняться резьбой по дереву?

— Резьбой по дереву?

— Как только мне надоедает заниматься служебными бумагами и тому подобным, я бросаю все и сажусь за резьбу по дереву,— это такой же отдых, как игра в хоккей.

— Но мне совсем не хочется этим заниматься.

Брови молодого эстета сдвинулись, и он дернул себя за ус.

— Вот увидите, как невыгодно прожить жизнь без увлечений,— сказал он.— А что вы будете делать, когда состаритесь?

Слово «невыгодно» прозвучало как-то странно в его устах, ибо, глядя на него, казалось, что весь он словно покрыт эмалью, наподобие современных драгоценностей, которые делают так, чтобы никто не догадался об их настоящей цене.

— Вы бросили адвокатуру? Неужели вам не скучно ничего не делать? — продолжал эстет, останавливаясь перед старинными солнечными часами.

Шелтон, естественно, не счел удобным объяснять, что он влюблен и что это заполняет всю его жизнь. Безделье недостойно мужчины! Но до сих пор он никогда еще не ощущал потребности в каком-то занятии. И потому он молчал, но это молчание ничуть не смутило его спутника.

— Прекрасный образец старинного мастерства! — сказал тот, движением подбородка указывая на солнечные часы, и, обойдя кругом, принялся рассматривать их с другой стороны.

Серый постамент часов отбрасывал на дерн тонкую укорачивающуюся тень; по бокам его тянулись вверх язычки мха, а у подножия густо разрослись маргаритки,— казалось, часы растут из самой земли.

— Хотелось бы мне иметь их у себя! — сказал эстет.— Право, не помню, чтоб я видел солнечные часы лучше этих.

И он снова обошел вокруг них.

Брови его были по-прежнему иронически вздернуты, но глаза под ними светились тонким расчетом, рот был слегка приоткрыт. Человек более наблюдательный сказал бы, что на лице его написана жадность, и даже Шелтон был так поражен, словно прочел в «Спектэйторе» исповедь торгаша.

— Перенесите эти часы в другое место, и они утратят все свое очарование,— сказал Шелтон.

Его собеседник нетерпеливо обернулся; на сей раз, как ни удивительно, он и не пытался скрывать свои чувства.

— Нисколько! — сказал он.— Ого! Я так и думал! Тысяча шестьсот девяностый год. Самый расцвет этого мастерства! — Он провел пальцем по краю цифербла-

та.— Великолепная линия — ровная, словно она только сейчас высечена. Вы, видимо, не очень интересуетесь подобными вещами.— И на лице эстета вновь появилась прежняя маска, говорившая, что он привык к равнодушию вандалов.

Они двинулись дальше, к огородам; Шелтон по-прежнему старательно обыскивал глазами каждый тенистый уголок. Ему хотелось сказать: «Я очень тороплюсь»,— и помчаться дальше, но в эстете было что-то такое, что оскорбляло чувства Шелтона и в то же время исключало всякую возможность проявить их. «Чувства?! — казалось, говорил этот человек.— Прекрасно. Но нужно что-то еще, кроме этого. Почему бы не заняться резьбой по дереву?.. Чувства! Я родился в Англии и учился в Кембридже...»

— Вы здесь надолго? — спросил он Шелтона.— Я завтра уезжаю к Хэлидому. Очевидно, мы там с вами не встретимся? Славный малый, этот Хэлидом! У него превосходная коллекция гравюр!

— Да, я остаюсь здесь,— сказал Шелтон.

— А-а! — протянул эстет.— Прелестные люди эти Деннанты!

Чувствуя, что медленно заливается краской, Шелтон отвернулся и, сорвав ягодку крыжовника, пробормотал:

— Да.

— Особенно старшая дочь: никакого сумасбродства и в помине нет! По-моему, она на редкость приятная девушка.

Шелтон выслушал эту похвалу своей невесте с чувством, очень далеким от удовольствия, как будто слова эстета осветили Антонию с какой-то совсем новой стороны. Он поспешно буркнул:

— Вам, вероятно, известно, что мы помолвлены?

— В самом деле? — воскликнул эстет, вновь окидывая Шелтона веселым, ясным, но непроницаемым взглядом.— В самом деле? Я не знал. Поздравляю!

Казалось, он хотел этим сказать: «Вы человек со вкусом; по-моему, эта девушка способна украсить почти любую гостиную».

— Благодарю,— сказал Шелтон.— А вот и она. Извините, пожалуйста. Мне нужно поговорить с ней.

В РАЮ

Антония стояла на солнце, у старой кирпичной ограды, среди гвоздик, маков и васильков, и тихо напевала какую-то песенку. Шелтон проследил глазами за эстетом, пока тот не скрылся из виду, и стал украдкой смотреть на Антонию — как она нагибалась к цветам, вдыхала их аромат, перебирала их, выбрасывая увядшие, и по очереди прижимала к лицу, не переставая напевать все ту же нежную мелодию.

Еще два-три месяца, и исчезнут все преграды, отделяющие его от этой загадочной юной Евы; она станет частью его, а он — ее; он будет знать все ее мысли, а она — все его мысли. Они станут единым целым; и люди будут думать и говорить о них как о едином целом, — и для этого нужно только вместе простоять полчаса в церкви, обменяться кольцами и расписаться в толстой книге.

Солнце золотило волосы Антонии — она была без шляпы, — румянило ее щеки, придавало чувственную негу очертаниям ее тела; напоенная солнцем и теплом, она, подобно цветам и пчелам, солнечным лучам и летнему воздуху, казалась сотканной из света, движения и красок.

Внезапно она обернулась и увидела Шелтона.

— А, Дик! — воскликнула она. — Дайте мне ваш носовой платок завернуть цветы. Вот спасибо!

Ее ясные глаза, голубые, как цветы в ее руках, были прозрачны и холодны, точно лед, зато улыбка излучала все дурманящее тепло, скопившееся в этом уголке сада и пропитавшее ее существо. Глядя на ее зарумянившиеся от солнца щеки, на ее пальчики, перебирающие стебли цветов, на белые, как жемчуг, зубы и пышные волосы, Шелтон совсем потерял голову. У него подкашивались ноги.

— Наконец-то я нашел вас! — сказал он.

Откинув назад голову, она крикнула «Ловите!» и, взмахнув обеими руками, бросила ему цветы.

Под этим теплым, душистым дождем Шелтон упал на колени и стал собирать из цветов букет, то и дело нюхая гвоздики, чтобы скрыть бушевавшие в груди чувства.

Антония продолжала рвать цветы; набрав целую охапку, она бросала их Шелтону, осыпая ими его шляпу, спину, плечи, а потом принималась рвать дальше и улыбалась улыбкой бесенка, словно сознавая, какие муки причиняет своей жертве. И Шелтон был уверен, что она в самом деле сознает это.

— Вы не устали? — спросила она. — Надо нарвать еще целую уйму. Для всех спален, целых четырнадцать букетов. Я просто не понимаю, как люди могут жить без цветов! А вы?

И, низко нагнувшись над самой его головой, она зарылась лицом в гвоздики.

Шелтон, не поднимая глаз от лежавших перед ним сорванных цветов, с усилием ответил:

— Мне кажется, я мог бы обойтись и без них.

— Бедный, бедный Дик!

Антония отошла на несколько шагов. Солнце освещало ее точеный профиль и ложилось золотыми бликами на грудь.

— Бедный Дик! Досталось вам?

Набрав целую охапку резеды, она снова подошла к нему так близко, что коснулась его плеча, но Шелтон не поднял головы; с бурно бьющимся сердцем, еле переводя дыхание, он продолжал разбирать цветы. Резеда дождем посыпалась ему на шею; цветы, пролетая мимо его лица, оведали его своим ароматом.

— Эти можно не разбирать, — сказала она.

Что это? Неужели кокетство? Он украдкой взглянул на нее, но она уже снова отошла к клумбам и, нагибаясь, нюхала цветы.

— Мне кажется, я только мешаю вам, — пробурчал Шелтон. — Я лучше уйду!

Антония рассмеялась.

— Мне так нравится, когда вы стоите на коленях; у вас очень забавный вид! — И она бросила ему ярко-красную гвоздику. — Хорошо пахнет, правда?

— Слишком хорошо!.. Ох, Антония! Зачем вы это делаете?

— Что делаю?

— Разве вы не понимаете, что вы делаете?

— Как что? Собираю цветы!

И она снова побежала к клумбам, нагнулась и стала нюхать распустившиеся бутоны.

— Не хватит ли?

— О нет,— отозвалась она.— Нет, нет... нужно еще очень много. Пожалуйста, делайте букеты, если... если любите меня.

— Вы знаете, что я люблю вас,— глухо сказал Шелтон.

Антония посмотрела на него через плечо; лицо ее выражало недоумение и вопрос.

— А ведь мы с вами совсем разные,— сказала она.— Какие цветы поставить в вашу комнату?

— Выберите сами.

— Васильки и махровую гвоздику. Мак — чересчур легкомысленный цветок, а простая гвоздика слишком уж...

— Простая,— подсказал Шелтон.

— А резеда слишком жесткая и...

— Пахучая. Но почему васильки?

Антония стояла перед ним выпрямившись, такая молодая и стройная; лицо ее было очень серьезно: она колебалась, не зная, что ответить.

— Потому что они темные и бездонно-синие.

— А почему махровую гвоздику?

Антония молчала.

— А почему махровую гвоздику?

— Потому что...— начала она и, покраснев, согнала с юбки пчелу.— Потому что... в вас есть что-то такое, чего я не понимаю.

— Вот как! Ну, а какие цветы я должен дать вам?

Она заложила руки за спину.

— Мне? Все остальные.

Шелтон выхватил из лежавшей перед ним груды исландский мак на длинном и прямом стебле, чуть изогнувшемся вверху под тяжестью цветка, белую гвоздику и пучок жесткой пахучей резеды и протянул Антонии.

— Вот,— сказал он,— это вы!

Но Антония не шевельнулась.

— О, нет, я не такая!

Пальцы ее за спиной медленно разрывали в клочья лепестки кроваво-красного мака. Она покачала головой и

улыбнулась сияющей улыбкой. Шелтон выронил цветы и, сжав ее в объятиях, поцеловал в губы.

Но руки его тотчас опустились: не то страх, не то стыд овладел им. Антония не сопротивлялась, но поцелуй снял улыбку с ее губ, оставил в глазах отчуждение, испуг и холод.

«Значит, она вовсе не кокетничала со мной,— с удивлением и гневом подумал он.— Чего же она хотела?»

И, как побитая собака, он с тревогой вглядывался в ее лицо.

ГЛАВА XXV

ПРОГУЛКА ВЕРХОМ

— А теперь куда? — спросила Антония, придерживая свою гнедую кобылу, когда они свернули на Хай-стрит в Оксфорде.— Мне не хочется возвращаться той же дорогой, Дик!

— Мы могли бы проскакать по лугам, два раза пересечь реку, а потом домой, но вы устанете.

Антония покачала головой. Тень от соломенной шляпы легла на ее щеку; розовое ухо просвечивало на солнце.

После того поцелуя в саду что-то новое появилось в их отношениях; внешне Антония вела себя с ним по-прежнему дружески, спокойно и весело. Но Шелтон чувствовал, что в ней произошла внутренняя перемена, как чувствуется перед изменением погоды, что ветер стал каким-то иным. Своим поцелуем он запятнал ее непорочную чистоту; он пытался стереть это пятно, но след все же остался, и след этот был неизгладим.

Антония принадлежала к самой цивилизованной части самой цивилизованной в мире нации, чье кредо гласит: «Можно любить и ненавидеть, можно работать и жениться, но никогда нельзя давать волю своим чувствам; дать волю чувствам — значит, оставить след в памяти окружающих, а это вещь непростительная. Пусть наша жизнь будет такой же, как наши лица, пусть не будет на ней ни складок, ни морщинок — даже от смеха. Только тогда мы будем действительно «цивилизованными людьми».

Шелтон чувствовал, что Антонию томит смутное беспокойство. То, что он дал волю своим чувствам, было,

пожалуй, даже естественно и могло лишь на мгновение смутить ее, но благодаря ему у нее появилось ощущение, будто и она дала волю своим чувствам, а это уже было совсем другое дело.

— Вы разрешите мне заглянуть в «Голову епископа» и узнать, нет ли для меня писем? — спросил он, когда они проезжали мимо старой гостиницы.

Шелтону подали засаленный тонкий конверт, на котором старательным четким почерком было выведено: «М-ру Ричарду Шелтону, эсквайру», — казалось, человек, писавший эти строки, вложил в них всю душу, только бы письмо дошло по назначению. Оно было трехдневной давности, и, как только всадники тронулись в путь, Шелтон принялся читать его. Оно гласило:

«Гостиница
«Королевский павлин».
Фолкстон.

Mon cher monsieur Шелтон!

Вот уже третий раз берусь я за перо, чтобы написать Вам, но так как я ничем не могу похвастать, кроме неудач, то все откладывал письмо до лучших дней. В самом деле, мною овладело столь глубокое уныние, что, если бы я не считал своим долгом сообщать Вам о своей судьбе, — право, не знаю, хватило ли бы у меня духа написать Вам даже сейчас. *Les choses vont de mal en mal*¹. Говорят, здесь никогда еще не было такого плохого сезона. Полный застой. И тем не менее у меня тысяча мелких дел, которые отнимают уйму времени, а оплачиваются так ничтожно, что этого не хватает даже на жизнь. Просто не знаю, как быть; одно мне ясно: в будущем году я сюда ни в коем случае не вернусь. Владелец этой гостиницы, мой дорогой хозяин, принадлежит к той многочисленной категории людей, которые не крадут и не занимаются подлогами лишь потому, что у них нет в этом необходимости, а если бы даже такая необходимость и появилась, у них не хватило бы на это храбрости, — к той категории людей, которые не изменяют женам, потому что в них воспитали веру в незыблемость брака и они знают, что, нарушив брачный обет, они рискуют оказаться в неприятном положении и по-

¹ Дела идут все хуже и хуже (франц.).

губить свою репутацию; которые не играют в азартные игры, потому что не смеют; не пьют, потому что это им вредно; ходят в церковь, потому что туда ходят их соседи, а также для того, чтобы нагулять аппетит к обе-ду; не убивают, потому что, не преступая остальных за-поведей, не имеют к тому оснований. За что же уважать таких людей? А между тем они пользуются большим по-четом и составляют три четверти нашего общества! Эти господа придерживаются одного правила: они закры-вают на все глаза, никогда не утруждают своего мысли-тельного аппарата и плотно затворяют двери, опасаясь, как бы бездомные псы не забрели к ним и не искусили их».

Шелтон перестал читать, чувствуя на себе вопроси-тельный взгляд Антонии, которого он в последнее время стал бояться. В глазах ее был холодный вопрос. «Я жду,— казалось, говорили они.— Я хочу, чтобы вы рас-сказали мне что-нибудь,— что-нибудь полезное, что по-могло бы мне верить в жизнь, но не заставило бы слиш-ком много думать».

— Это письмо от того молодого иностранца,— ска-зал Шелтон и снова погрузился в чтение.

«У меня есть глаза — вот я и пользуюсь ими; к тому же у меня есть нос pour flairer le humbug¹. Я вижу, что никакая самая большая ценность не может сравниться со «свободой мысли». У меня можно отнять что угодно, on ne peut pas m'ôter cela!² Здесь для меня нет никакого будущего, и я, конечно, уже давно бы уехал отсюда, будь у меня деньги, но, как я уже сообщал Вам, то, что я в состоянии здесь заработать, едва дает мне de quoi vivre. Je me sens écœuré³. Не обращайтесь, пожалуйста, внимания на мои иеремиады. Вы же знаете, какой я пес-симист! Je ne perds pas courage!⁴

От души надеюсь, что Вы здоровы. Сердечно жму Вашу руку и остаюсь

Преданный Вам Луи Ферран».

¹ Чтобы учуять ханжество (франц.).

² Но этого у меня отнять нельзя! (франц.)

³ На пропитание. Мне все так опротивело (франц.).

⁴ Я не теряю мужества! (франц.)

Шелтон ехал, держа в руке распечатанное письмо и внутренне негодуя на то странное смятение, которое вызвал Ферран в его душе. Казалось, этот бродяга-иностранец задел в его сердце давно молчавшую струну, и она зазвучала жалобно и возмущенно.

— Что он пишет? — спросила Антония.

Показать ей письмо или нет? Если невозможно сделать это теперь, то что же будет потом, когда они пожениются?

— Не знаю, как и сказать, — ответил он наконец. — В общем не очень веселые вещи.

— Какой он, Дик? Я хочу сказать — внешне. Производит впечатление джентльмена или...

Шелтон чуть не расхохотался.

— В сюртуке у него вполне приличный вид, — ответил он. — Отец его был виноторговцем.

Антония слегка ударила себя хлыстом по юбке.

— Конечно, если там есть что-нибудь, чего мне не полагается знать, то лучше не говорите, — тихо сказала она.

Вместо того чтобы успокоить Шелтона, эти слова оказали на него как раз обратное действие. Такие отношения, когда от жены приходится скрывать половину своей жизни, вовсе не казались ему идеальными.

— Дело только в том, что все это не очень весело, — с запинкой повторил он.

— Ну и не надо! — воскликнула Антония и, тронув лошадь хлыстом, поскакала вперед. — Терпеть не могу все мрачное.

Шелтон закусил губу. Не его вина, что в жизни так много мрачных сторон. Он знал, что ее слова направлены против него, и, как всегда, испугался, заметив, что она им недовольна. И он помчался догонять ее, пустив лошадь галопом по выжженной солнцем траве.

— Что с вами? — спросил он. — Вы рассердились?

— Вовсе нет.

— Дорогая моя, чем же я виноват, что на свете так много невеселого! Ведь у нас есть глаза, — добавил он, вспомнив фразу из письма.

Даже не взглянув на него, Антония снова хлестнула лошадь.

— В общем, я не хочу видеть мрачные стороны жиз-

ни,— сказала она.— И я не понимаю, зачем вам надо их видеть? Нехорошо быть недовольным.

И она усккала вперед.

Не его вина, что в мире существуют тысячи всевозможных людей и тысячи всевозможных точек зрения, с которыми ей никогда не приходилось сталкиваться! «Какое право имеет наш класс смотреть на других сверху вниз? — думал он, прищипывая лошадь.— Мы единственные на свете существа, которые понятия не имеют о том, что такое жизнь».

Антония неслась галопом; из-под копыт ее лошади в лицо Шелтону летели куски высохшего дерна и пыль. Шелтон почти догнал ее,— еще немного, и он сможет достать до нее рукой; но она точно играла с ним: в следующую минуту он снова остался далеко позади.

Антония остановила лошадь у дальней изгороди и, сорвав несколько веточек, стала обмахивать ими разгоряченное лицо.

— Ага, Дик, я знала, что вам не догнать меня! — И она потрепала по шее гнедую кобылу, которая с презрительной насмешкой повернулась в сторону коня Шелтона, раздув ноздри; бока ее бурно вздымались, постепенно темнея от пота.

— Надо ехать ровнее, если мы хотим попасть сегодня домой,— ворчливо заметил Шелтон, соскакивая на землю, чтобы ослабить подпругу.

— Не злитесь, Дик!

— Нельзя так гнать лошадей, они не приучены к этому. Нам лучше возвращаться домой старой дорогой.

Антония опустила поводья и поправила волосы на затылке.

— Это совсем неинтересно,— сказала она,— в оба конца по одной и той же дороге! Ненавижу такие прогулки, так только собак водят гулять.

— Хорошо,— согласился Шелтон. Он подумал, что это позволит им дольше побыть вместе.

Дорога шла все вверх и вверх; с вершины холма открывался вид на леса и пастбища. Вниз они спускались по просеке, и Шелтон подъехал так близко к девушке, что его колено касалось бока ее лошади.

Он смотрел на профиль Антонии и грезил. Она была сама юность — блестящие невинные глаза, пылающие

щеки и безмятежный лоб; но в улыбке ее и в повороте головы было что-то решительное и недоброе. Шелтон протянул руку и дотронулся до гривы ее лошади.

— Почему вы дали обещание выйти за меня замуж? — спросил он.

Она улыбнулась.

— А вы?

— Я? — воскликнул Шелтон.

Она погладила его по руке.

— Ах, Дик! — вздохнула она.

— Я хочу быть для вас всем на свете, — задыхаясь, сказал он. — Вы думаете, это возможно?

— Конечно!

Конечно! Это слово могло означать и очень много и очень мало.

Антония посмотрела вниз на реку, сверкавшую под откосом извилистой серебряной лентой.

— Дик, у нас может быть такая изумительная жизнь! — сказала она.

Хотела ли она этим сказать, что они поймут друг друга, или же им, по освященному веками обычаю, суждено только разыгрывать взаимное понимание?

Они перебрались через реку на пароме и долго ехали молча; за осинами медленно сгущались сумерки. И Шелтону мнилось, что вся красота этого вечера — трепещущие листья деревьев, торжественный молодой месяц в небе, освещенные им венчики горюцвета — лишь отражение красоты Антонии; пряные запахи, таинственные тени, странные шорохи, доносящиеся с полей, посвистывание деревенских парней и всплески водяных птиц — все было полно неизъяснимого очарования. Мелькание летучих мышей, смутные контуры стогов сена, аромат шиповника — все было для него Антонией. Темные круги у нее под глазами обозначились резче, какая-то истома овладела ею, и оттого она казалась еще милее и моложе. На ней как бы лежал отпечаток их родины — суровой и гордой, энергичной и сдержанной, — такой была Англия, пока на лице ее не появилась гримаса алчности, плечи ее не окутала тога богатства и на губах не заиграла улыбка самонадеянности. Прекрасная, беззаботная, свободная!..

Шелтон молчал, и только сердце его стучало.

ПТИЦА ПЕРЕЛЕТНАЯ

В тот вечер, после прогулки, когда Шелтон уже собрался ложиться спать, взгляд его упал на письмо Феррана, и он, побуждаемый смутным чувством долга, стал перечитывать его, борясь со сном. В темной, обшитой дубом спальне мягкий свет свечей падал на кровать с колонками, под балдахином из алого штофа, застланную тончайшими простынями. Медный кувшин с горячей водой, стоявший на умывальнике, серебряная оправа щеток, начищенные башмаки — все кругом блестело; мрачно было только лицо Шелтона, склоненное над желтоватой бумагой, которую он держал в руке.

«Бедняге, конечно, нужны деньги», — подумал он. Но почему надо без конца помогать человеку, которому он ничем не обязан, человеку безнадежному, неисправимому? Пусть тонет; долг Шелтона перед обществом — не протягивать ему руку помощи. Утонченные манеры этого бродяги разжалобили Шелтона, тогда как деньги эти следовало бы пожертвовать больницам или любым другим благотворительным учреждениям, но только не иностранцам. Оказывать помощь человеку, не имеющему на то никаких прав, уделять ему частицу себя — пусть даже это выражается в дружеском кивке головой, — и все только потому, что этому человеку не повезло... какая сентиментальная глупость! Пора положить этому конец! Но в ту минуту, когда Шелтон пробормотал эти слова, в нем шевельнулась врожденная честность. «Какое лицемерие! — подумал он. — Тебе, голубчик, просто жаль расстаться с деньгами!»

И вот Шелтон, как был, без сюртука, подсел к столу и на бумаге с адресом и гербом Холм-Окса написал Феррану записку:

«Дорогой Ферран!

Мне очень жаль, что дела Ваши плохи. Вам, видно, чертовски не везет. Надеюсь, что, когда Вы получите эти строки, дела Ваши уже поправятся. Мне очень хотелось бы снова встретиться с Вами и поговорить, но я еще некоторое время пробуду вне Лондона и сомневаюсь,

смогу ли я, даже когда вернусь, заехать навестить Вас. Держите меня au courant¹ всех Ваших передвижений. Посылаю Вам чек.

Искренне Ваш *Ричард Шелтон*».

Тут внимание Шелтона отвлекла залетевшая в комнату ночная бабочка, которая принялась кружить около свечи; пока Шелтон ловил ее и выпускал на свободу, он успел забыть, что не вложил чека в конверт. Утром, когда он еще спал, лакей, придя чистить его платье, забрал вместе с ним и письмо. Так оно и пошло без чека.

Однажды утром, неделю спустя, Шелтон сидел в курительной с джентльменом по имени Мэбби, который рассказывал ему, скольких куропаток он лишил жизни 12 августа прошлого года и скольких собирается лишить жизни 12 августа в этом году, как вдруг дверь отворилась и вошел дворецкий с таким видом, словно собирался сообщить некую роковую тайну.

— Вас спрашивает какой-то молодой человек, сэр, — тихо сказал он, наклоняясь к Шелтону. — Но не знаю, желаете ли вы принять его, сэр.

— Молодой человек? — повторил Шелтон. — Что за молодой человек?

— Я сказал бы, что он похож на иностранца, сэр, — извиняющимся тоном сказал дворецкий. — Он в сюртуке, но выглядит так, словно немало прошел пешком.

Шелтон поспешно встал: описание незнакомца не предвещало ничего хорошего.

— Где он?

— Я провел его в заднюю комнатку на половине молодых леди, сэр.

— Хорошо, — сказал Шелтон. — Я сейчас выйду к нему...

«Какого черта!» — подумал он, сбегая по лестнице.

Со странной смесью удовольствия и досады вошел Шелтон в маленькую комнатку, где помещались пернатые и четвероногие любимцы молодых обитательниц дома, их теннисные ракетки, клюшки для гольфа и прочее девичье хозяйство. Ферран стоял под клеткой с канарейкой, сжимая обеими руками шляпу и растерянно улы-

¹ В курсе (франц.).

баясь. На нем был старый сюртук Шелтона, доверху застегнутый; он выглядел бы совсем франтом, если бы не следы утомительного путешествия пешком. К тому же он надел пенсне, несколько скрадывавшее циничное выражение его голубых глаз и вместе с тем не вполне соответствовавшее всему его облику нечестивца и смутьяна. Но даже среди этой чуждой для него обстановки он производил впечатление человека, сознающего, что он делает, и распоряжающегося своей судьбой,— а это и привлекало в нем больше всего.

— Рад вас видеть,— сказал Шелтон, протягивая ему руку.

— Простите мою бесцеремонность,— начал Ферран,— но после всего, что вы для меня сделали, я считал своим долгом предупредить вас о своем отъезде из Англии, если у меня не хватит больше сил искать здесь работу. Деньги мои совсем подходят к концу.

Шелтону показалось, что он уже слышал однажды последнюю фразу.

— Но я писал вам,— сказал он.— Разве вы не получили моего письма?

Легкая судорога передернула лицо скитальца; он достал из кармана письмо и протянул его Шелтону.

— Вот оно, мое.

Шелтон с удивлением уставился на письмо.

— Но ведь я посылал чек! — сказал он.

Ферран без улыбки смотрел на Шелтона, словно тот нанес ему тяжкое оскорбление, забыв вложить чек в конверт.

Шелтон невольно бросил на него недоверчивый взгляд.

— Я... я же собирался вложить чек,— сказал он.

Ферран, у которого хватило такта промолчать, лишь скривил губы. «Я способен на многое, но только не на это»,— казалось, хотел он сказать. И Шелтон тотчас почувствовал всю низость своих сомнений.

— Как это глупо у меня вышло,— сказал он.

— Я не собирался являться сюда без приглашения! — воскликнул Ферран.— Я надеялся встретиться с вами где-нибудь поблизости, но, когда добрал сюда, почувствовал, что изнемогаю от усталости. Последний раз я ел вчера в полдень, а прошел я тридцать миль.—

Он передернул плечами.— Вам теперь понятно, почему я должен был как можно скорее удостовериться, что вы здесь.

— Да, конечно...— начал было Шелтон и тотчас запнулся.

— Хотел бы я,— продолжал молодой иностранец,— чтобы кто-нибудь из ваших милейших законодателей оказался в этих местах с одним пенни в кармане. В других странах булочники обязаны продавать покупателю столько хлеба, сколько ему нужно, даже если ему нужно хлеба на пенни, а тут они не продадут и корки дешевле, чем за два пенса. У вас не поощряют бедности.

— Что вы думаете теперь делать? — спросил Шелтон, чтобы выиграть время.

— Как я уже писал вам, в Фолкстоне мне делать нечего, хотя я и пожил бы там еще, если бы у меня были деньги на оплату кое-каких расходов.— Казалось, Ферран решил лишний раз упрекнуть своего покровителя за то, что тот забыл послать ему чек.— Говорят, что к концу месяца дела там должны уллучшиться. Но я подумал, что теперь, когда я уже овладел английским языком, мне, может быть, удастся получить место учителя иностранных языков.

— Понятно,— сказал Шелтон

На самом же деле он ничего не понимал и положительно не знал, как быть. Дать Феррану денег и попросить его убраться отсюда было бы слишком грубо; к тому же у Шелтона в эту минуту не было при себе ни пенса.

— Только умение философски смотреть на жизнь помогло мне пережить эту неделю,— продолжал Ферран, пожимая плечами.— В прошлую среду, когда я получил ваше письмо, у меня было ровно восемнадцать пенсов в кармане, и я решил поехать к вам. На эти деньги я и добрался сюда. Но силы мои почти иссякли.

Шелтон потер подбородок.

— Постараемся что-нибудь придумать,— начал было он, но тотчас заметил по лицу Феррана, что кто-то вошел в комнату. Обернувшись, он увидел в дверях Антонию.

— Одну минуту,— пробормотал он и, подойдя к Антонии, вышел с ней из комнаты.

Как только они очутились за дверью, она спросила с улыбкой:

— Это, конечно, тот самый молодой иностранец? Вот интересно!

— Да,— медленно ответил Шелтон.— Он пришел посоветоваться со мной насчет места учителя или чего-нибудь в этом роде. Как вы думаете, ваша матушка не будет возражать, если я проведу его наверх, чтобы он мог умыться? Он долго шел пешком. И нельзя ли дать ему позавтракать? Он, должно быть, голоден.

— Конечно! Я сейчас скажу Добсону. Хотите, я поговорю об этом с мамой? Он выглядит очень мило, Дик.

Шелтон украдкой бросил на нее благодарный взгляд и вернулся к своему гостю; что-то побудило его скрыть от Антонии истинное положение вещей.

Ферран стоял на том же месте, где его оставил Шелтон; лицо его по-прежнему хранило оскорбительно-бесстрастное выражение.

— Пойдемте ко мне! — сказал Шелтон; и, пока его гость мылся, причесывался и чистился, Шелтон, глядя на него, подумал, что у Феррана вполне приличный вид, и был признателен ему за это.

Воспользовавшись минутой, когда молодой человек стоял к нему спиной, Шелтон перелистал корешки своей чековой книжки. Никакого следа чека, выписанного на имя Феррана, естественно, не было, и Шелтон острее, чем когда-нибудь, почувствовал угрызения совести.

Миссис Деннант прислала слугу сказать, что завтрак подан; Шелтон провел Феррана в столовую и оставил его там, а сам направился к хозяйке дома. По дороге он встретил Антонию, которая спускалась вниз.

— Я не помню: сколько дней, вы сказали, он в тот раз не ел? — мимоходом спросила она.

— Четыре.

— У него далеко не заурядный вид, Дик!

Шелтон недоверчиво посмотрел на нее.

«Надеюсь, они не собираются устраивать из этого спектакль!» — подумал он.

Миссис Деннант сидела за столом и писала; на ней было темно-синее платье в белый горошек, с воротничком из тончайшего батиста, отделанным черной бархаткой.

— Вы не видели мой новый гибрид? Это Алджи привез мне из Кидстона. Правда, очаровательный? — И она наклонилась к бесподобной розе.— Говорят, это един-

ственный в своем роде экземпляр. Мне ужасно хочется узнать, правда ли это. Я сказала Алджи, что у меня непременно должна быть такая роза.

Шелтон подумал о единственном в своем роде экземпляре, который завтракал сейчас внизу; хотел бы он, чтобы миссис Деннант проявила к нему такой же интерес, как к своей розе. Но Шелтон знал, что это желание нелепо, ибо над высшими классами властвует могущественный закон, повелевающий им непременно увлекаться чем-нибудь и куда больше интересоваться птицами, розами, миссионерами или редкостными старинными книгами в дорогих переплетах — словом, вещами, с которыми известно, как обращаться, — чем проявлениями человеческой жизни, проходящей у них на глазах.

— Ах да, Дик! По поводу этого молодого француза... Антония говорит, что он хотел бы получить место учителя. Скажите, вы в самом деле можете рекомендовать его? Миссис Робинсон из Гейтуэйз ищет преподавателя языков для своих мальчиков; к тому же, если бы этот француз был вполне приемлем, его можно было бы взять для Тоддлса: мальчику, право, пора заняться французским; ведь он через полгода пойдет в Итон.

Шелтон внимательно посмотрел на розу; он вдруг понял, почему эти люди больше интересуются розами, нежели своими ближними, — цветами можно интересоваться со спокойным сердцем.

— Видите ли, он не француз, — сказал Шелтон, чтобы немного выиграть время.

— Но и не немец, я надеюсь, — заметила миссис Деннант, проводя рукой по лепестку розы, словно для того, чтобы лучше запомнить ее очертания. — Я не люблю немцев. Это не тот ли, о ком вы писали, — молодой человек, у которого так неудачно сложилась жизнь? Как жаль, когда это случается с такими молодыми людьми! Вы, кажется, рассказывали, что отец его был торговцем. Антония говорит, что у него вполне пристойный вид.

— О да, — поспешил подтвердить Шелтон, почувствовав наконец твердую почву под ногами. — У него вполне пристойный вид.

Миссис Деннант взяла розу и понюхала ее.

— Дивный аромат! Так это он бродил голодный по Парижу? Помню, помню, очень трогательная история!

У старой миссис Хопкинс есть комната, которую она собирается сдавать. Мне бы очень хотелось оказать ей услугу. Впрочем, боюсь, что там дыра в потолке. Или вот у нас есть комната в левом крыле, внизу, где когда-то спал лакей Джон. Вполне приличная комната; может быть, поселить его там?

— Вы чрезвычайно добры,— сказал Шелтон,— однако...

— Мне хотелось бы как-то помочь ему вновь обрести чувство собственного достоинства,— продолжала миссис Деннант,— при условии, конечно, что он умен, как вы говорите, и тому подобное. Если он снова поживет в хорошем обществе, это может иметь для него огромное значение. Так грустно, когда молодой человек перестает уважать себя!

Шелтон был немало поражен тем, как практично она смотрит на жизнь. «Помочь вновь обрести чувство собственного достоинства!» Это звучало великолепно! Он улыбнулся и сказал:

— Вы слишком добры! Я думаю...

— Я не умею останавливаться на полпути,— сказала миссис Деннант.— Надеюсь, он не пьет?

— Нет, что вы,— успокоил ее Шелтон.— Правда, он страстный курильщик.

— Ну, это еще ничего... Вы представить себе не можете, сколько хлопот мне доставляли пьяницы, особенно кухарки и кучера. А теперь еще и Баньян начал пить.

— О, Ферран не доставит вам никаких хлопот,— сказал Шелтон.— По манерам во всяком случае — это настоящий джентльмен!

Миссис Деннант улыбнулась мягкой, доброй улыбкой.

— Это, милый Дик, небольшое утешение,— сказала она.— Возьмите бедного Бобби Сэрсинкла, возьмите Оливера Сэмплса, Виктора Медэллиона — лучших семей просто не сыщешь!.. Впрочем, если вы уверены, что он не пьет... Алджи, конечно, будет смеяться, но это неважно, он над всем смеется.

Шелтон почувствовал себя виноватым: он никак не ожидал, что его подопечный будет так быстро принят в этой семье.

— Я, право, думаю, что в нем немало хорошего,—

проговорил он,—но, конечно, я не очень много знаю о нем, а судя по тому, что он мне рассказывал, у него была прелюбопытная жизнь. Я не хотел бы...

— Где он воспитывался? — спросила миссис Деннант.— Мне говорили, что во Франции нет таких закрытых школ, как у нас, но он, конечно, не виноват в этом, бедный юноша! Ах да, Дик, еще одно: у него есть родственники? С этим нужно быть очень осторожным! Помочь одинокому молодому человеку — одно дело, но помогать еще и его семье — это уже совсем другое. Вспомните, как бывает, когда мужчины женятся на бесприданницах!

— Он говорил мне,—ответил Шелтон,—что единственные его родственники — какие-то двоюродные братья, к тому же богатые.

Миссис Деннант вынула носовой платок и, нагнувшись над розой, смахнула с нее крошечное насекомое.

— Всюду эта тля,—сказала она.— Очень грустная история! Неужели эти его родственники ничего не могут для него сделать?

И она впиалась взглядом в самое сердце своей редкостной розы.

— Кажется, он с ними поссорился,—сказал Шелтон.— Мне не хотелось расспрашивать его об этом.

— Ну конечно,—рассеянно согласилась с ним миссис Деннант: она нашла еще одну тлю.— Я всегда думала, что, когда человек молод, ему должно быть очень тяжело без друзей.

Шелтон молчал, погружившись в глубокое раздумье. Никогда еще он так не сомневался в молодом иностранце.

— Я думаю, что лучше всего вам самой на него посмотреть,—сказал он наконец.

— Прекрасно,—сказала миссис Деннант.— Будьте добры, попросите его подняться ко мне. Признаюсь, эта история о его скитаниях в Париже очень меня растрогала. Интересно, можно ли при таком освещении сфотографировать эту розу?

Выйдя из комнаты, Шелтон спустился вниз. Ферран все еще завтракал. Антония стояла у буфета и резала для него мясо, на подоконнике сидела Тея с персидским котенком на руках.

Обе девушки непроницаемыми голубыми глазами следили за каждым движением скитальца. Дрожь пробежала у Шелтона по спине. В глубине души он проклял появление Феррана, словно оно могло как-то повлиять на его отношения с Антонией.

ГЛАВА XXVII

В ТАЙНИКАХ ДУШИ

Разговор между Ферраном и миссис Деннант, к которому Шелтон прислушивался не без тайного удовольствия, привел к вполне ощутимым результатам; главное, что молодому скитальцу разрешено было поселиться в комнате, которую в свое время занимал лакей Джон. Шелтон был искренне восхищен тем, как Ферран держал себя во время этой беседы. Он умел изумительно тонко сочетать почтительность с достоинством; изумительной была и затаенная улыбка на его губах.

— Знаете, Дик, он очень, очень мил, — сказала миссис Деннант как раз в ту минуту, когда Шелтон собирался повторить ей, что он почти не знает Феррана. — Я немедленно пошлю записку миссис Робинсон. Они довольно простые люди, эти Робинсоны. Я думаю, они возьмут любого человека с моей рекомендацией.

— Конечно, возьмут. Вот почему, по-моему, вам следовало бы знать... — начал было Шелтон.

Но блестящие заячьи глаза миссис Деннат были устремлены куда-то вдаль. Обернувшись, Шелтон увидел розу в высокой вазе на высокой тонконогой жардиньерке. Залитая ярким солнцем, она, казалось, кивала им. Миссис Деннант бросилась к фотоаппарату и уткнулась в него носом.

— Вот сейчас свет просто идеальный, — слышался из-под черного покрывала ее приглушенный голос. — Я уверена, что жизнь среди порядочных людей окажет на него поистине чудодейственное влияние. Он понимает, конечно, что кушать он будет отдельно.

Теперь, когда его усилия увенчались успехом и подопечный его получил место, где требовалось оправдать доверие, Шелтону оставалось лишь надеяться, что все сойдет благополучно; он инстинктивно чувствовал, что

Ферран хоть и бродяга, но слишком уважает себя, чтобы отплатить за все черной неблагодарностью.

В самом деле, как и предвидела миссис Деннант, которая отнюдь не лишена была здравого смысла, все устроилось превосходно. Ферран приступил к исполнению своих обязанностей по обучению маленьких Робинсонов французскому языку. А в Холм-Оксе он безвыходно сидел в своей комнате, которую день и ночь прокуривал табаком, и только в полдень появлялся либо в саду, либо, если шел дождь, в кабинете, где давал уроки французского языка юному Тоддлсу. Вскоре он стал завтракать вместе с хозяевами; произошло это отчасти по ошибке Тоддлса, который, видимо, считал такое положение вещей вполне естественным, а отчасти благодаря Джону Ноблу, приятелю Шелтона, который приехал погостить в Холм-Окс и обнаружил, что Ферран невероятно интересный человек,— впрочем, он всюду обнаруживал каких-нибудь невероятно интересных людей. Поминутно отбрасывая волосы со лба, он рассуждал о Ферране своим ровным, унылым голосом, с воодушевлением, которого как будто сам немного стеснялся, словно говоря: «Я, конечно, знаю, что все это очень странно, но, право же, он такой невероятно интересный человек!» Нужно сказать, что Джон Нобл был политическим деятелем и принадлежал к одной из тех двух своеобразных партий, члены которых всегда чем-то очень заняты, необычайно серьезны, неподкупно честны и вдобавок органически враждебны чему бы то ни было своеобразному, ибо боятся преступить границы «практической политики». Поэтому Нобл, несомненно, внушал доверие; он интересовался только тем, что могло принести ему прямую выгоду, обладал удивительной порядочностью и слабо развитым воображением. С Ферраном он беседовал на самые разнообразные темы,— как то раз Шелтон услышал, что они спорят об анархизме.

— Ни один англичанин не одобряет убийства,— говорил Нобл мрачным голосом, который так не вязался с его задорной манерой держать свою красивую голову,— но в главном анархисты абсолютно правы. Рано или поздно наступит такое время, когда собственность будет поровну поделена между всеми. Я симпатизирую анархистам, но не их методам.

— Простите,— перебил его Ферран,—а вы знаете хоть одного анархиста?

— Нет,—ответил Нобл,— конечно, нет!

— Вы говорите, что симпатизируете им, но как только дело дойдет до действий...

— Ну и что же?

— О мосье, анархисты действуют не только рассуждениями.

Шелтон почувствовал, что Феррану хотелось добавить: «А и сердцем, легкими, печенкой». Он стал вдумываться в то, что хотел сказать Ферран, и ему показалось, что вместе с дымом тот выдохнул слова: «Да что вы знаете о нас, отверженных, вы, английский джентльмен с блестящим положением, насквозь пропитанный предрассудками своего класса! Если вы хотите понять нас, вы тоже должны стать отверженным,— для нас ведь это не игрушки».

Разговор этот происходил на лужайке, после того как Ферран кончил свой урок с Тоддлсом. Шелтон оставил Джона Нобла упрямо доказывать молодому иностранцу, что у него, Джона Нобла, много общего с анархистами, и направился к дому, но из-под развесистого каменного дуба раздался голос, окликнувший его по имени. Там, на траве, с трубкой в зубах, сидел по-турецки человек, который прибыл накануне вечером и сразу поразил Шелтона своей дружелюбной молчаливостью. Звали его Уиддон, он только что вернулся из Центральной Африки; это был загорелый мужчина, крепкий, худощавый, с тяжелым подбородком и спокойными, добрыми глазками.

— Простите, мистер Шелтон,— начал он,— не могли бы вы сказать мне, сколько нужно давать прислуге на чай; за десять лет отсутствия я перезабыл все эти тонкости.

Шелтон сел рядом и, бессознательно подражая позе Уиддона, тоже скрестил ноги, что оказалось очень неудобным.

— Я слушал, как этот мальчуган занимался французским,— сказал новый знакомый Шелтона.— Я совсем забыл этот язык. Чувствуешь себя страшным тупицей, когда не знаешь ни одного языка.

— А разве вы не говорите по-арабски? — спросил Шелтон.

— Да, я знаю арабский и еще два-три туземных диалекта, но они не в счет. Какое любопытное лицо у этого учителя!

— Вы находите? — с интересом спросил Шелтон. — У него была любопытная жизнь.

Путешественник оперся о траву ладонями и с улыбкой посмотрел на Шелтона.

— Я назвал бы его непоседой, — сказал он. — Даже в Центральной Африке мне доводилось встречать белых, во многом похожих на него.

— Вы поставили правильный диагноз, — сказал Шелтон.

— Мне всегда жаль таких людей. Обычно в них бывает немало хорошего. Но они сами себе враги. Плохо, когда человек не делает ничего такого, чем он мог бы гордиться.

На лице его появилось выражение жалости.

— Вот именно! Я много раз пытался выразить это словами, но не мог, — сказал Шелтон. — Скажите, это неизлечимо?

— Думаю, что да.

— А можете вы объяснить, почему?

Уиддон задумался.

— Мне кажется, это происходит потому, что у таких людей слишком развита способность критически смотреть на мир. Нельзя научить человека гордиться своей работой, — это чувство врожденное.

И, скрестив руки на груди, Уиддон глубоко вздохнул. Он сидел в тени под густой листвой, глядя на освещенный солнцем сад, — типичный англичанин, из тех, что сохраняют бодрость духа, а тело изнуряют тяжелым трудом где-нибудь на краю света.

— Вы представить себе не можете, как хорошо быть дома! — сказал он, широко улыбаясь. — Только когда живешь вдали от родины, начинаешь по-настоящему любить ее.

Впоследствии Шелтон часто вспоминал характеристику, которую Уиддон дал бродяге, — снова и снова он сталкивался со способностью Феррана подвергать все тонкой и острой критике, за которую его главным образом и считали «невероятно интересным», хотя порою и малоприятным человеком.

В доме гостил школьный приятель Шелтона со своей женой; эта пара могла служить примером идеального супружества. Они всегда были такие спокойные и веселые, что невозможно было представить себе их ссорящимися. Шелтон, чья спальня примыкала к их комнате, слышал, как они разговаривали по утрам тем же тоном, что и за завтраком, и смеялись точно таким же смехом. По-видимому, они были вполне удовлетворены своей жизнью; общество поставляло им убеждения точно так же, как универсальные магазины поставляли все необходимое для жизни. Их в меру красивые и в меру добрые лица, выражение которых быстро и безотказно изменялось в соответствии с любыми обстоятельствами, стали так раздражать Шелтона, что, оказавшись с ними в одной комнате, он старался уткнуться в книгу; лишь бы не смотреть на них. А ведь это были добрые люди — то есть в меру добрые — и вели себя в доме тихо, кроме тех случаев, когда смеялись, что бывало с ними довольно часто, и притом по таким поводам, которые у Шелтона вызывали желание выть, как воет собака, слышав музыку.

— Мистер Шелтон,— сказал как-то Ферран,— я вообще не сторонник брака: у меня самого, как вы понимаете, не было возможности жениться, но, глядя на некоторых людей, живущих здесь, я тем более очень и очень подумал бы, прежде чем совершить этот шаг. Они производят впечатление идеальной молодой пары — никогда не ссорятся, всегда хорошо себя чувствуют, живут со всеми в согласии, ходят в церковь, рожают детей... но скажите, есть ли в их жизни хоть какая-то красота? — Он поморщился.— Их совместная жизнь кажется мне настолько уродливой, что, глядя на них, я начинаю задыхаться. По-моему, уж лучше бы они дурно обращались друг с другом, по крайней мере видно было бы, что в них есть хоть что-то живое. Если это называется браком, то *Dieu m'en garde!*¹.

Но Шелтон, глубоко задумавшись, молчал.

Слова Джона Нобла: «Он, право же, невероятно интересный человек» — все сильнее раздражали его: они,

¹ Упаси меня бог! (франц.).

казалось, объясняли отношение Деннантов к этому пришельцу, оказавшемуся у них в доме. Хозяева относились к нему с некоторой осторожностью, как к экспонату с выставки, на котором повешена дощечка: «Руками не трогать!» Впрочем, чувство собственного достоинства возрождалось у Феррана довольно быстро. Хотя при взгляде на него по-прежнему казалось, что он вырос из платья, которое подарил ему Шелтон, хотя лицо его было все таким же загорелым, а на губах все так же то появлялась вдруг, то исчезала циничная усмешка, Ферран делал честь своим покровителям. Он поборол в себе ужас перед бритвой и очень неплохо выглядел в летнем костюме Шелтона. В конце концов прошло всего восемь лет с тех пор, как он перестал вращаться среди пристойных людей; к тому же половину этого срока он работал официантом. И, однако, Шелтон желал, чтобы он провалился ко всем чертям. Не манеры его раздражали Шелтона: он с живейшим интересом наблюдал за тем, как тонко этот оборванец умел согласовать свое поведение с поведением хозяев дома, не переставая держаться обособленно и критически относиться ко всему,— а то, что эта обособленность и критическое отношение к жизни заставляли самого Шелтона анализировать среду, в которой он родился и собирался строить свою семейную жизнь. Это была мучительная работа мысли, и, чтобы выяснить, когда она началась, Шелтону пришлось бы вернуться к своей встрече с Ферраном на пути из Дувра.

Гостеприимство, которое Деннанты оказывали такой странной птице, как Ферран, несомненно, было вызвано их добротой; признав это, Шелтон стал анализировать природу этой доброты. Для него самого, для людей его класса это чувство было роскошью, не требующей жертв, но вызывающей приятное ощущение, словно массаж ног. «Все тут добрые,— думал Шелтон.— Вопрос в том, скрывается ли под этой добротой хоть какое-то понимание горя, подлинное сочувствие?» Эта проблема дала ему немалую пищу для размышлений.

Быстрое приспособление Феррана к чуждой ему среде, о котором нередко говорила миссис Деннант, указывало, по мнению Шелтона, лишь на желание как можно лучше использовать свое неожиданное пребывание на этих тучных пастбищах. Шелтон подумал, что на месте

Феррана он и сам поступал бы точно так же. Он понимал, что молодой иностранец расшаркивается перед собственностью, и куда больше уважал в нем идущую от сердца язвительную усмешку.

Очень скоро в общем настроении произошла неизбежная перемена; Шелтон все острее ощущал какое-то необъяснимое беспокойство, которым, казалось, был насыщен самый воздух.

— И странного же субъекта вы откопали, Шелтон,— сказал ему раз мистер Деннант, когда они играли в крокет.— Боюсь, из него никогда не выйдет толку.

— В определенном смысле, думаю, что нет,— согласился Шелтон.

— Вы все знаете о нем? Держу пари на шесть пенсов...— Мистер Деннант сделал паузу, чтобы не промахнуться молотком по шару,— что он сидел в тюрьме.

— В тюрьме? — вскричал Шелтон.

— По-моему,— продолжал мистер Деннант, сгибая колени, чтобы лучше нацелиться для нового удара,— вам следовало бы навести справки... Эх, промахнулся! До чего же нелепые ворота!.. Всему должен быть предел.

— Я никогда не мог установить, где он, этот предел.— ответил Шелтон настороженно и смущенно.— Но я понял: я намекну ему, чтобы он уехал.

— Не обижайтесь, дорогой мой Шелтон,— начал мистер Деннант, следуя за своим вторым шаром, который Шелтон отогнал на дальний конец площадки,— и, пожалуйста, ни на что ему не намекайте. Он меня очень интересуется — такой умный, спокойный молодой человек.

Наблюдая за поведением мистера Деннанта в присутствии молодого бродяги, Шелтон пришел к выводу, что хозяин дома говорит не то, что думает. За привычно шутливым тоном и насмешливой маской на бледном лице ясно чувствовалось, как хорошо понимает мировой судья Алджернон К. Деннант, привыкший насмехаться над другими, догадывается, что на сей раз насмеваются над ним. Естественно, он пытался уяснить себе, как это могло случиться. Какой-то бродяга, да к тому же иностранец, заставил английского мирового судью обращать внимание на свою особу,— одно это уже делало немалую честь Феррану. Ферран мог не сказать ни слова за весь обед и все же произвести определенное впечатление. Он—

предмет их забот, воспитания и покровительства — внушал им страх. Сомнений не было: они боялись не Феррана, а чего-то непонятного в нем, — они боялись острых умозаключений, которые рождались в извилинах мозга, скрытого под этими прямыми, влажными на вид волосами, боялись непонятной улыбки, которая кривила резко очерченные губы под тонким длинным носом.

Но для Шелтона в этой истории с Ферраном, как и во всем остальном, имела значение только Антония. Сначала, стараясь показать, что она верит своему жениху, Антония, казалось, готова была без конца ублажать его подопечного, словно и она от души стремилась наставить его на путь истинный; но, следя за тем, каким взглядом она смотрела на Феррана, Шелтон всякий раз вспоминал слова, сказанные ею на другой день после его приезда в Холм-Окс: «Я думаю, на самом деле он хороший — по моему, все то, о чем он вам рассказывал, было лишь...»

Во взгляде ее по-прежнему сквозило любопытство, и она никогда не забывала о том, что Ферран голодал четыре дня, — это событие казалось ей необычайно красочным и вызывало куда больше сочувствия и интереса, нежели сам человек, с которым так странно столкнула ее судьба. Она наблюдала за Ферраном, а Шелтон наблюдал за ней. Если бы ему сказали, что он за ней наблюдает, он с полной искренностью стал бы отрицать это, но он не мог поступить иначе, ибо хотел понять, как же воспринимает Антония этого их гостя, который олицетворял собою мятежную сторону жизни, все, чего не было в ней самой.

— Дик, — сказала ему однажды Антония, — почему вы никогда не говорите со мной о мосье Ферране?

— А вы хотите поговорить о нем?

— Вам не кажется, что он изменился к лучшему?

— Он пополнил.

Лицо Антонии стало серьезным.

— Нет, в самом деле.

— Не знаю, — сказал Шелтон. — Мне трудно судить о нем.

Антония отвернулась, и что-то в ее движении встревожило Шелтона.

— Ведь он был когда-то почти джентльменом, — сказала она. — Почему же он не может снова стать им?

Антония сидела на низкой стене, отделявшей огород от сада; позади нее росло сливовое дерево, и золотистые плоды его обрамляли ее головку. Густая листва каменного дуба заслоняла солнце, но узкий сноп лучей, пробившись между листьями, освещал ветви сливы над головой Антонии, венчая ее сияющей короной. В этих золотых лучах ее одежда, темные листья, красные кирпичи стены, золотистые сливы— все сливалось в одно язычески яркое пятно. А лицо Антонии было в тени—целомудренное и спокойное, как тихий летний вечер. В смородиновых кустах еле слышно пела какая-то птичка, и казалось, что каждая веточка сливового дерева дышит, живет.

— Возможно, он вовсе и не хочет быть джентльменом,— сказал Шелтон.

Антония переменила позу.

— Но как он может не хотеть?

— Возможно, он иначе смотрит на жизнь.

Антония молчала.

— Я не знала, что можно по-разному смотреть на жизнь,— проговорила она наконец.

— Вы не найдете и двух людей с одинаковыми взглядами,— холодно ответил Шелтон.

Солнечный луч погас, и дерево померкло. Очертания его стали жестче, резче; теперь это было уже не красочное пятно, пестрое и бесстрастное, как восточная богиня, а обычное северное дерево, сквозь листву которого пробивался серый вечерний свет.

— Я совсем не понимаю вас,— сказала Антония.— Все люди хотят быть хорошими.

— И хотят жить спокойно? — мягко подсказал Шелтон.

Антония удивленно посмотрела на него.

— Предположим...—сказал Шелтон.—Я точно ничего не знаю, но предположим, что Ферран больше всего хочет, чтобы его поступки отличались от поступков других людей. Скажем, если бы вы предложили ему рекомендацию и много денег, поставив условием, чтобы он жил так, как все, вы думаете, он согласился бы?

— А почему же нет?

— Почему кошки не собаки, а язычники не христиане?

Антония соскользнула со стены.

— Вы, видимо, считаете, что не стоит и пытаться переделать его,— сказала она и, повернувшись, пошла прочь.

Шелтон хотел было пойти за ней, но вдруг остановился, глядя вслед ее медленно удаляющейся фигуре с узкими бедрами и заложенными за спину руками; голова ее отчетливо выделялась на фоне зелени, поверх ограды. Она задержалась у поворота, оглянулась и, нетерпеливо махнув рукой, исчезла.

Антония ускользала от него!

Взгляни он на себя со стороны, и ему стало бы ясно, что это он уходит от нее, а она неподвижно стоит на месте, словно человек на берегу, который следит за течением потока ясными, широко раскрытыми, злыми глазами.

ГЛАВА XXVIII

НА РЕКЕ

Однажды, в конце августа, Шелтон предложил Антонии покататься по реке — по реке, которая, словно тихая музыка, баюкает землю, которая среди камыша и тополей катит мимо лесистых берегов свои воды, где под солнцем, и под луной, и под тяжелыми, сумрачными облаками белеют, словно крылья лебедей, серебристые паруса, где не смолкают голоса кукушек и ветра, где воркуют голуби и журчат ручейки у запруды; где среди всплесков воды, рассекаемой обнаженным телом, среди колеблющихся листьев водяных лилий, среди сказочных чудищ-коряг и призрачного переплетения древесных корней воскресает Пан.

Плес, который выбрал для своей прогулки Шелтон, никогда не служил местом пикников, где хлопают пробки от шампанского и раздаются взрывы смеха,— это было место дикое, почти не подвергавшееся столь благоприятствующему влиянию человека. Шелтон греб молча, погружившись в свои мысли и не отрывая взгляда от Антонии. В ней чувствовалась необычная истома: под глазами легли тени, словно она не спала ночь; румянец на щеках чуть побледнел, а платье, казалось, было соткано из

золота. Она попросила Шелтона направить лодку в камыши и, наклонившись, сорвала две круглые лилии, которые, словно корабли, покачивались на лениво текущей воде.

— Давайте свернем куда-нибудь в тень,— сказала она.— Здесь слишком жарко.

Поля полотняной шляпы закрывали ей лицо, но головка девушки безвольно поникла, словно цветок, припекаемый полуденным солнцем.

Шелтон увидел, что жара в самом деле утомила ее, подобно тому как слишком жаркий день лишает северное растение его льдистой свежести. Он опустил весла, и по воде пошли круги, которые расплывались все шире и шире, пока не достигли берега.

Он направил лодку в заводь и, приподнявшись, ухватился за ветви нависшего над водою дерева. Ялик остановился, недовольно покачиваясь, словно живое существо.

— Я бы ни за что не согласилась жить в Лондоне,— внезапно сказала Антония.— Эти ужасные трущобы! Как жаль, что на свете есть такие места. Но не стоит думать об этом.

— Нет,— медленно ответил Шелтон,— я тоже считаю, что не стоит.

— В дальнем конце Кросс-Итона есть совсем плохие дома. Как-то раз я была там с мисс Трукот. Эти люди ничего не хотят сами для себя делать. А людям, которые ничего не хотят для себя делать, и помогать не хочется.

Упершись локтями в колени и положив подбородок на руки, Антония смотрела на Шелтона. Над ними навис шатер из мягкой густой листвы, а внизу в воде колыхались темно-зеленые отражения. Ветви плакучей ивы качались над лодкой, лаская плечи и руки Антонии, но не задевая ее лица и волос.

— Право же, им помогать не хочется,— снова сказала она.

Наступило молчание. Антония, казалось, глубоко задумалась.

— Что пользы сомневаться? — внезапно сказала она.— Сомнениями делу не поможешь. Главное — одерживать победы.

— Победы? — переспросил Шелтон.— Я предпочел бы понимать, а не побеждать.

Он встал и, ухватившись за ветку, подтянул лодку ближе к берегу.

— Как вы можете относиться ко всему безразлично, Дик? Вы прямо как Ферран!

— Разве вы такого плохого мнения о нем? — спросил Шелтон.

Он чувствовал, что ему вот-вот откроется нечто интересное.

Антония глубже уткнулась подбородком в ладони.

— Сперва он мне нравился, — сказала она. — Но я представляла его себе совсем другим. Я не думала, что он в самом деле...

— В самом деле — что?

Антония не отвечала.

— Право, не знаю, — сказала она наконец. — Мне трудно это объяснить. Я думала...

Шелтон продолжал стоять, держась за ветку; лодка, покачиваясь, колебала воду, испещряя легкой рябью ее гладь.

— Что же вы думали? — спросил он.

Взгляни Шелтон на нее, он увидел бы, что ее лицо стало еще более юным и каким-то по-детски застенчивым. И детским, нежным голоском она отчетливо сказала:

— Знаете, Дик, я в самом деле считаю, что мы должны постараться его исправить! Я знаю, что сама далеко не все для этого делаю. Но сколько ни думай, ничего не придумаешь: все так запутано, что просто не за что ухватиться. А я ненавижу чувство неуверенности. Ведь дело вовсе не в том, что не знаешь, как следует поступать. Иногда я думаю, думаю, и все напрасно, только зря время теряю, и под конец появляется такое ощущение, словно все, что ни делаешь, плохо.

Шелтон нахмурился.

— Хорошо лишь то, что может выдержать любую проверку, — сказал он и, отпустив ветку, сел на свое место.

Ничем не сдерживаемую лодку стало относить от берега.

— Но что вы хотели сказать о Ферране?

— Вчера я долго не спала и все думала, чем он вам так нравится. В нем столько озлобленности, при нем я чувствую себя совсем несчастной. Он никогда и ничем не

бывает доволен. И он презирает...— лицо ее стало жестким и холодным,— вернее, ненавидит всех нас.

— И я бы ненавидел, будь я на его месте,— сказал Шелтон.

Лодка медленно плыла по течению, и солнечные блики скользили по их лицам. Антония снова заговорила:

— Вот смотришь на него, и кажется, что его интересуют только мрачные стороны жизни и, как видно, это... это... доставляет ему большое удовольствие. Я думала... я думала сначала,— запинаясь, продолжала она,— что мы сумеем оказать на него хорошее влияние.

— Хорошее влияние? Ха-ха-ха!

Вспугнутая его возгласом водяная крыса бросилась в воду и поплыла изо всех сил против течения; Шелтон понял, что совершил роковую ошибку, он внезапно раскрыл Антонии тайну, в которой до сих пор не признавался даже себе самому: что они смотрят на мир разными глазами, что ее отношение к жизни совсем иное, чем у него, и что так будет всегда. Он быстро подавил смех. Антония опустила глаза; лицо ее вновь стало томным, но грудь бурно вздымалась. Шелтон следил за ней, отчаянно стараясь придумать какое-то оправдание роковому смеху, но не мог придумать ничего. Приоткрылась завеса, и правда вырвалась наружу. Шелтон медленно греб вдоль берега, не нарушая глубокого молчания реки.

Ветер стих, кругом была тишина, даже не плескалась рыба, и птицы молчали,— только далеко в небе звенели жаворонки да одинокая горлинка ворковала в соседнем лесу.

Скоро они сошли на берег.

Возвращаясь в шарабане домой, они вдруг увидели за поворотом дороги Феррана в его вечном пенсне; держа в руке папиросу, он разговаривал с каким-то бродягой, который сидел на корточках на берегу. Молодой иностранец, узнав их, тотчас снял шляпу.

— А вот и он,— сказал Шелтон, отвечая на приветствие.

Антония тоже поклонилась.

— О, как бы я хотела, чтобы он уехал!—воскликнула она, когда Ферран уже не мог их слышать.— Я просто видеть его не могу: кажется, будто заглядываешь в пропасть.

В тот вечер Шелтон поднялся к себе в комнату и, готовясь к выполнению неприятной обязанности, набил трубку. Он решил намекнуть Феррану, что ему следует уехать. Он еще обдумывал, как поступить: написать ли Феррану, или самому пойти к нему,—когда раздался стук в дверь и тот появился на пороге.

— Мне было бы очень жаль, если б вы сочли меня неблагодарным,— начал он, первым нарушая неловкое молчание,— но здесь я не вижу для себя никакого будущего. Лучше мне уехать. Меня не может удовлетворить перспектива всю жизнь преподавать иностранные языки — *ce n'est guère dans mon caractère*¹.

Услышав из уст Феррана то самое, что он хотел и не решался сказать, Шелтон возмутился.

— А на что лучшее вы можете рассчитывать?— спросил он, стараясь не встречаться взглядом с Ферраном.

— Благодаря вашей доброте я стал теперь на ноги,— ответил тот,— и считаю, что должен приложить все усилия, чтобы улучшить свое общественное положение.

— Я бы на вашем месте сначала как следует подумал,— сказал Шелтон.

— Я и подумал, и мне кажется, что я понапрасну трачу здесь время. Для человека, у которого есть хоть капля мужества, преподавание языков не занятие, а я при всех своих недостатках все же не потерял мужества.

Шелтон даже забыл раскурить трубку, так тронула его уверенность молодого человека в своих силах,— уверенность вполне искренняя, хотя Шелтон чувствовал, что не она побуждает Феррана уехать отсюда. «Надоело ему все это,— подумал Шелтон.— Вот в чем дело. Ему надоело жить на одном месте». И инстинктивно чувствуя, что нет такой силы, которая могла бы удержать Феррана, Шелтон с удвоенной энергией стал уговаривать его остаться.

— По-моему,— говорил Шелтон,— вам следовало бы пожить здесь и подкопить немного денег, прежде чем отправляться неизвестно куда.

¹ Это не в моем характере (франц.).

— Я не умею копить, — сказал Ферран, — но благодаря вам и вашим милым знакомым у меня есть деньги, чтобы продержаться первое время. Я переписываюсь сейчас с одним приятелем, и для меня крайне важно попасть в Париж до осени, когда все начнут возвращаться туда. Быть может, мне удастся получить место в одной из западноафриканских компаний. Люди наживают там целые состояния — если остаются в живых, — а я, как вам известно, не слишком дорожу жизнью.

— А вы знаете пословицу, что синица в руках лучше журавля в небе? — спросил Шелтон.

— Эта пословица, как, впрочем, и все остальные, справедлива только наполовину, — возразил Ферран. — Весь вопрос в темпераменте. Не в моем характере возиться с синицей, когда я вижу журавля и только от меня зависит его поймать. *Voyager, apprendre, c'est plus fort que moi!*¹ — Глаза его чуть сощурились, на губах появилась насмешливая улыбка; помолчав немного, он продолжал: — К тому же, *mon cher monsieur*, лучше будет, если я уеду. Я никогда не создавал себе иллюзий и сейчас отлично вижу, что мое присутствие лишь с трудом терпят в этом доме.

— Откуда вы это взяли? — спросил Шелтон, чувствуя, что наступил решающий момент.

— Видите ли, дорогой мой сэр, не каждый в этом мире так хорошо все понимает, как вы, и не все, как вы, свободны от предрассудков; и хотя ваши друзья были необычайно добры ко мне, положение мое здесь ложное: я стесняю их; и в этом нет ничего странного, если вспомнить, чем я был до сих пор и что им известна моя история.

— Но только не от меня, — поспешил вставить Шелтон, — потому что я и сам ее не знаю.

— Они чувствуют, что я не их поля ягода, и одного этого уже вполне достаточно, — сказал бродяга. — Они не могут измениться, но и я тоже не могу. Мне никогда не улыбалась роль незваного гостя.

Шелтон отвернулся к окну и стал всматриваться в темноту сада; он никогда не сможет до конца понять этого человека, такого деликатного и вместе с тем такого

¹ Странствовать, узнавать новое — нет, я не в силах отка-
заться от этого! (франц.)

циничного; и ему пришло в голову — не подавил ли в себе Ферран желание сказать: «Ведь и вы вздохнете свободно, когда я уеду отсюда»!

— Что ж,— сказал наконец Шелтон.— Раз решили ехать,— значит, решили, делать нечего. Когда же вы отправляетесь в путь?

— Я договорился с одним человеком, чтобы он отнес мои вещи к утреннему поезду. Мне кажется, что лучше не прощаться. Вместо этого я написал письмо — вот оно. Я не запечатал его, чтобы вы могли прочесть, если захотите.

— Значит, я вас больше не увижу? — спросил Шелтон. Ему стало легко, и грустно, и жаль расставаться с Ферраном.

Ферран украдкой вытер руку и протянул ее Шелтону.

— Я всегда буду помнить, что вы для меня сделали,— сказал он.

— Смотрите, не забывайте писать,— сказал Шелтон.

— Да, да...— Лицо Феррана как-то странно передернулось.— Вы не знаете, как важно иметь человека, которому можно писать: это придает мужества. Надеюсь, наша переписка не скоро оборвется.

«Еще бы ты не надеялся»,— угрюмо подумал Шелтон.

— И я прошу вас помнить, что я никогда и ни о чем вас не просил,— сказал Ферран.— Бесконечно вам благодарен. Прощайте!

Он еще раз стиснул влажной рукой руку своего покровителя и вышел; Шелтон почувствовал, что к горлу его подкатил комок. «И я прошу вас помнить, что я никогда и ни о чем вас не просил...» Слова эти звучали немного странно, и Шелтон стал припоминать все подробности их необычайного знакомства. В самом деле, за все это время молодой человек, в сущности, ни разу ни о чем не просил его. Шелтон сел на кровать и стал читать письмо. Оно было написано по-французски:

«Сударыня (писал Ферран), мне будет невыносимо тяжело, если Вы сочтете, что я отплатил черной неблагодарностью за всю Вашу доброту. К несчастью, в жизни моей произошел критический перелом, и я вынужден покинуть Ваш гостеприимный кров. В жизни любого из

нас, как Вам известно, бывают минуты, когда человек не властен управлять своими поступками. Я знаю, Вы не взыщете с меня за то, что я не вдаюсь в подробности и не поясняю, что именно причиняет мне такое огорчение и, самое главное, дает Вам повод обвинить меня в неблагодарности, которая, поверьте, сударыня, отнюдь мне не свойственна. Я прекрасно понимаю, что поступаю невежливо, покидая Ваш дом, даже не повидавшись с Вами и не выразив лично мою глубокую признательность, но, вспомнив, как трудно мне подчиниться обстоятельствам и расстаться со всем, что так украшает домашний очаг, Вы простите мою слабость... Те, кто подобно мне, шагает по жизни с открытыми глазами, знают, что люди, наделенные богатством, имеют право смотреть сверху вниз на других людей, которые ни по деньгам, ни по воспитанию не могут занимать равное с ними положение. Я далек от того, чтобы оспаривать это естественное и благое право, ибо, если бы между людьми не было никакой разницы, если бы не было высших и низших и на свете не существовало бы совершенно особой расы — людей благородного происхождения и благородного воспитания, остальные люди не знали бы, какому примеру должно следовать в жизни, у них не было бы якоря, который они могли бы бросить в глубины безбрежного моря радостей и невзгод, где все мы носимся по воле волн. Вот потому-то, сударыня, я и почитаю за особое счастье, что в этом горестном странствии, именуемом жизнью, на мою долю выпало несколько минут отдыха под деревом благоденствия. Иметь возможность хотя бы час посидеть под этим деревом и видеть, как мимо бредут скитальцы в лохмотьях и с израненными ногами, скитальцы, которые, несмотря ни на что, сударыня, сохранили в сердце любовь к жизни, противозаконную любовь, опьяняющую, словно воздух пустыни, — если верить путешественникам, — иметь возможность просидеть так хотя бы час и с улыбкой следить глазами за бесконечной вереницей этих скитальцев, хромых и убогих, обремененных тяжким грузом заслуженных бедствий, — вы не можете даже представить себе, сударыня, какое это было для меня утешение. Что бы там ни говорили, а очень приятно видеть страдания других, когда сам благоденствуешь: это так согревает душу.

Я пишу эти строки и вспоминаю, что сам когда-то имел возможность жить в завидном благополучии, и, как Вы можете предположить, сударыня, сейчас я проклинаю себя за то, что у меня хватило храбрости преступить границы этого чудесного, безмятежного состояния. И все же случалось, что я спрашивал себя: «Действительно ли мы чем-то отличаемся от людей имущих, — мы, вольные полевые пташки, с особенным взглядом на жизнь, порожденным нашими страданиями и необходимостью вечно заботиться о хлебе насущном; мы, кто знает, что человеческое сердце не всегда руководствуется только расчетом или правилами прописной морали, — действительно ли мы чем-то отличаемся от них?» Со стыдом признаюсь, что я задавал себе этот еретический вопрос. Но сейчас, после четырех недель, которые я имел счастье провести под Вашим кровом, я вижу, как глубоко ошибался, когда терзал себя такими сомнениями. Для меня большое счастье, что я сумел раз и навсегда решить эту проблему, ибо не в моем характере жить с закрытыми глазами и не иметь определенных суждений — или судить неправильно — о столь важных психологических вопросах. Да, сударыня, продолжайте пребывать в счастливой уверенности, что разница эта существует, и она огромна, и что я отныне буду неукоснительно с нею считаться. Ибо, поверьте, сударыня, для высшего общества будет великим бедствием, если люди Вашего круга начнут понимать оборотную сторону жизни — бескрайнюю, как равнина, и горькую, как вода в море, черную, как обуглившийся труп, и все же более свободную, чем птица, взмывающая ввысь, — ту жизнь, которая, по справедливости, пока недоступна их пониманию. Да, сударыня, поверьте, это страшнейшая в мире опасность, которой должны как огня избегать все те, кто входит в Ваш самый высокопоставленный, самый уважаемый круг, именуемый «высшим обществом».

Из всего сказанного Вы поймете, как трудно мне пускаться в путь. Я навсегда сохраню к Вам самые лучшие чувства. С глубоким почтением к Вам и Вашему милому семейству и искренней, хотя и неумело выраженной благодарностью

остаюсь, сударыня,
преданный Вам Луи Ферран».

Первым побуждением Шелтона было разорвать письмо, но, подумав, он решил, что не имеет права это сделать. Вспомнив к тому же, что миссис Деннант знает французский язык лишь очень поверхностно, он почувствовал уверенность, что ей никогда не понять тонких намеков молодого иностранца. Он вложил письмо в конверт и лег спать, все еще чувствуя на себе взгляд Феррана.

И тем не менее Шелтону было очень не по себе, когда, отослав рано утром письмо с лакеем, он спустился вниз к завтраку. Миссис Деннант сидела за австрийским кофейником, наполненным французским кофе; опустив четыре яйца в немецкую кастрюльку, она повернулась к Шелтону, приветствуя его ласковой улыбкой.

— Доброе утро, Дик. Хотите яйцо? — спросила она, беря пятое яйцо с тарелки.

— Нет, благодарю вас, — ответил Шелтон и, сделав общий поклон, сел.

Он немного запоздал; за столом шел оживленный разговор.

— Дорогая моя, у тебя нет никаких шансов выиграть, — говорил мистер Деннант своей младшей дочери. — Ну ни малейших!

— Какие глупости, папа! Вы же отлично знаете, что мы вас наголову разобьем.

— В таком случае я, пожалуй, съем лепешку, пока не поздно. Шелтон, передайте мне лепешки!

Но при этом мистер Деннант упорно не смотрел на него.

Антония тоже избегала встречаться с ним глазами. Она беседовала с каким-то ученым знатоком искусств о призраках и, казалось, была в наилучшем расположении духа. Шелтон встал и, подойдя к буфету, положил себе кусок куропатки.

— Кто этот молодой человек, которого я видел вчера на лужайке? — услышал он вопрос знатока искусств. — У него... м-м... на редкость интеллигентная физиономия.

Его собственная интеллигентная физиономия, чуть приподнятая кверху, чтобы легче было смотреть сквозь висящее на носу пенсне, выражала полное одобрение. «Удивительно, как это всюду встречаешь интеллигентных людей», — казалось, говорила она.

Миссис Деннант застыла со сливочником в руке;

Шелтон впился внимательным взглядом в ее лицо: в нем, как всегда, было что-то заячье и вместе с тем что-то высокомерное. К счастью, она ничего не заподозрила! Шелтон почувствовал странное разочарование.

— Это мосье Ферран: он обучал Тоддлса французскому. Добсон, подайте мне чашку профессора.

— Надеюсь, я еще увижу его? — проворковал знаток искусств.— Он очень интересно говорил о молодых немецких рабочих. Оказывается, они кочуют с места на место, чтобы выучиться ремеслу. А кто он по национальности, смею спросить?

Мистер Деннант, к которому он обратился с этим вопросом, поднял брови и сказал:

— Спросите об этом Шелтона.

— Фламандец.

— Очень интересный народ. Надеюсь, я еще увижу его.

— Нет, не увидите,— внезапно заявила Тей.— Он уехал.

Шелтон понял, что только благовоспитанность помешала им всем добавить: «И слава богу!»

— Уехал? Неужели? Вот уж...

— Да, весьма неожиданно,— сказал мистер Деннант.

— А знаешь, Алджи,—зажурчала миссис Деннант,— это письмо, которое он оставил, совершенно очаровательно. Бедный молодой человек, должно быть, потратил на него не меньше часа.

— Мама! — воскликнула Антония.

А Шелтон почувствовал, как кровь прилила к его щекам. Он внезапно вспомнил, что Антония знает французский гораздо лучше матери.

— У него, по-видимому, была необыкновенная жизнь,— заметил профессор.

— Да,— эхом отозвался мистер Деннант,— у него была необыкновенная жизнь. Если хотите знать подробности, спросите нашего друга Шелтона; это очень романтично. А тем временем, милейший, не выпьете ли еще чашечку?

Профессор, человек рассеянный, но не лишенный коварства, попробовал продолжить разговор. Повернув в сторону Шелтона свои укрытые за стеклами глаза, он промурлыкал:

— Ну-с, мистер Шелтон, слово, видимо, за вами.

— Мне нечего сказать,— проговорил Шелтон, не поднимая глаз.

— М-м... В таком случае это скучно,— заметил профессор.

— А вот когда он бродил голодный по Парижу,— разве это не трогательная история, милый Дик?

Шелтон взглянул на Антонию,— лицо ее было непроницаемо. «Будь оно проклято, ваше самодовольство!» — подумал он, глядя на ученого мужа.

— Нет ничего более увлекательного, чем голод,— сказал тот.— Рассказывайте же, мистер Шелтон.

— Я не умею рассказывать,— отрезал Шелтон.— Никогда не умел.

В эту минуту Шелтона очень мало беспокоил Ферран, его присутствие или отсутствие, да и вся его история: он смотрел на Антонию, и на сердце у него становилось все тяжелее.

ГЛАВА XXX

ОТЩЕПЕНКА

Утро было пасмурное и душное; парило. Антония занималась музыкой, и в комнате, где сидел Шелтон, тщетно пытаясь увлечься книгой, слышно было, как девушка с яростью разыгрывает гаммы, отчего на душе у него становилось еще сумрачнее. Он не видел ее до второго завтрака, да и тогда она снова села рядом с профессором. Она была бледна и болтала со своим соседом, пожалуй, слишком оживленно; на Шелтона она по-прежнему не глядела. Он чувствовал себя очень несчастным. После завтрака большинство гостей разошлось, а остальные принялись судачить о соседях.

— Тут живут еще Фолиоты,— сказала миссис Деннант,— но к ним никто не ездит.

— Ах, Фолиоты! — протянул знаток искусств.— Фолиоты... это те самые... м-м... которые... да, конечно!

— Это, право, пренеприятно! Она так мило выглядит на лошади. Ко многим людям с худшим прошлым все же ездят гости,— продолжала миссис Деннант, трагивая скользкую тему с той откровенной уверенно-

стью, которую могут позволить себе известные люди при известных обстоятельствах,—но пригласить их к себе все равно невозможно — вдруг придут еще гости?

— Разумеется,—согласился с ней знаток искусств.— Я когда-то был знаком с Фолиотом. Ужасно жаль! Говорят, эта женщина была очень красива.

— О нет! — воскликнула миссис Деннант.— Я бы сказала, скорее интересна, чем красива.

Шелтон, немного знавший даму, о которой шла речь, заметил, что о ней говорят так, словно ее уже не существует. Он не глядел в сторону Антонии: хотя его немного смущало, что этот разговор возник в ее присутствии, он боялся убедиться, что она сидит и слушает со своим обычным, безмятежным выражением лица, точно Фолиоты не люди, а существа совсем иной породы.

На самом же деле в глазах ее притаилось любопытство, в еле заметной улыбке читался нетерпеливый вопрос, пальцы непроизвольно катали хлебные шарики. Вдруг она зевнула и, пробормотав извинение, поднялась из-за стола. Шелтон догнал ее у двери.

— Куда вы?

— Гулять.

— А мне можно с вами?

Она покачала головой.

— Я возьму с собой Тоддлса.

Шелтон открыл перед ней дверь и вернулся к столу.

— М-да,—говорил знаток искусств, потягивая херес,— боюсь, что для молодого Фолиота теперь все кончено.

— Как жаль! — вздохнула миссис Деннант, и на ее добром лице отразилось искреннее огорчение.— Ведь я знала его еще мальчиком. Конечно, он сделал большую ошибку, что привез ее сюда. Положение их тем более двусмысленно, что они даже не могут пожениться. Да, по-моему, он сделал большую ошибку.

— Неужели вы считаете, что это имеет какое-то значение? — спросил знаток искусств.— Даже если бы этот... как его... дал ей развод, я, право, знаете ли, не думаю, чтобы...

— Ну, что вы, конечно, это имеет значение! Очень многие со временем сочли бы возможным посмотреть на это сквозь пальцы. Но сейчас положение у них просто безнадежное, совершенно безнадежное. Да и окружа-

ющие чувствуют себя неловко, встречая их вместе. Тэлфорды и Баттервики, например,— кстати, они обедают у нас сегодня,— живут рядом с ними.

— Вы когда-нибудь встречали ее раньше, до... м-м... до перемен в ее судьбе? — спросил знаток искусств; неожиданно он улыбнулся, обнажив зубы, и сразу стал похож на козла.

— Да, я видела ее однажды у Брэнксомов. Мне тогда она показалась очень милой.

— Бедняга! — сказал профессор. — Мне говорили, что он как раз собирался завести псовую охоту, когда это случилось.

— К тому же у него дивная охота. В свое время Алджи довольно часто охотился у него, а теперь, говорят, к нему ездит только его брат. Право, это так грустно! А вы знали его, Дик?

— Фолиота? — рассеянно переспросил Шелтон. — Нет, я с ним не знаком. Ее я встречал раз или два на скачках.

В окно он увидел Антонию — она стояла у крыльца, в алом берете, помахивая хлыстом. Шелтон поднялся с притворно равнодушным видом. В эту минуту к девушке вприпрыжку подбежал Тоддлс. Они взялись за руки и пошли куда-то. Антония видела Шелтона в окне, но даже не бросила ему дружеского взгляда, и Шелтон почувствовал себя еще более несчастным. Он вышел из дому и пошел по аллее. Над головой нависла сплошная серая пелена; вяза стояли, поникнув, одетые тяжелой темно-зеленой листвой; осина и та перестала шестеть и дрожать, и даже грачи умолкли. Казалось, некая мрачная сила свинцовой тяжестью легла на грудь природы. Шелтон стал медленно прогуливаться взад и вперед по аллее; гордость не позволяла ему следовать за Антонией. Под конец он сел на старую каменную скамью, стоявшую у дороги. Он долго сидел так, не шевелясь, глядя на вяза и спрашивая себя: в чем он поступил неправильно и как ему поступить теперь? Ему почему-то было страшно. Охватившее его чувство одиночества было таким острым, таким реальным, что, несмотря на удушливую жару, его пронизала дрожь. Он просидел так, должно быть, с час, совсем один, и за это время никто не проходил по дороге. Затем послышался топот

копыт, и в ту же минуту с противоположной стороны раздался звук приближающегося автомобиля. Первой показалась всадница на сером арабском скакуне, прекрасном животном с горделиво поднятой головой и пышным хвостом. Молодая женщина с трудом сдерживала лошадь, так как гудение автомобиля с каждой секундой становилось все слышнее. Шелтон встал; автомобиль промчался мимо; лошадь шарахнулась в ворота, ведущие в имение, и сбросила наездницу, ударив ее о столб. Шелтон кинулся на помощь, но, когда он подбежал к воротам, молодая женщина уже была на ногах и держала за повод рвавшуюся от нее лошадь.

— Вы не ушиблись? — еще издали крикнул Шелтон, с трудом переводя дух, и, подбежав, тоже схватил лошадь под уздцы. — Ох, уж эти автомобили!

— Не знаю, — ответила она. — Пожалуйста, отпустите уздечку: моя лошадь не подпускает к себе чужих.

Шелтон повиновался и стал смотреть, как молодая женщина успокаивает лошадь. Наездница была довольно высокая, в серой амазонке и серой шляпе; и вдруг Шелтон признал в ней миссис Фолиот, о которой они говорили за завтраком.

— Ну вот, теперь лошадь будет стоять смирно, — сказала она. — Пожалуйста, поддержите ее минуту.

Она передала ему поводья и прислонилась к решетке ворот. Она была очень бледна.

— Надеюсь, вы не сильно ушиблись? — сказал Шелтон. — Он стоял совсем рядом с ней и отлично мог разглядеть ее лицо — необычное, немного плоское, загадочное лицо с широкими скулами, дышащее страстью и огнем, несмотря на безжизненную бледность. Ее крепко сжатые, чуть улыбающиеся губы были бледны; светлыми были и серые, глубоко сидящие глаза с зеленоватыми искорками, и очень светлыми — пепельные волосы, выбившиеся из-под серой шляпы.

— С-спасибо! — сказала она. — Сейчас мне станет лучше. Мне очень жаль, что я причинила вам беспокойство.

Она прикусила губу, потом улыбнулась.

— Я убежден, что вы ушиблись. Разрешите, я сбегаю... — запинаясь, пробормотал Шелтон. — Я мигом приведу кого-нибудь на помощь.

— На помощь? — повторила она с каким-то деревянным смешком. — О нет, благодарю вас!

Она отошла от ворот и, перейдя дорогу, остановилась у лошади, которую держал Шелтон. Чтобы скрыть свое смущение, Шелтон стал смотреть на ноги лошади и вдруг заметил, что она не наступает на одну ногу. Он ощупал ее.

— Боюсь, что ваша лошадь повредила себе колено: оно распухло.

Она снова улыбнулась.

— Ну, значит, мы оба калеки.

— Она будет хромать, когда остынет. Не хотите ли оставить ее здесь, в конюшне? А вас, по-моему, нужно отвезти домой в экипаже.

— Нет, благодарю вас. Если я в состоянии ехать на ней, то она довезет меня. Помогите мне сесть в седло.

Голос ее звучал так, словно она была чем-то обижена. Осмотрев ногу лошади, Шелтон поднялся с колен и увидел Антонию и Тоддлса, остановившихся немного поодаль. Возвращаясь с прогулки, они вышли на дорогу через калитку в изгороди.

Тоддлс тотчас же подбежал к Шелтону.

— Мы все видели, — прошептал он. — Здорово она трахнулась! Могу я чем-нибудь помочь?

— Подержи поводья, — сказал Шелтон и перевел взгляд с одной женщины на другую.

Бывают минуты, когда выражение чьего-то лица до боли ясно запечатлевается в памяти. Для Шелтона эта была как раз такая минута. Лица двух женщин, стоявших совсем рядом, одно — под алой, другое — под серой шляпой, являли собой необычайный, разительный контраст. Антония покраснела, глаза ее стали совсем синими: тень испуга и сомнения скользнула по ее лицу, оставив на нем след недоуменного вопроса.

— Быть может, вы пройдете к нам и отдохнете? Мы могли бы отправить вас домой в коляске, — сказала она.

Дама, которую называли миссис Фолиот, держась рукой за седло и кусая губы, улыбалась загадочной улыбкой, и так случилось, что лицо ее запомнилось Шелтону — ее пепельные волосы, ее бледность и пристальный, полный презрения взгляд.

— О нет, благодарю вас! Вы очень любезны.

И тотчас застенчиво-дружелюбное, неуверенное выражение исчезло с лица Антонии, уступив место холодной враждебности. Она посмотрела на них обоих долгим ледяным взглядом и, повернувшись, пошла прочь. Рассмеявшись коротким резким смехом, миссис Фоллиот приподняла ногу, и Шелтон помог ей сесть в седло. Он услышал, как она охнула от боли, когда он подсаживал ее, но, взглянув на нее, увидел, что она улыбается.

— Во всяком случае разрешите мне проводить вас,— поспешил предложить он.— Я хочу быть уверен, что вы доберетесь благополучно.

Она покачала головой.

— До нас всего две мили. Я не фарфоровая, не разобьюсь.

— Тогда мне просто придется идти следом за вами.

Она пожала плечами и, посмотрев на него в упор, спросила:

— Может быть, мальчик согласится проводить меня? Тоддлс отпустил уздечку.

— Ну, еще бы! Конечно! — воскликнул он.

— Это, по-моему, наилучший выход из положения. Благодарю вас, вы были очень, очень любезны.

Она кивнула Шелтону, еще раз улыбнулась своей загадочной улыбкой и, тронув хлыстом арабского скакуна, поехала шагом под охраной Тоддлса, который шел рядом с лошадью.

Шелтон подошел к Антонии, стоявшей под вязами. Внезапно струя горячего воздуха пахнула им в лицо, словно предостережение, посланное тяжелыми, темными тучами; вдали глухо зарокотал гром.

— Будет гроза,— сказал Шелтон.

Антония молча кивнула. Она побледнела, но выражение ее лица по-прежнему было холодное и обиженное.

— У меня разболелась голова,— сказала она.— Я пойду домой и прилягу.

Шелтон хотел сказать что-то, но промолчал, смирясь перед неизбежным, как смирились перед надвигающейся грозой притихшие птицы и поля.

Он долго смотрел вслед Антонии, потом снова сел на скамью. Тишина, казалось, стала еще более глубокой;

даже цветы перестали испускать аромат, одурманенные духотой.

Большой дом позади Шелтона, казалось, опустел, уснул. Оттуда не доносилось ни смеха, ни музыки, ни звона колокольчика,— дом словно оцепенел от жары. И в этой тишине Шелтон еще острее почувствовал свое одиночество. Надо же было случиться несчастьем с этой женщиной! Словно само провидение подстроило все так, чтобы еще больше отдалить его от Антонии! И почему это мир не состоит из одних только безгрешных людей?

Шелтон встал и начал ходить взад и вперед по аллее, снедаемый страшной тоской.

«Нет больше сил терпеть,— подумал он.— Пойду пройдуся, ничего, если и вымокну».

Выйдя из аллеи, он столкнулся с Тоддлсом, который возвращался домой в наилучшем настроении.

— Я проводил ее до самого дома! — радостно крикнул он Шелтону.— Вот молодчина! Завтра она будет здорово хромать. И лошадка тоже. Ну и жарища!

Раз Тоддлс уже вернулся, подумал Шелтон, значит, он целый час просидел тут на скамье,— а ему казалось, что прошло всего десять минут; это открытие испугало его. Оно словно раскрыло ему глаза на всю глубину его страданий и опасений. Он вышел из ворот и быстро зашагал по дороге, глядя себе под ноги и весь обливаясь потом.

ГЛАВА XXXI

ГРОЗА

Шел восьмой час, когда Шелтон вернулся с прогулки; несколько тяжелых капель упало на листья вязов, но гроза еще не начиналась. В тяжелом молчании мир едва дышал, придавленный свинцовыми небесами.

Быстрая ходьба по жаре помогла Шелтону побороть уныние. Он чувствовал себя как человек, готовящийся к встрече с возлюбленной после длительной размолвки. Он принял ванну и теперь стоял перед зеркалом, поправляя галстук и улыбаясь собственному отражению. Все его страхи, сомнения и горести казались ему сейчас дурным сном; будь все это явью, разве не было бы ему сейчас во много раз хуже?

В тот вечер у Деннантов был званый обед, и когда Шелтон вошел в зал, там уже собралось много гостей. Все говорили о надвигающейся грозе. Антония еще не спускалась, и Шелтон остановился у рояля, ожидая ее появления. Вокруг него были румяные лица, безукоризненные манишки, белые плечи и только что завитые волосы. Кто-то дал ему ярко-красную гвоздику, и в ту минуту, когда он поднес ее к носу, в комнату вошла Антония,— она слегка задыхалась, словно бегом бежала вниз по лестнице. Бледность ее исчезла, рука то и дело поднималась к горлу. Казалось, жаркое дыхание приближающейся грозы зажгло в ней внутренний огонь, который испепелял ее под белым платьем; она прошла мимо, едва не задев Шелтона, и от ее близости у него закружилась голова.

Никогда еще она не казалась ему такой прекрасной.

Теперь Шелтон никогда уж больше не сможет вдыхать аромат ананасов и дынь без странного волнения. С того места, где он сидел за обедом, ему не было видно Антонию, но среди шума голосов, звона бокалов и серебра, среди восклицаний, звуков и запахов пиршества он не переставал думать о том, как подойдет к ней и скажет, что в целом мире для него важна только ее любовь. И он пил ледяное золотистое шампанское, как воду.

Стояла нестерпимая жара, и окна были распахнуты настежь; за окнами лежал сад, окутанный густою мягкой тьмой, в которой вырисовывались черные, как смоль, силуэты деревьев. Воздух был неподвижен, ни малейшее дуновение не колебало пламени свечей в канделябрах, только две большие бабочки, испугавшись душной мглы за окном, влетели в комнату и теперь кружились вокруг огня, над головами обедающих. Одна из них, опалив крылышки, упала на блюдо с фруктами и была тотчас извлечена оттуда, а другая, увертываясь от салфеток и словно насмехаясь над усилиями лакеев, продолжала бесшумно описывать над столом неровные круги, пока Шелтон не встал и не поймал ее. Он подошел к двери на балкон и выпустил бабочку в темноту; воздух, пахнувший ему в лицо, был тяжел и душен. По знаку мистера Деннанта задернули тюлевые занавески, висевшие на окнах, и словно в благодарность за эту защиту, за эту прозрачную стену, отделившую их от грозных сил при-

роды, гости оживленно заговорили. Это был один из тех вечеров, какие наступают летом после безоблачной погоды, страшный вечер, когда удушающую жару и молчание нарушает лишь отдаленный рокот, раздающийся где-то низко, над самой землей, словно то ворчат и негодуют все мрачные силы мира,— один из тех вечеров, когда все живое задыхается и угрожающие раскаты бывают так жутки, что кажется оправданной человеческая трусость.

Наконец дамы встали и удалились. Круглый обеденный стол розового дерева, без скатерти, украшенный цветами и серебром, напоминал осенний пруд, темная, маслянистая поверхность которого, освещенная лучами заходящего солнца, пестрит багряными и золотыми листьями; над столом низко нависло облако табачного дыма, словно туман над водой после заката. Между Шелтоном и его соседом завязался разговор об английском характере.

— Мы, англичане, разучились жить,— сказал Шелтон.— Удовольствия для нас—утраченное искусство. Мы не пьем, мы стыдимся любви, а что до красоты, то мы перестали ее замечать. Вместо этого у нас есть деньги; но что пользы в деньгах, когда мы не умеем их тратить? — Раззадоренный улыбкой соседа, он добавил: — Что же касается умственной деятельности, то мы слишком много думаем о том, что думают наши соседи, и потому уж вовсе ни о чем не думаем. Вам никогда не приходилось наблюдать за иностранцем, который слушает англичанина? У нас вошло в привычку смотреть на иностранцев сверху вниз, но наше презрение к ним ничто по сравнению с тем презрением, какое они питают к нам. И они абсолютно правы! К тому же мы лишены вкуса! Что толку в богатстве, когда не умеешь им пользоваться?

— Это оригинально,— сказал его сосед.— И, пожалуй, здесь есть известная доля истины... Вы обратили внимание, недавно в газете писали о старике Хорнблауре? Он оставил после себя портвейн тысяча восемьсот двадцатого года, который оценили по гинее за бутылку. А когда тот, кто купил этот портвейн, стал откупоривать его, бедняга обнаружил, что в одиннадцати бутылках из двенадцати оно совсем потеряло букет. Ха-ха-ха!.. А вот это вино — неплохое, ничего не скажешь.— И он допил свой бокал.

— Да,— согласился с ним Шелтон.

Когда все встали, чтобы присоединиться к дамам, Шелтон ускользнул в сад.

Ему показалось, будто он попал в жарко натопленную баню. В воздухе стоял тяжелый, зловещий, чувственный аромат, словно внезапно распустились неведомые цветы любви. Шелтон остановился, жадно вдыхая его. Нагнувшись, он провел рукой по траве, — она была сухая, словно насыщенная электричеством. Тут он увидел четыре бледные большие лилии, они светились во тьме, и от них-то и исходил этот аромат. Цветы, казалось, тянулись к нему из темноты, подставляя свои лепестки для поцелуя. Он резко выпрямился и вошел в дом.

Гости уже разъезжались, когда Шелтон, все время наблюдавший за Антонией, увидел, как она скользнула из гостиной в сад. Он следил взглядом за белым пятном ее платья, пока она шла по лужайке, но как только она ступила под тень деревьев, он потерял ее из виду; поспешно оглянувшись, чтобы убедиться, что никто не наблюдает за ним, Шелтон тоже вышел в сад. Душная мгла охватила его. Он глубоко вдохнул эту мглу, словно то был самый чистый горный воздух, и, мягко ступая по траве, направился к каменному дубу. Губы его пересохли, сердце мучительно стучало. Вдали перестало греметь; в жарком воздухе Шелтон вдруг ощутил холодную струю. Он подумал: «Вот теперь гроза уже совсем близко», и тихо подошел к дереву. Антония лежала в гамаке, слегка покачиваясь под легкий скрип ветки; она казалась белым пятном среди царившей под деревом тьмы. Шелтон затаил дыхание. Антония не слышала его шагов. Бесшумно обойдя дерево, он остановился совсем рядом с нею. «Не надо ее пугать», — подумал он.

— Антония!

В гамаке что-то шевельнулось, но ответа не последовало. Он стоял, наклонясь над ней, но даже и сейчас не мог различить ее лица. Он только чувствовал, как что-то живое дышит близко-близко от него, что-то теплое и мягкое. И он снова прошептал:

— Антония!..

И снова никакого ответа. Страх и бешенство охватило Шелтона. Он не слышал больше ее дыхания, даже ветка перестала скрипеть. Что происходит в душе этого живого существа, которое молчит тут, совсем ря-

дом с ним? А потом он снова услышал ее дыхание, быстрое и испуганное, как трепет птички: миг — и перед Шелтоном был пустой гамак.

Он стоял у пустого гамака, пока не почувствовал, что не в силах больше томиться в неизвестности. Когда он пересекал лужайку, зигзаг молнии вдруг прорезал небо, дождь окатил его с головы до ног, и раздался оглушительный удар грома.

Шелтон направился было в курительную, но у дверей раздумал, повернул к себе в комнату и, войдя, тотчас бросился на кровать. Долгие раскаты грома следовали один за другим; вспышки молнии выхватывали предметы из темноты, придавая им жуткую отчетливость, отнимая у них всякое сходство с тем, на что они должны быть похожи, лишая их всякой целесообразности, осязаемости, реальности, словно это были скелеты, — не вещи, а только их понятия, столь же неприглядные, как обнаженные нервы и сухожилия на препарированной и сохраняемой в спирту ноге. Звук дождя, хлеставшего по стенам дома, мешал Шелтону собраться с мыслями. Он встал, чтобы закрыть окна, потом снова подошел к постели и бросился на нее ничком. Он пролежал в каком-то оцепенении до тех пор, пока не прошла гроза, а когда раскаты грома стали постепенно затихать вдали, он встал. Тут только он увидел что-то белое под дверью.

Это была записка:

«Я ошиблась. Пожалуйста, простите меня и уезжайте.
Антония».

ГЛАВА XXXII

ОДИНОЧЕСТВО

Прочитав записку, Шелтон положил ее на туалетный столик рядом с запонками и, посмотрев на себя в зеркало, расхохотался. Но смех скоро застыл у него на губах; он бросился на кровать и зарылся лицом в подушки. Так, наполовину одетый, он пролежал всю ночь, а на рассвете встал, по-прежнему не зная, что ему делать. Только в одном он был твердо убежден — ему не следует встречаться с Антонией.

Наконец он написал записку:

«Я не спал всю ночь из-за зубной боли, и мне кажется наиболее благоразумным немедленно отправиться в город к дантисту. Если зуб надо вырвать, то чем скорее это будет сделано, тем лучше».

Он адресовал записку миссис Деннант и оставил ее у себя на столе. Потом снова бросился на кровать и на сей раз задремал.

Проснулся он внезапно, как будто его толкнули, оделся и тихо вышел. Он вдруг подумал, что уходит из этого дома совсем так же, как ушел Ферран. И у него мелькнула мысль: «Теперь мы оба отверженные».

Шелтон шел до полудня, не зная и не думая о том, куда идет; потом забрел на какое-то поле, растянулся на земле у живой изгороди и тотчас заснул.

Разбудил его шум крыльев. Стая куропаток, блестя на солнце всеми перышками, перебиралась через соседнее горчичное поле. Скоро они уселись на манер старых дев, как это водится у куропаток, и начали перекликаться.

Пока он спал, на поле вышло стадо, и красивая рыжая корова, повернув к Шелтону голову, принялась осторожно обнюхивать его; от нее шел особый сладковатый запах. Красотой шкуры и ног она могла бы поспорить со скаковой лошадью; с ее черных влажных губ медленно капала слюна, глаза были добрые и усталые. Вдыхая нежный и сладкий запах горчичного поля, Шелтон мня в руках сухие травинки и на какое-то мгновение вдруг почувствовал себя счастливым, — счастливым оттого, что над ним небо и солнце, а вокруг — извечное спокойствие и неутомимая жизнь полей. Почему человек не может отрешиться от своих забот и взирать на них с таким же безразличием, с каким эта корова позволяет мухам садиться ей на морду, у глаз? Он снова задремал, а проснувшись, расхохотался, ибо вот что он увидел во сне.

Ему приснилось, что он находится не то в гостиной, не то в зале какого-то загородного дома. Посреди этой комнаты стоит женщина и смотрится в ручное зеркало.

За дверью или окном виден сад со множеством статуй, и через эту дверь зачем-то входят и выходят люди.

Вдруг Шелтон увидел свою мать: она направлялась к даме с зеркалом в руках, в которой он признал теперь миссис Фолиот. Но пока Шелтон смотрел на нее, мать превратилась в миссис Деннант и заговорила голосом, не похожим ни на голос его матери, ни на голос миссис Деннант,— казалось, это была сама утонченность. «*Je fais de la philosophie*¹,— говорил этот голос.— Я отношусь к человеку так, как он того стоит. Я никого не осуждаю. Главное — иметь характер!» Дама продолжала рассматривать себя в зеркале, и, хотя она стояла к нему спиной, Шелтон видел отражение ее лица — бледного, с зелеными глазами и злой, презрительной улыбкой. Потом все исчезло, и Шелтон увидел себя в саду вместе с миссис Деннант.

Вот после этого-то сна Шелтон и проснулся рассмеявшись. «Но, Дик,— жаловалась миссис Деннант,— меня всю жизнь учили верить в то, что мне говорят. Она такая недобрая: почему она презирает меня за то, что я считаюсь с условностями? — Шелтону стало жаль ее: она напоминала испуганного ребенка.— Право, не знаю, что я стала бы делать, если бы мне пришлось обо всем судить самой. Меня не учили этому. Мне всегда преподносили чьи-то готовые мнения, это было так приятно. И что я должна делать? Нужно верить людям; я говорю это вовсе не потому, что я о них высокого мнения, но вы понимаете, в чем тут дело: просто так уютнее жить.— И она зашуршала юбкой.— Но что бы ни случилось, Дик,— умоляла она,— пусть Антония всегда заимствует у кого-нибудь свои мнения. Я — другое дело: раз уж нужно обо всем судить самой, значит, нужно, но ее уберегите от этого. Любые взгляды, любые, лишь бы они были общепринятыми. Так страшно, когда приходится обо всем самой составлять себе мнение».

Тут Шелтон окончательно проснулся. Его сон, несмотря на всю свою абсурдность, был образцом художественной правды, ибо слова, которые в его сне говорила миссис Деннант, раскрывали ее сущность куда полнее, чем все то, что она могла когда-либо сказать наяву.

¹ Я люблю пофилософствовать (франц.).

— Нет,— раздался голос совсем рядом, за изгородью,— благодарение богу, французов у нас тут мало. Есть несколько венгерцев, которые гостят у герцога. Не хотите ли пирога, сэр Джеймс?

Заинтересовавшись, Шелтон приподнялся на локте и, еще совсем сонный, приложил глаз к просвету в высоких толстых ивовых прутьях. Четверо мужчин сидели на складных стульях у раскидного стола, на котором был пирог и множество всякой снеди. Неподалеку от них стоял шарабан, обильно увешанный дичью и зайцами; вокруг, смиренно виляя хвостами, топтались собаки; лакей откупоривал бутылки. Шелтон совсем забыл, что сегодня первое сентября — начало охоты на куропаток. Роль хозяина исполнял воинственный на вид мужчина с веснушчатым лицом; рядом сидел человек постарше, с квадратной челюстью, острым носом и отсутствующим взглядом; потом кто-то с бородой, кого остальные называли командором, а в четвертом охотнике Шелтон, к своему ужасу, признал джентльмена по имени Мэбби. Однако в том, что сей джентльмен находился за много миль от своего дома, не было ничего удивительного, так как он принадлежал к числу тех, кто, прихватив с собой лакея и пару охотничьих ружей, бродит по всей стране с двенадцатого августа до конца января, а потом, очевидно, отбывает в Монте-Карло или спит без просыпу до двенадцатого августа следующего года.

Говорил Мэбби:

— Вы слышали, сэр Джеймс, сколько мы настреляли двенадцатого?

— Ах да, о чем это я хотел спросить? Вы продали своего гнедого, Гленни?

Шелтон еще колебался, не зная, остаться ему или потихоньку уйти, как вдруг услышал густой бас командора:

— Мой лакей говорил мне, что миссис Фолиот... мда... повредила ногу своему арабскому скакуну. Неужели она собирается участвовать в охоте на лисят?

Шелтон заметил, что все улыбнулись. «Вот Фолиот и расплачивается за свое удовольствие. Дурак он, что дал себя поймать!» — казалось, говорила эта улыбка. Шелтон повернулся к разговаривавшим спиной и закрыл глаза.

— На лисят? — повторил Гленни. — Едва ли.

— Никогда не находил в ней ничего примечательного,— продолжал командор.— Такая тихая, что даже не знаешь — тут она или нет. Помнится, я как-то спросил ее: «Ну-с, миссис Льютеран, что же вы любите больше всего на свете?» И что бы, вы думали, она мне ответила? «Музыку!» Мда...

Послышался голос Мэбби:

— Он всегда был непонятным человеком, этот Фолиот! Такие вот и попадают во всякие истории.

И Шелтону показалось, что он облизнулся.

— Говорят, он теперь никому не отвечает на поклоны,— раздался голос хозяина.— Станный субъект! Говорят, она очень предана ему.

В памяти Шелтона еще так свежо было воспоминание о встрече с миссис Фолиот и о недавнем сне, что он, как зачарованный, слушал этот разговор.

— Если он перестанет ездить на охоту, то, право, не знаю, что еще ему останется делать... Он больше не состоит ни в одном клубе, а что до избрания его в парламент...— сказал Мэбби.

— Жаль его,— сказал сэр Джеймс,— а впрочем, он знал, на что идет.

— Очень странные люди, эти Фолиоты,— сказал командор.— Вот, например, его отец: готов был с кем угодно разговаривать — с первым встречным пугалом, только не с вами и не со мной. Хотел бы я знать, куда он денет своих лошадей? Я бы с удовольствием купил у него каракового.

— Никогда нельзя сказать заранее, как поступит человек,— послышался голос Мэбби,— может, начнет пить, а может, книги писать. Старый Чарли Уэйн, тот дошел до того, что стал изучать звезды и дважды в неделю отправлялся в Уайтчепел учить грамоте...

— Скажите, Гленни,— перебил его сэр Джеймс,— а что случилось с вашим старым лесником Смоллетом?

— Пришлось его выгнать.

Шелтон снова попытался не слушать их и все же не мог не прислушиваться.

— Стар он стал,— продолжал тот же голос.— В прошлом году у меня из-за него пропала уйма яиц.

— Да уж, когда до этого доходит...— начал было командор.

— Видите ли,— перебил его Гленни,— его сын... вы, должно быть, помните его, сэр Джеймс: он обычно заряжал для вас ружья... Так вот, его сын соблазнил тут одну девушку. Когда родные выгнали ее из дому, старик Смоллет взял ее к себе. Шуму было — не оберешься. Девушка отказалась выйти замуж за молодого Смоллета, и старик поддержал ее. Тут, конечно, возстал священник, и вся деревня поднялась на дыбы; жена моя предложила поместить ее в одно из... как это их называют... исправительных заведений, что ли, но Смоллет заявил, что она никуда не поедет, если сама не захочет. Прескверная история; совсем выбила старика из колеи. В результате у меня в прошлом году вывелось всего пятьсот фазанов вместо восьмисот.

Наступило молчание. Шелтон снова принял глазом к изгороди. Охотники ели пирог.

— В наших краях,— сказал командор,— в таких случаях потом обычно женятся... хм... хм... и живут вполне достойно.

— Вот именно,— заметил хозяин.— А эта—подумайте только! — отказалась выйти замуж. Говорила, что он будто бы воспользовался ее слабостью.

— Теперь-то она жалеет,— сказал сэр Джеймс.— А молодому Смоллету повезло, дешево отделался! Но до чего же упрямы бывают старики!

— Чем мы займемся послезавтра? — спросил командор.

— Дальше за этим полем — пастбище,— пояснил хозяин.— Мы станем цепью вдоль изгороди и пройдем все поле из конца в конец. Там птица наверняка должна быть.

Шелтон поднялся и, пригнувшись, стал пробираться к калитке в изгороди.

— Двенадцатого будем охотиться двумя партиями,— услышал он уже издали голос Мэбби.

То ли от долгой ходьбы, то ли от бессонной ночи, все тело у Шелтона ныло; однако он продолжал идти по дороге все дальше и дальше. До сих пор он так и не решил, как ему поступить. Часам к пяти он добрался до Мейденхеда, наскоро перекусив, сел в поезд, отправлявшийся в Лондон, и тотчас заснул. Часов в десять вечера он зашел в Сент-Джемский парк и присел на скамью.

Сквозь покрытую пылью листву свет фонарей освещал скамьи, служившие убежищем не одному бродяге. Темнота больше не укрывала несчастных, но благодетельная ночь была тепла и безлунна,—человеку еще не удалось полностью нарушить ее покой.

Шелтон был не один на своей скамье — на дальнем ее конце сидела молоденькая девушка с красным, круглым, угрюмым лицом, а дальше виднелись в полумраке еще и еще скамьи и неясные очертания фигур на них,—казалось, неумолимые законы выбросили за борт весь этот ненужный хаам.

«Да! — подумал Шелтон, словно сквозь сон, как это бывает с очень усталыми людьми.— Законы у нас правильные, а вот сами мы совсем...»

— Запутались? — слышался голос позади.— Ну, ясно! Вы не там свернули, папаша.

Шелтон увидел красное, круглое, как сыр, лицо полисмена, разговаривавшего со странным стариком, похожим на дряхлую, общипанную птицу.

— Благодарю вас, констэбль,— сказал старик.— Раз уж я не туда зашел, так хоть отдохну немножко.

Он беззвучно жевал губами и, казалось, не решался сесть на скамью.

Шелтон подвинулся, и старик опустился на освободившееся место.

— Вы уж извините меня, сэр, пожалуйста,— сказал он дрожащим голосом, притрагиваясь к своей поношенной шляпе.— Вы, я вижу, джентльмен,— он с удовольствием протянул это слово.— Я бы вас ни за что на свете не побеспокоил. Не привык я ходить по ночам, а места все заняты. Трудно старику без опоры. Вы уж извините меня, сэр, пожалуйста.

— Ну, что вы, что вы,— мягко сказал Шелтон.

— Я вполне порядочный человек,— сказал его сосед.— Никогда в жизни не позволял себе никаких вольностей. Но в мои годы, сэр, поневоле. станешь нервным, когда вот так постоишь на улице, как я стоял эту неделю, да поспишь в ночлежках... Ох, и страшные же это места... Ужас, какие страшные! Да,— повторил он, когда Шелтон повернулся к нему, пораженный ноткой искренности в его голосе,— страшные места!

В эту минуту незнакомец нагнул голову, и она вместе

с тощей шеей, придававшей ему сходство со старым петухом, попала в полосу света. Лицо было узкое, изможденное, с большим красным носом; тонкие бледные губы кривились, обнажая почти беззубые десны; а глаза были старые-старые, совсем выцветшие — только вокруг зрачка сохранился тонкий окрашенный ободок — и то и дело подергивались пленкой, как глаза попугая. Он не носил бороды и усов, но лицо его уже заросло щетиной. Волосы у него — он снял шляпу — были густые, прямые, разделенные посредине ровным пробором и, насколько Шелтон мог разглядеть, темные, без малейшей седины.

— Я мог бы примириться с этим, — продолжал он. — Я никогда не вмешиваюсь ни в чьи дела, и никто не вмешивается в мои, но одно меня страшит, — и голос его зазвучал твердо, точно был слишком напуган, чтобы дрожать, — ведь никогда не знаешь, что ждет тебя завтра. Вот что ужасно!

— Да, должно быть, — заметил Шелтон.

— Ох, и в самом деле ужасно! — сказал старик. — И к тому же приближается зима. А я не привык много бывать на воздухе: всю жизнь служил в хороших домах. Но я даже не против этого — лишь бы была возможность заработать на хлеб. Вот сейчас я, слава богу, наконец получил работу. — Голос его сразу повеселел. — Правда, мне никогда не приходилось продавать газеты, но «Вестминстерская», говорят, одна из самых почтенных вечерних газет; да я и сам это знаю. Так что теперь я уверен, что проживу, во всяком случае буду стараться.

— А как вам удалось получить эту работу? — спросил Шелтон.

— У меня есть рекомендации, — сказал старик, указывая тощей рукой на сердце, словно именно там он и хранил их. — К счастью, этого никто не может у меня отнять. Я никогда не расстаюсь с ними. — Порывшись в кармане, он вытащил пачку бумажек и поднес к свету сначала одну, потом другую, тревожно поглядывая на Шелтона. — Там, в ночлежке, не очень честный народ: они у меня украли некоторые вещи — прекрасную рубашку и пару замечательных перчаток, которые подарил мне один джентльмен за то, что я подержал ему лошадь. Надо бы на них в суд подать, верно, сэр?

— Все зависит от того, что вы можете доказать.

— Я знаю, что эти вещи у них. Человек должен отстаивать свои права — это всякий скажет. Не могу же я расстаться с такими прекрасными вещами. Я думаю, мне следовало бы подать в суд. Как вы считаете, сэр?

Шелтон с трудом подавил улыбку.

— Вот,— сказал старик, разглаживая трясущимися руками одну из бумажек.— Это от сэра Джорджа.— И его сморщенный палец дрожа опустился на середину страницы: — «Джошуа Крид служил у меня в качестве дворецкого пять лет и за это время показал себя примерным во всех отношениях слугой». А вот это....— и он стал разворачивать другую бумажку,— это... от леди Гленгоу: «Джошуа Крид...» мне бы хотелось, чтобы вы прочли это, раз вы уж так любезны.

— Не хотите ли выкурить трубочку?

— Благодарю вас, сэр,— ответил старый дворецкий, набивая трубку из кисета, протянутого Шелтоном. Он взял пальцами свой передний зуб и начал тихонько ощупывать его, раскачивая с какой-то печальной гордостью взад и вперед.

— Вот зубы стали выпадать,— сказал он,— но здоровье у меня вполне приличное для человека моего возраста.

— А сколько вам лет?

— Семьдесят два! Если не считать кашля, да грижи, да вот этой беды,— и он провел рукой по лицу,— так мне и жаловаться не на что. Ведь у каждого, должно быть, что-нибудь не в порядке. А я, по-моему, на удивление здоров для своих лет.

Шелтон, несмотря на всю жалость, которую возбуждал в нем старик, много бы дал, чтобы иметь возможность рассмеяться.

— Семьдесят два! — повторил он.— Да, возраст почтенный. Вы, наверно, помните совсем другую Англию, не такую, какой она стала сейчас.

— Ах! — вздохнул старый дворецкий.— Вот тогда было дворянство. Помню, как они ездили в Ньюмаркет (я там родился, сэр) на собственных лошадях. Тогда не было так много этих... как их называют... среднего сословия. Да и больше было в людях доброты. Никаких не было универсальных магазинов, каждый держал свою

лавочку, и никто особенно не старался перегрызть соседу горло. И потом, посмотрите, сколько сейчас стоит хлеб! Боже мой! Раза в четыре дешевле, чем прежде!

— А как, по-вашему, люди сейчас стали счастливее? — спросил Шелтон.

Старик дворецкий молча сосал трубку.

— Нет, — сказал он наконец, покачав дряхлой головой. — Никто теперь ничем не доволен. Вот, я вижу, люди ездят в разные места, читают книжки, много узнают нового, а никто не чувствует себя довольным. Нет, что раньше.

«Так ли это?» — подумал Шелтон.

— Нет, — повторил старик, снова помолчав и выпуская струю дыма. — Не вижу я прежнего довольства, прежней радости на лицах. Даже и похожего ничего нет. А тут еще эти автомобили; говорят, лошадей скоро совсем не останется!

И, словно потрясенный собственным выводом, он погрузился в молчание, лишь время от времени разжигая свою трубку.

Девушка, сидевшая на дальнем конце скамьи, пошевелилась, откашлялась и снова замерла. На Шелтона пахло запахом нестиранного белья. Подошел полисмен и принялся рассматривать эти три, столь неподходящие друг к другу, физиономии; во взгляде его было добродушное презрение, пока он не заметил Шелтона, а тогда оно сменилось любопытством.

— И в полиции есть хорошие люди, — сказал старик дворецкий, когда полисмен зашагал дальше. — Да, есть хорошие люди и в полиции, очень хорошие, а есть такие, которые смешивают тебя с грязью, отвратительные, низкие личности. Вот ведь когда они видят, что человеку не повезло, они считают, что могут разговаривать с ним, как хотят. Но я никогда не даю им повода приставать ко мне, я всегда держусь скромно и со всеми на свете разговариваю вежливо. Приходится потакать им: ведь если... ох, если не потрафишь... некоторые ни перед чем не остановятся — как захотят, так с тобой и расправятся.

— Вы что же, думаете всю ночь здесь просидеть?

— Сегодня хорошо, тепло, — ответил старый дворецкий. — Я сказал хозяину той ночлежки: «Никогда не смейте больше говорить со мной, говорю, не смейте даже

подходить ко мне близко!» Всю жизнь был прямым и честным: не хочу и разговаривать с этими низкими субъектами, раз они так обошлись со мной — забрали у меня все вещи.— И он сделал жест рукой, словно уничтожая своих врагов.— Завтра я найду себе комнату. Могу я найти комнату за три шиллинга в неделю, как вы думаете, сэр? Ну, значит, все в порядке. Теперь я уже больше ничего не боюсь, я спокоен. Лишь бы прокормить себя, больше мне ничего не нужно. Думаю, что с работой я отлично справлюсь.— И он взглянул в лицо Шелтону, но выражение его глаз и притворно бодрый голос говорили о том, что человек этот живет в вечном страхе.

— Пока я могу прокормить себя,— продолжал старик,— я не пойду в рабочий дом и не потеряю своего достоинства.

«Нет»,— подумал Шелтон.

Некоторое время они сидели молча. Потом Шелтон сказал:

— Заходите ко мне, когда сможете. Вот вам моя карточка.

Старый дворецкий вздрогнул,— он уже успел задремать.

— Благодарю вас, сэр, сочту за честь,— сказал он с жалкой поспешностью.— Близ Белгрэвии? Как же, знаю, знаю: я жил в тех местах у джентльмена по фамилии Бэйтсон, вы, может быть, знали его. Он теперь умер — высокородный Бэйтсон. Благодарю вас, сэр, я непременно зайду.— И, торопливо сняв потрепанную шляпу, он старательно убрал карточку Шелтона туда же, где хранились рекомендации. А минутой позже он уже снова дремал.

Опять прошел полисмен; взгляд его, казалось, говорил: «И что этот франт делает тут рядом с двумя нищими?» Шелтон поймал этот взгляд.

«Вот именно! — подумал он.— Ты не знаешь, как быть со мной: человек с моим положением и вдруг сидит на этой скамье! Эх, бедняга, бедняга! Надо же — всю жизнь следить за себе подобными! Но ты и не догадываешься, что ты бедняга, а потому нечего тебя и жалеть».

Человек, сидевший на соседней скамье, вдруг чихнул — громко и неодобрительно.

Полисмен снова прошел мимо и, видя, что жалкие соседи Шелтона дремлют, обратился к нему:

— Небезопасно сидеть тут на скамейке, сэр. Никогда не знаешь, кто с тобой рядом. Я бы на вашем месте, сэр, ушел отсюда, если вы, конечно, не собираетесь провести здесь всю ночь.— И он рассмеялся, точно это была остроумная шутка.

Шелтон посмотрел на него и уже хотел было ответить: «А почему бы и нет?», но внезапно понял, как это было бы нелепо. «К тому же,— подумал он,— я только простужусь здесь». И, не сказав ни слова, он встал и пошел домой.

ГЛАВА XXXIII

КОНЕЦ

Была уже полночь, когда Шелтон добрался до своей квартиры; он чувствовал себя таким измученным, что, не зажигая огня, тотчас повалился в кресло. Занавеси и шторы были на лето сняты, и в высокие окна глядела звездная ночь. Шелтон пристально смотрел в темноту, как запутавшийся человек смотрит порой в глаза собрата по несчастью.

Комната не была проветрена, пахло пылью, но до Шелтона вдруг донесся слабый аромат — так иногда поражает обоняние какой-нибудь клочок травы или букет цветов на улице: в петлице у него все еще торчала увядшая ярко-красная гвоздика, и, заметив ее, он сразу очнулся от своего непонятного забытья. Нужно было прийти к какому-то решению. Шелтон встал, чтобы зажечь свечу; на всем, к чему бы он ни прикасался, лежал толстый слой пыли. «Фу,— подумал он,— какое запустение!» И чувство одиночества, охватившее его накануне, когда он сидел на каменной скамье в Холм-Оксе, нахлынуло с прежней силой.

На столе была навалена целая кipa счетов и проспектов. Он стал вскрывать конверты, разрывая их один за другим с небрежной поспешностью человека, долго не бывшего дома. Отдельно лежал большой длинный конверт.

«Дорогой Дик,— прочел он,— прилагаю при сем исправленный проект твоего брачного контракта. Теперь

он в полном порядке. Верни мне его до конца недели, и я отдам его переписать. В следующую среду я уезжаю на месяц в Шотландию, но вернусь вовремя, к твоей свадьбе. Передай привет матушке, когда увидишь ее.

Любящий тебя дядя *Эдмунд Парамор*».

Шелтон усмехнулся и вынул контракт.

«Настоящий документ составлен сего... числа 19... года между Ричардом Парамором Шелтоном...»

Он положил контракт на стол и снова опустился в кресло — в то кресло, где любил сидеть молодой бродяга-иностранец, когда по утрам приходил сюда пофилософствовать.

Шелтон недолго просидел так; чувствуя себя до крайности несчастным, он встал и, взяв свечу, принялся бесцельно бродить по комнате, притрагиваясь то к одной вещи, то к другой; потом остановился перед зеркалом и посмотрел на свое лицо, до того жалкое, что ему самому стало противно. Наконец он вышел в переднюю и уже открыл дверь, чтобы спуститься на улицу, но вдруг, поняв, что, на улице ли, дома ли, в городе или за городом, его горе будет всегда с ним, снова затворил ее. Он пошарил в почтовом ящике, вынул оттуда письмо и вернулся обратно в гостиную.

Письмо было от Антонии. Шелтон так волновался, что вынужден был сделать три круга по комнате, прежде чем решился его прочесть; сердце у него отчаянно колотилось, он с трудом держал бумагу. Письмо гласило:

«Я поступила неправильно, попросив Вас уехать. Теперь я поняла, что нарушила свое обещание, а я вовсе не хотела этого. Я, право, не знаю, почему все стало совсем иначе. Наши мнения никогда и ни в чем не сходятся.

Пожалуй, я должна сказать Вам, что то письмо, которое мосье Ферран написал маме, было просто дерзким. Вы, конечно, не знали, что в нем, но за завтраком, когда профессор Брэйн спросил Вас о мосье Ферране, я почувствовала по Вашему ответу, что Вы одобряете его и порицаете нас,— и мне это непонятно. Да и днем, когда эта женщина повредила ногу своей лошади, Вы, как видно, были на ее стороне. Как Вы можете быть таким?

Я обязана сказать Вам все это, так как считаю, что не должна была требовать Вашего отъезда, и хочу, что-

бы Вы были уверены, что я сдержу свое обещание — иначе мне будет всегда казаться, что Вы, да и любой другой человек, вправе осуждать меня. Я не спала всю ночь, и сегодня у меня страшно болит голова. Больше писать не могу.

Антония».

В первую минуту Шелтон совсем потерял голову от чувства огромного облегчения, к которому, однако, примешивалась злость. Он помилован! Она не хочет нарушать свое обещание, она считает себя связанной с ним! Он ликовал, но вдруг улыбнулся — в улыбке этой было что-то странное.

Он снова перечитал письмо и, словно судья, стал взвешивать написанное, стараясь угадать, что думала Антония, когда писала, и что заставило ее написать эти строки.

Всему виной было прощальное послание бродяги. Ферран и тут проявил свой роковой дар срывать со всех маски и показал своего покровителя в его истинном свете всем, включая самого Шелтона. Антония почувствовала, что ее жених — предатель. И даже сейчас, в минуту мучительных колебаний, Шелтон знал, что она права.

«Да и днем, когда эта женщина повредила ногу своей лошади...» Эта женщина! «Вы, как видно, были на ее стороне!»

Теперь Шелтону стало ясно, как негибок ум Антонии, как чисто интуитивно понимает она, чему не следует сочувствовать, как силен в ней инстинкт самосохранения и с каким бессознательным презрением она относится к тем, кто не обладает этим инстинктом. И она написала эти строки, считая себя связанной с ним — человеком неуравновешенным, с бунтарскими стремлениями, без твердых устоев! Вот он и нашел ответ на вопрос, который мучил его весь день: «Почему все так произошло?» И ему стало жаль Антонию.

Бедняжка! Она не могла разорвать помолвку — в этом есть что-то вульгарное! Никто и никогда не должен говорить, что Антония Деннант согласилась выйти за него замуж, а потом отказалась выполнить свое обещание. Ни одна девушка из порядочной семьи не может так поступить! Это невозможно! И в глубине души Шелтон смутно пожалел, что это невозможно.

Он снова перечел письмо, которое, казалось, приобрело теперь совсем иное значение, и злость, испытанная им вначале вместе с чувством облегчения, теперь все росла и росла, пока не затмила все остальные чувства. В этом письме было что-то деспотическое, у него отнимали право иметь собственную точку зрения. Словно кто-то показал на него пальцем, как на ненормального человека. Женитьба на Антонии была бы женитьбой не только на ней, но и на всем ее классе — его классе. После свадьбы Антония всегда была бы с ним рядом, заставляла бы его благосклонно смотреть на себя, и на нее, и на всех, кого они знают, и на все их поступки; она была бы с ним рядом и заставляла бы его считать себя неизмеримо выше всех, кто руководствуется иными моральными критериями. Он должен был бы ощущать свое превосходство, не кичась этим, но подсознательно радуясь собственной праведности.

Однако злость, которая была похожа на приступ ярости, заставивший его два дня назад сказать назойливому знатоку искусств: «Будь оно проклято, ваше самодовольство», вдруг показалась Шелтону немошной и смешной. К чему злиться? Ведь он вот-вот потеряет Антонию! И мука, порожденная этой мыслью, во сто крат усилила его возмущение. Антония так уверена в себе, она ставит себя настолько выше своих чувств, своих естественных побуждений — выше даже своего желания избавиться от него. А в этом ее желании Шелтон больше не сомневался. Это было бесспорно. Она не любит его; она хочет от него избавиться!

В его спальне в Холм-Оксе висела фотография, изображавшая группу у входа в дом: высокородная Шарлотта Пенгвин, миссис Деннант, леди Бонингтон, Хэлидом, мистер Деннант и эстет — все были там; а слева, с краю, глядя прямо перед собой, стояла Антония. Ее юное лицо яснее, чем чье-либо другое, выражало их мысли. В этих спокойных молодых глазах отражался целый мир благополучия и суровых традиций. «Я не такая, как все», — казалось, говорил ее взгляд.

Потом Шелтон вспомнил, как выглядели на этой фотографии мистер и миссис Деннант; он отчетливо представил себе их лица, когда они разговаривают друг с другом, — их растерянное и встревоженное выражение;

и он словно слышал их голоса, как всегда исполненные решимости, но немного резкие, точно они ссорятся:

«Он поставил себя в глупейшее положение!»

«Ах, как это ужасно!»

И они тоже считают его ненормальным и хотят отделаться от него, но для того, чтобы спасти положение, были бы рады оставить все по-прежнему. Она не хочет быть его женой, но она не желает поступиться своим правом сказать: «Обыкновенные девушки могут нарушать свои обещания, но я этого не сделаю!» Шелтон сел за стол, где горела свеча, и закрыл лицо руками. Горе его и злость все росли. Если она не хочет освободить себя от своего обещания, то он сам обязан это сделать! Она готова выйти за него замуж без любви, принести себя в жертву идеалу женщины, который сама для себя создала.

Но не у нее одной есть гордость!

И вот, словно она стояла перед ним, он увидел темные круги у нее под глазами, которые он так мечтал целовать, быстрое движение губ. Он просидел несколько минут не шевелясь. Потом в нем с новой силой вспыхнула злость. Она намерена пожертвовать собой... и им! Все его мужское достоинство возмутилось при мысли о столь бессмысленной жертве. Не это ему было нужно!

Шелтон подошел к письменному столу, взял лист бумаги и конверт и написал:

«Нас никогда ничто не связывало, не связывает и не может связывать. Я не желаю злоупотреблять правом, которое дало мне Ваше обещание. Вы совершенно свободны. Нашу помолвку можно считать расторгнутой по обоюдному согласию.

Ричард Шелтон».

Он запечатал письмо и продолжал сидеть, бессильно уронив руки; голова его клонилась все ниже и ниже, пока не опустилась на лежавший на столе брачный контракт. И он почувствовал огромное облегчение, как человек, без сил падающий на землю после долгого, утомительного пути.

СОДЕРЖАНИЕ

ВИЛЛА РУБЕЙН. Перевод <i>Д. Жукова</i>	5
ОСТРОВ ФАРИСЕЕВ. Перевод <i>Т. Кудрявцевой</i>	
Часть первая. В столице	141
Часть вторая. В сельской Англии	243

Джон ГОЛСУОРСИ
Собрание сочинений в 16 томах.
Том V.

Иллюстрации художника
П. Пинкисевича.

Оформление художника
А. Васина.

Технический редактор
А. Шагарина.

Подп. к печ. 16/II 1962 г. Тираж 375 000 экз. Изд. № 2322. Зак. 3444.
Фор. бум. 84×108¹/₃₂. Бум. л. 5,75. Печ. л. 18,86+4 вкл. (0,41 печ. л.).
Уч.-изд. л. 19,95. Цена 90 коп.

Ордена Ленина типография газеты «Правда». Москва, А-47.
улица «Правды», 24.